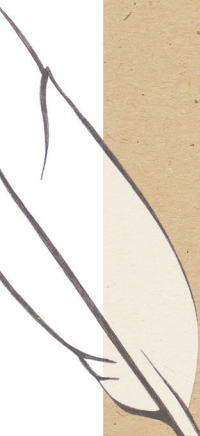


# ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы  
Книга пятнадцатая  
(III - 2008)

„Partner“ Verlag  
2008



Главные редакторы:

**Даниил Чкония**  
**Лариса Щиголь**

Редколлегия:

**Людмила Агеева**  
**Борис Вайнблат**  
**Сергей Викман**  
**Юрий Малецкий**

**“Zarubežnye zapiski“**

**ISSN 1862-8419**

Все тексты этого и других выпусков журнала  
представлены на интернет-порталах:

**<http://magazines.russ.ru/>** (Журнальный зал)  
**<http://www.zapiski.de>**

# ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

## КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ

### СОДЕРЖАНИЕ

#### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<b>Александр Радашкевич.</b> В понедельник нашей жизни... <i>Стихи</i> .....	2
<b>Владимир Порудоминский.</b> <i>Два сочинения на заданную тему.</i> .....	6
Уходящая натура	
Музей Анны Франк	
<b>Борис Вайнблат.</b> <i>Короткие рассказы.</i> .....	16
Сара и Агарь	
Уход Сарры	
О корове Маньке и ребе Герше	
Субботний кирпич	
<b>Алексей Алёхин.</b> Репетиция. <i>Рассказ</i> .....	23
<b>Олег Блажко.</b> Время кривых. <i>Стихи</i> .....	32
<b>Борис Хазанов.</b> Вчерашняя вечность. <i>Роман (окончание)</i> .....	40
<b>Марина Палей.</b> Рая & Аад. <i>Повесть</i> .....	108
<b>Георгий Нипан.</b> Горящие угли. <i>Рассказ</i> .....	155
<b>Леонид Левинзон.</b> <i>Три рассказа.</i> .....	165
В Тель-Авиве	
Санитар	
И выпал снег	

#### ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Михаил Кураев.</b> Пушкин рядом .....	175
--	-----

#### ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ

<b>Елена Елагина.</b> Третьего не дано. <i>Письмо первое</i> .....	192
<b>Людмила Агеева.</b> Деление с остатком. <i>Ответ первый</i> .....	193

#### ИНЫЕ ЖАНРЫ...

<b>Вадим Бомас.</b> Иронические стихи .....	195
<b>Коротко об авторах</b> .....	199

## В ПОНЕДЕЛЬНИК НАШЕЙ ЖИЗНИ...

### Сквозь шёпот

Сквозь шёпот зимних дней,  
дыша туманами, плывущими  
с распухнувшей реки, я различаю  
ближний берег и невесомый дом  
над ним, и белый срез немого неба,  
и звуки языков земных, как хруст  
пустых орехов под ногой, под  
скользкими коврами листьев,  
соплевших в чёрную немислимую  
слизь, и сквозь леса железные  
бессонниц пробравшись до  
забитого окна, я пью луну Ли Бо  
неспешными глотками, и лица  
наши вороша в давно потерянном  
альбоме, я вижу: прошлого разбиты  
зеркала, утрачен ржавый ключ от  
тающей аллеи, и я один дослушиваю  
музыку начала у тёплых,  
неприснившихся руин, лаская  
синий мох челом у берега над  
вспухнувшей рекой, и я один,  
дыша полночными туманами  
сквозь шёпот зимних дней,  
дописываю вязь серебряных  
стихов, развешанных, как сны,  
по ломким голым кронам.

### Прощание с Апшероном

И Каспий провожал меня дождливую  
слезой, и кроны сокрушённо помавали  
у кромки вспухнувшего моря, как будто  
ведали про чуждую судьбу доблудшего  
сюда неверными и ломкими, как сталь,  
и бритвенно скользящими стезями.  
От ветренника Городу ветров душа  
обмякшая поклон предутренний  
положит и на сквозных распахнутых  
скрижалях запишет бережно, как  
в Судный день, «Баку». Живи,  
живи свою ковровую неспешность,  
свой рай высокородный, как древле,  
изумрудами мости и сине-чёрными

масличными глазами рассматривай  
журчащей жизни скоротечный пир.  
Тебе, как на высокое закланье,  
я оставляю вот этот взгляд, вот этот  
вздых и моего, и моего, как дождь  
прощания, негаданного друга.

### Повесть соседей

«Передаём классическую музыку...»  
*И жив ли тот, и та жива ли?*  
Чёрное зимнее утро уфимское, жёлтая  
лампочка. Библиотекари Саша и Гина  
тихо спешат по часам на работу.  
Была она *цветок засохший, безуханной*,  
и верно, первой у него. Звал я их «дядя»  
и «тётя» в те поры. *И нынче где их уголок?*  
Главные книги снов и скитаний брал я  
у них, в запасниках невесомо подвальных,  
где пылились миры в алфавитном порядке.  
Как-то заметили, стал дядя Саша в шляпе  
форсить и пальто габардиновом, стало  
в подъезде за ним оседать тонкое облако  
одеколонное. Тётя Гина желтела и сохла.  
«Видно, её-то гуляет по-чёрному», – враз  
заключили довольно соседи. Тихо года  
под окном шелестели. Спали кошки на  
батареях, пахло мылом и пастой «Мэри».  
Гину первой из подъезда понесли  
вперёд ногами, как её маму, как тётю  
Катю. Следом за нею уплыл дядя Саша,  
тоже от жизни, тоже от рака,  
где-то на родине, в белой Елабуге.  
Дети остались, мальчик и девочка.  
Чёрное зимнее утро уфимское, жёлтая  
лампочка вещи рисует, стопки книг  
и забытых журналов. Гина и Саша  
тихо спешат по часам на работу.  
Пахнет чаем и талым снегом – из  
приоткрытой над пропастью форточки.  
*И жив ли тот, и та жива ли?*  
«Передаём классическую музыку».

### Они

Когда уроки сущей пустоты материя дебелая и  
трепетная плоть, отвесившись широким рукавом  
учёных мантий, давать устанут нам, – отъедет стол,  
откатят стены прочь и отплывут, нам поклонившись,  
а мы забудем вдруг, как говорить слова, увидя сизое  
пятно и кланяясь столу тому и стенам, когда по тонкой  
лестнице над лавой, поднимемся, пошатываясь, вниз,  
стараясь не скользить, –  
они придут:

хавронья с тёплыми ушами и важный белый гусь,  
все куры робкие и шпористый петух, коза с глазами  
золотыми, бурёнка грустная, что звали Розой, и  
даже тот молочный поросёнок, что не увидел свет,  
разрезанный на праздничном столе тарелкой пополам, —  
они придут, чтоб хором заглянуть нам в широко  
закрытые глаза, они простят, как будто мы ещё  
чего-нибудь откусим и  
разжуём, хрустя.

### **Цветы**

В понедельник нашей жизни  
осыпаются цветы, и веточка шиповника,  
забытая в стакане, выпускает квёлый листик,  
на который так больно смотреть, снег  
зависает в стеклянных глазах, и дома дымят,  
как корабли, над рекою, стремимой вспять  
в понедельник нашей жизни,

становятся длиннее и беспомощней молитвы,  
и мятый клоун в зеркале разглядывает нас  
в упор, улыбаясь нарисованным ртом  
и не веря нам, мальчикам-девочкам,  
что были мы ими в дни оны, однажды, что  
в понедельник нашей жизни

мы вешаем такую же разбитую  
улыбку на лицо и, за неё впотьмах цепляясь,  
выходим радоваться вслух тому, что  
нам до одури постыло, как будильник, как  
чёрный кофий с мёртвым бутербродом,  
в понедельник нашей жизни

останавливается лифт, на котором  
мы поднимались вниз, на котором спускались  
вверх столько ненужных и слякотных утр,  
столько заваленных рухлядью дней, так  
никогда из себя и не выйдя и никогда  
в себя не приходя, в понедельник нашей  
жизни осыпаются цветы.

### **Лапа**

В рассветную седую сквозь  
вот ты легла, подруга-жизнь,  
на камень скользкий, ноздреватый,  
как эта лапа игуаны, глядя вдаль  
и сквозь, за облака, где ветер  
каменный столетий над табунами  
лет и зим шуршит песками  
наших судеб и голой галькою  
надежд. Подруга-жизнь, невеста-  
память и нежна мать-сыра земля,

на хохолке клочками пена  
и алый блик в её зрачке. И вечна  
горькая насмешка в глазах детей,  
зверей и стариков – вот это,  
это, это, это и есть, что обещали  
нам на свете тёмном – жизнь?  
О, кто омоет наши кости  
античным ласковым вином?  
Вода рябила здесь от рыбьих  
стай, курчавились небесные  
равнины, и лапа игуаны, как  
печать, легла на мир, в котором  
были мы, не правда ли, с тобою?

\* \* \*

И будут, будут над Невой взмывать снега  
несметные, и будет ангел золотой,  
наколотый на шпиль, слагая плоское крыло  
над кровлею соборной, парить, не помня уж  
меня в той башенке надстенной. Она  
заглянет мне в глаза, моя весна осенняя,  
как лица те, на коих снег не тает, как на  
времени, как тени те, от коих ночь  
и день стихотворения.

И будут, будут над Невой плести немую  
музыку, и парус бархатный бессонниц нас  
пронесёт по мостовой в залив нагих видений.  
Играй, играй же в небесах, мой клавесин  
хрустальный. Над миром вновь кипят снега,  
слепые и домирные, стирая мир, стирая нас,  
как то крыло, как те слова, как ту весну  
осеннюю, как те глаза, на коих тень  
и свет стихотворения.



## ДВА СОЧИНЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

*Нашего постоянного автора-прозаика Владимира Порудоминского мы поздравляем с восьмидесятилетием!*

*В. Порудоминский – автор множества замечательных книг о русских ученых, писателях, художниках. Несколько поколений читателей зачитывалось художественными биографиями, написанными этим умным, энциклопедически образованным, тонким и глубоким мастером. «Гаршин», «Пирогов», «Даль», «Брюллов», «Николай Ге», «Крамской» – вот названия лишь некоторых из книг, созданных Порудоминским. К этому, далеко не полному, списку примыкают произведения, написанные специально для детей и юношества. Мы сами и наши дети учились прекрасному и благородному взгляду на жизнь по его книгам о русском сказочнике И. Афанасьеве, А. Полежаеве, И. Пущине, М. Михайлове и многих других ярких личностях русской истории и культуры. А чего стоят его чудесные повествования для детей о русском искусстве – «Первая Третьяковка», «Счастливые встречи»!*

*Особое место на художественно-исследовательском пути Порудоминского занимают работы, посвящённые образу Льва Николаевича Толстого. Годы были отданы изучению жизни и творчества русского гения. В результате этих трудов появились и продолжают появляться на свет новые сочинения автора, обращённые к этой теме. Он составил и снабдил комментариями многие книги и собрания сочинений Толстого, Гоголя, Тургенева, Гаршина, Чехова. В соавторстве с другом, замечательным писателем и исследователем русской культуры Натаном Эйдельманом, была подготовлена к изданию книга «Болдинская осень».*

*Антифашистские произведения В. И. Порудоминского, такие как «Евреи в Вильно» и переведённая на множество европейских языков художественная биография казнённого нацистами участника Сопротивления Эрвина Планка, сына выдающегося физика Макса Планка, – прекрасные образцы подлинно высокой и ответственной гражданской позиции автора.*

*Но диктатура в любом ее проявлении неприемлема для писателя. Человеческое мужество и благородство, способность сохранять достоинство, внутреннюю свободу и надежду на лучшее в самых тяжелых, подавляющих и унижающих личность жизненных обстоятельствах – тема сегодняшней прозы Порудоминского. Читатель полюбил и запомнил и повесть о судьбах российских немцев «Немец», и блистательный рассказ «Похороны бабушки зимой 1953 года».*

*Аристократизм и благородство всегда были присущи Владимиру Порудоминскому, а его сегодняшняя проза – тонкая, стилистически выверенная, мудрая – залог того, что нам предстоит ещё много лет радоваться его новым талантливым произведениям.*

*Доброго здоровья и сил для творческих свершений нашему любимому автору!*

Редакция



»История – как отравленный колодец, вода которого просачивается в почву. Мы обречены повторять не то прошлое, которое не знаем, а то прошлое, которое хорошо известно».

*Анна Майклз. Пути памяти*

### УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Мы обнаружили этого мальчика на заднем дворе у входа в полуподвал, где помещалось домоуправление. Такого мальчика никому из нас ещё никогда в жизни видеть не приходилось.

– Это что у тебя? – спросил Гага и подёргал за длинный завитой локон, свисавший у мальчика на виске из-под синей суконной фуражки.

Светлые глаза мальчика налились слезами. Он пожал плечами и ничего не ответил.

Я догадался, что это за локоны, – просто до этой минуты я был уверен, что таких мальчиков давно нет на свете и встретить их можно только в рассказах Шолом-Алейхема, которые я читал позапрошлым летом.

– Тебя как зовут? – снова спросил Гага.

– Нахум, – едва слышно ответил мальчик.

– На х...! – Гага громко расхохотался.

Гага, которого на самом деле звали Егором, был сыном дворничихи Петровны. Он был известным хулиганом, даже взрослые его побаивались.

– А что я с ним поделаю! – кричала тощая, похожая на вяленую рыбу, Петровна, когда кто-нибудь жаловался ей на сына. – Отец жив был – лупил смертным боем, а я что могу! Пойдёт воевать или в тюрьму, там уму-разуму научат!..

Она утирала глаза грязным белым фартуком. Отца Гаги, прежнего нашего дворника, убили на фронте в первый же месяц войны.

– Ну что ты к нему пристал? – сказал Анга и положил на плечо Гаге свою огромную ладонь, вызывавшую мою зависть.

Анга был сильнее всех ребят нашего двора, возможно, даже всех ребят, обитавших на нашей улице Сталина.

Мальчик с локонами на висках, в синей суконной фуражке, коротком пальтеце, с холщовой котомкой за плечами жался к стене, у входа в полуподвал. Мы трое обступили его. Он был младше нас, лет десяти-одиннадцати, и заметно мельче – узкие плечи, бледное лицо с нежным румянцем на скулах, тонкие руки.

Стоял ясный денёк ранней сибирской осени: неяркое солнце, свежий прозрачный воздух, в котором предметы гляделись объёмно и все цвета вокруг обозначались ненасыщенно, но чётко – бледная голубизна неба и маслянистая зелень штaketника, отразившиеся в налитой ночным дождем луже, золото длинных иголок лиственницы, уже начавших осыпаться в соседнем – детсадовском – дворе.

– Ты что – эвакуированный? – спросил Анга и кивнул на вход в полуподвал, где помещалось домоуправление.

Мать Анги, Алиса Эдуардовна, была у нас управдомом. Я помнил и его отца, латышского стрелка, такого же рослого, широкоплечего и светловолосого, как Анга, ходившего в длинной, чуть не до земли шинели и остроконечном, с большой красной звездой на лбу, красноармейском шлеме, – стрелок сумел умереть своей смертью, не дождавшись тридцать седьмого года.

– Выковыренный? – засмеялся Гага и снова потрепал пальцем локон на виске мальчика.

Мальчик испуганно смотрел на нас и молчал.

– Он не понимает, – сказал я.

– Не русский, что ли? – удивился Гага.

- Не понимает, – повторил я, не вдаваясь в подробности.
- Ты откуда? – Анга показал двумя пальцами идущего человека.
- Польша, – тихо сказал мальчик.
- Польша? У кого больше, тот и пан?.. – Гага снова захохотал.

Он достал из кармана обсыпанный табачными крошками белый мятный пряник и протянул мальчику: «Хавай».

Уже ввели карточки, но голодное время полной мерой ещё не коснулось нас. Скоро мы узнаем подлинную цену пайки хлеба и пригоршни сахарного песка, в школе на большой перемене нам будут давать в качестве бесплатного завтрака по полстакана кедровых орехов, полученный по талону ржаной пирог с жёсткой горбушей, засоленной так, что на поверхности белели кристаллы соли, покажется лакомством. Однако и в тот день, о котором идёт речь, мятный пряник уже считался большой ценностью – просто так не купишь, так что неожиданный жест Гаги был несказанной щедростью.

Мальчик с каким-то отчаянием посмотрел на белый рифлёный кружок, лежащий на грязной гагиной ладони, снова поднял глаза и еле слышно то ли спросил, то ли сказал:

- Кошер?..

Мы переглянулись.

– Чегой-то он несёт? – Гага повернулся ко мне, к Анге. – Думает, мы кошек тут, что ли, едим. Вот – дикие. Да ты бери. Мятный... – Он сунул пряник мальчику в карман пальто.

Мальчик пожал плечами и улыбнулся. В глазах у него были слёзы.

- Что это он? – спросил меня Анга. – Правда, будто с луны свалился.

– Может быть, по-немецки с ним поговорить? – предложил я. – Еврейский язык похож на немецкий...

Из двери полуподвала выбрался Семён Моисеевич по прозвищу Котовский. Толстый, с обритой наголо большой круглой головой, он и в самом деле походил на означенного всенародного героя, как его изображали на картинках.

Семён Моисеевич тоже воевал в гражданскую, был в кавалерии и любил рассказывать, что сам Будённый после какого-то боя похвалил его: «Хорошо рубишь, тэзка!»

– Мы ведь с Будённым – тэзки, – непременно прибавлял он. – Только он Семён Михайлович, а я Семён Моисеевич.

Наш Котовский был член домового комитета и заядлый общественник.

– Ничего не выходит, ребята, – обратился он к нам, будто полагая, что мы в курсе дела. – Придётся им дальше ехать. Алиса Эдуардовна так старалась, и туда звонила, и сюда, и не знаю, куда, чтобы как-нибудь их здесь оставить – всюду один ответ: ехать согласно предписанию. Конечно, предписание есть предписание, документ, – Семён Моисеевич произнёс слово с ударением на «у» и значительно поднял вверх палец, – но что значит «согласно предписанию», если предписание у них в К., это ещё шестьсот километров, а на вокзале сидит мать с двумя больными малыми детьми, и как туда в К. ехать, и когда, и на каком поезде, и что кушать по дороге, никто толком не может сказать...

Он нагнулся к мальчику и, задыхаясь, начал что-то быстро объяснять ему по-еврейски (тогда почти все, и моя бабушка тоже, у которой я жил в этом городе, называли идиш «жаргоном»). Мальчик, широко раскрыв глаза, с отчаянной надеждой смотрел в его круглое, красное лицо.

Появилась Алиса Эдуардовна и с ней отец мальчика, едва доходивший ей до плеча рыжебородый человек в посеревшем от возраста чёрном пальто с большими пуговицами и чёрной шляпе. У него были такие же, как у мальчика, ясные, светлые глаза.

– К сожалению, ничего больше сделать для вас не в силах, – сказала Алиса Эдуардовна. – Что могла.

Её строгое лицо, по обыкновению, казалось непроницаемым. Она протянула собеседнику руку; отец мальчика принял её крупную руку обеими руками:

– Что вы, что вы! Такое вам спасибо. Такое спасибо!..

– Что могла, – повторила Алиса Эдуардовна. – Доброго пути... Я на санэпид-станцию, – это уже Семёну Моисеевичу. – А вы не торчите во дворе. Идите уроки делать, – это, конечно, нам. – Анга, учти, вечером проверю математику за два дня.

– У меня всё в исправности, – спокойно ответил Анга.

– Об этом я тебе скажу...

Застёгивая на ходу свою вечную кожаную куртку, Алиса Эдуардовна широким, чётким шагом направилась к воротам.

Отец мальчика обвёл нас ясными улыбающимися глазами:

– Ой, как жаль, как жаль, как жаль, – заговорил он слегка нараспев, но при этом торопливо сглатывая слова. – Такие могли быть у тебя хорошие товарищи, – он потрепал плечо сына. – Смотри, такие большие, сильные, с такими никто не обидит. Нахум у меня очень хороший мальчик. А как в шашки играет! Всегда выигрывает. Но что делать! Дорог много, а судьба одна...

– А вы откуда будете? Из Польши, что ли? – спросил Гага.

– Откуда? Вы будете смеяться, молодые люди, но откуда уже нету, осталось только куда.

– У вас в К. есть кто-нибудь? Какие-нибудь родные? – спросил я, потому что сам жил у бабушки.

– Родные? Разве эта женщина – он показал в сторону удалявшейся Алисы Эдуардовны – мне не родная? И вы, дети, разве мне не родные? И он? – отец мальчика кивнул на Семёна Моисеевича. – Завтра в К. добрые люди дадут нам кусочек крыши над головой и станут наши лучшие родные.

Когда он улыбался, во рту у него белел ровный рядок мелких зубов.

– А чем вы занимаетесь? – поинтересовался Анга. – Где работаете?

– Чем занимается человек? Ловит счастье. Вот так... – Отец мальчика взмахнул рукой, будто ловил что-то в воздухе, и вдруг между указательным и средним пальцами его белой руки оказалась медная пятикопеечная монета. – Но счастье можно только ловить, поймать его нельзя. Только ты обрадовался, что поймал, его уже нет...

Он разжал пальцы, в руке у него ничего не было.

– Потрясно! – восхитился Гага. – Циркач, что ли?

Вниз по нашей улице, на небольшой площади, был разбит цирк шапито; в известных нам местах, где брезент покрова не был плотно закреплён у земли, мы пролезали в помещение и, забившись где-нибудь на верхотуре, смотрели всё одно и то же представление, которое давали уходящим на фронт красноармейцам.

– Тателе, пошли, – потянул мальчик отца за рукав и прибавил что-то непонятное.

Гага сунул руку в карман, достал ещё один мятный пряник (пёк он их там, что ли): «Держите». Помедлил, снова полез в карман, достал ещё пряники, сразу два (похоже, минувшей ночью он со своими друзьями с Заречной стороны навестил какой-нибудь продуктовый ларёк): «Вот – еще...»

– Ой, молодой человек, молодой человек! Вы ещё сами не понимаете. Когда у вас будет такая борода, как у меня, только совсем белая, вы будете приятно вспоминать этот день. Это я вам говорю.

– Пошли, – мальчик снова потянул отца за рукав. В глазах у мальчика была тоска. – Там мамеле ждет...

И он снова залепетал что-то непонятное.

– Здесь шестьдесят рублей, – Семён Моисеевич протянул отцу мальчика две красных тридцатирублёвых ассигнации. – На них ещё можно купить что-нибудь. Там, у вокзала, бабы продают яблоки, так вы берите не румяные, а зелёные – зелёные сочнее...

Отец взял мальчика за руку, и, пока они пересекали широкое пространство двора, я видел, как он, склонившись к сыну, что-то горячо говорил и говорил ему, мальчик слушал его, подняв к нему голову, и от его узенькой спины с подвешенной на ней серой комкой веяло непереносимым отчаянием.

– Когда-то и я был таким мальчиком, – глядя им вслед, сказал Семён Моисеевич, – рос в местечке и учился в хедере разным глупостям. Но потом, слава Богу, попал в город, на завод. А потом революция, и – «По коням!» Даже не думал, что остались ещё такие местечки, такие мальчики. Ну да победим врага – всё по-своему переделаем...

Послышалась приближающаяся военная песня, ровный стук о землю сотен обутых в тяжёлые солдатские сапоги ног, – мы вышли за ворота. Слева, уже вдалеке, виднелись две удалявшиеся в сторону вокзала фигурки. Отец держал сына за руку и, склонившись к мальчику, всё толковал ему что-то. А следом, с другого конца улицы, заполняя её, вслед им, двигалась нескончаемая военная колонна, новые, не сношенные ещё подметки крепко, в лад, печатали шаг, обтянутые серым сукном шинелей плечи чуть покачивались в такт шагу и, казалось, раздвигали в стороны стоявшие вдоль улицы слева и справа дома, тысячи грудей, вдыхая свежий осенний воздух, дружно выкрикивали бравые слова песни: «Пятьдесят вторая, боевая, сибирская стрелковая дивизия идёт...»

## МУЗЕЙ АННЫ ФРАНК

...Анна жаловалась в дневнике, что комната сырая и тесная, а ведь жила она в ней не одна, вместе с ней поселился ещё друг родителей, пожилой мужчина, позабыл его имя...

Высокий рыжий парень с небрежной бородой, стоявший впереди нас, был скорей всего голландец, но говорил по-английски.

– А почему она не жила в комнате с родителями? – спросила его спутница, маленькая – она не доставала головой ему до плеча, – смуглая, слегка раскосая, чёрные прямые волосы – что-то дальневосточное, Бирма, Непал, может быть, Лаос какой-нибудь.

– У родителей была своя комната, с ними жила старшая сестра Анны, Маргот.

– Мы всегда жили все в одной комнате, родители, дети, – впрочем, это была не комната – дом, не такой, как этот, конечно: одноэтажный дом, под камышовой крышей. Очень красивый. Я спала вместе с братьями и сёстрами. У меня два брата и четыре сестры.

На девушке были джинсы и трикотажная майка в полоску, вроде матросской тельняшки.

...Когда инженер Айзенштадт оборудовал малину в котельной, это в заброшенном доме возле рабочего блока, туда набилось двадцать четыре человека, а он рассчитывал на пятнадцать, – сказала Ханка. – Поверишь, невозможно было в уголок отползти за своим делом. Но всё-таки главный ужас не теснота, а духота...

– Вместе с Франками поселилась ещё одна семья, этажом выше, для них тоже были оборудованы комнаты, – объяснял рыжий голландец. – Муж, жена и мальчик, Петер, кажется...

– У него с Анной была любовь? – поинтересовалась дальневосточная девушка в тельняшке.

– Целовались, наверно, – снисходительно предположил рыжий.

– ...От недостатка кислорода люди сходят с ума, – сказала Ханка. – Жена Айзенштадта начала заговариваться, а потом принялась кричать, какие-то ужасы её мучали. Люди боялись, что услышат немцы, и уже сговаривались, чтобы её убить...

– Думаешь, могли убить? – Я вспомнил жену Айзенштадта, рыхлую женщину с обвисшими щеками и накрашенными губами, безобидную, как черепаха.

– Ещё как могли. Я знала отца, который в малине со страха задушил ладонью своего маленького сына. Чтобы не кричал. После войны они с женой хотели родить другого мальчика, но у них рождались только девочки – три девочки подряд, мальчика так и не получилось...

Прежде чем прийти сюда, на Prinsengracht, мы завтракали в кафе на площади, где стоит памятник Рембрандту, – художник со своего пьедестала задумчиво смотрел на студентов, лежащих на траве газона между работок, густо засаженных оранжевыми голландскими тюльпанами.

Я ещё накануне купил для Ханки билет в музей Ван Гога (её любимый художник), а заодно в Королевский музей – посмотреть «Ночной дозор», но прежде того мне хотелось показать ей город, провезти на кораблике по каналам.

Ближе к устью, где река впадает в море, удивительно много цапель. Из воды торчат старые, серые сваи, и на каждой – цапля, неподвижно, на одной ноге...

– Цапли – это красиво. Но сначала сходим к Анне Франк, – сказала Ханка.

– Торопись вспомнить?

– Просто не забываю...

Ханка лишь два часа назад, ранним утром, прилетела в Амстердам из своей Канады, полёт нелёгкий, большая разница во времени, я полагал, что она непременно захочет отдохнуть, но – едва я успел справиться в холле гостиницы с чашкой кофе и пробежать оказавшиеся на журнальном столике «Аргументы и факты» – она уже появилась из своего номера, красивая, стройная, пахнувшая свежестью умывания и какими-то лёгкими молодыми духами, – как бы небрежно, но обдуманно уложенные в причёске седые с чёрными прядями волосы, чёрное платье (она всегда носила чёрное), туфли на высоких каблуках, точно мы в оперу собрались, а не таскаться весь день по городу, – вечно прекрасная моя восьмидесятилетняя кузина.

День выдался погожий. Во взъерошенной солнечными бликами воде канала покачивались и ломались отражения стоящих вдоль набережной домов. У дверей музея Анны Франк, по обыкновению, выстроилась длинная очередь.

– Вот и хорошо, – сказала Ханка. – Есть время поговорить. Столько лет не виделись.

Мы встали в очередь вслед за рыжим и его дальневосточной малышкой.

– Из комнаты Петера вёл ход на чердак, ты увидишь, – просвещал рыжий свою подружку. – На чердаке они хранили продукты.

– На чердаке?.. А откуда они вообще брали продукты? Может быть, им птицы приносили?.. – Девушка засмеялась.

– Ты совсем глупая...

Рыжий нагнулся к ней, и они поцеловались.

– ... Потом Хейфецы и Шаргородские испугались облавы и ушли из малины, – вспоминала Ханка. – Стало больше воздуха. А тут ещё удалось вытащить пару кирпичей из наружной стены. И жена Айзенштадта перестала бредить.

– И что облава?

– Облавы не было. А они все попались там, на воле. И Хейфецы, и Шаргородские. Один Адик Шаргородский спасся. Ты помнишь Адика Шаргородского?..

Я познакомился с Адиком Шаргородским за год до войны, когда приехал на летние каникулы в М.: дядя Гриша, отец Ханки, устроил меня вместе с ней на две смены в пионерский лагерь, принадлежавший заводу, где он был главным инженером.

ром. Но тогдашнего Адика я не помнил. Я помнил толстого небритого мужчину, которого встретил полвека спустя в Израиле: он водил меня по парку в Ашкелоне, с гордостью показывал лежащие в яме раскопанные громадные каменные столбы и объяснял, что это руины разрушенного Самсоном дворца филистимлян (позже я прочитал, что дворец филистимского идола находился не в Ашкелоне, а в Газе).

– Они набрели на какой-то заброшенный сарай и решили там спрятаться. Но кто-то заметил их и донёс. Немцы тут же пришли и всех захватили. А Адик лежал в соломе под телегой и спал. Он очень устал и, как только попал в сарай, сразу уснул. Немцы его не заметили. И он, представь, даже не проснулся. Так всё быстро получилось. Когда он вылез из-под телеги, уже никого не было...

Видимо, большая группа посетителей – экскурсия какая-нибудь – закончила осмотр музея: мы продвинулись сразу на несколько десятков шагов ближе к входу.

– Продукты приносили сотрудники фирмы, знавшие про убежище, – объяснил рыжий. В доме помещалась фирма, которая до прихода немцев принадлежала отцу Анны...

– А почему сотрудники фирмы не прятались так же, как Анна и её отец?

Мы с Ханкой переглянулись. Прелесть наивности этой залетевшей невесть откуда дальневосточной пичужки была поразительной. Но по своей наивности она задала решающий вопрос – самый непостижимый вопрос, который так привычен и ясен для всех, что его уже давно перестали задавать.

– Но ведь нацисты уничтожали только евреев... – Рыжий парень с удивлением посмотрел на свою подругу, точно у неё на лбу появились таинственные письмена.

Смуглое лицо девушки было непроницаемым, в её чёрных, слегка раскосых глазах, снизу вверх устремленных на парня, оставался непоколебленный спокойный вопрос.

– Они считали, что евреи во всём виноваты, ну и... – Рыжий замялся.

– Почему?

Рыжий снова посмотрел на девушку, будто с ней случилось что-то совершенно непредвиденное.

– Ты что, ничего не слышала об антисемитизме? – В голосе его послышалось даже некоторое неудовольствие.

Девушка задумалась.

– В Камбодже дети убивали своих родителей, – сказала она.

– Там, наверно, не было евреев, – парень с понимающей улыбкой обернулся к нам, как бы за поддержкой.

– В Камбодже евреями были родители, – сказал я. – Евреи уже давно не материальная субстанция. Они нечто привносимое, как эфир в старой физике. Без них трудно сопрягаются причины и следствия.

Мы снова вдруг резко продвинулись к входу.

– Анна, её родители и те, кто был с ними, провели в убежище два года и один месяц, – заторопился рыжий. – Ещё совсем немного, и они бы уцелели. Но нашёл-ся предатель...

– ...Сколько ты просидела в малине? – спросил я Ханку.

– Шесть дней. В ночь на седьмой, один знакомый парень помог, партизан, я ушла в лес. А через два дня малину накрыли. Их Яцук выдал. Добродушный такой старичок. Он был чертёжник и знал про эту подсобку в котельной. Он вообще всё и всех знал на заводе – ветеран. Одни говорили потом, что он ушёл с немцами, другие – что партизаны вычислили его и расстреляли...

– Кто же их выдал, Анну Франк и всех этих людей, и зачем? – спросила смуглая девушка.

– После войны три раза, кажется, проводили расследование, но доносчика так и не определили.

– Но всё-таки зачем? – повторила девушка. – Они что – мешали ему?

– Кто теперь разберёт – зачем? Может быть, боялся не сообщить, или завидовал, или хотел выслужиться...

– Скорее всего, они ему, действительно, просто мешали, – сказала Ханка по-английски, обращаясь к девушке.

Девушка внимательно посмотрела на неё своими чёрными маслянистыми глазами.

– Кто-то, нам неизвестный, позвонил куда следует, – рассказывал рыжий. – Эсэсовец Зильбербауер – его имя известно – в сопровождении нескольких наших голландских наци – пришёл и арестовал всех, кто находился в убежище.

– И что с ними сделали?

– Ты же знаешь, их отправили в Аушвиц, это лагерь уничтожения...

– Нет, с этим эсэсовцем, с вашими наци?

– Зильбербауера, кажется, судили, но он доказал, что лишь выполнял приказ и действовал корректно. После войны он служил в венской полиции. Я видел его портрет – самое обыкновенное лицо.

– Знаешь, Мюллер, ликвидатор гетто у нас в М., тоже служил потом в венской полиции, – сказала Ханка. – Коллекционировали их там, что ли...

– Ну, не только в Вене, – сказал я. – Гауляйтер Кёльна и Аахена Иозеф Грое, доверенное лицо Гитлера, возглавил позже крупную фирму игрушек, полвека продавал пасхальных зайцев и плюшевых медведей.

– ...Когда эсэсовец с пистолетом вошёл в убежище, отец Анны помогал детям готовить уроки, – продолжал рыжий: – они там постоянно занимались, чтобы не отстать от школьной программы.

– ...Их сразу можно было узнать по шагам, – сказала Ханка. – Они так крепко ставили ногу, сразу на всю стопу. Мне иногда снится: я прячусь где-нибудь, в подвале или в чулане, и вдруг слышу их шаги – хлоп, хлоп, хлоп – и понимаю: всё, конец. И просыпаюсь в ужасе. Даже дыхание останавливается...

...Я слышал эти шаги в середине девяностых в Москве.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда они вошли в зал, были сапоги – три пары тяжёлых, прилежно начищенных сапог. Они вошли, трое, и, не задержавшись в дверях, сразу направились в центр зала, где на столе находился взятый под стекло небольшой – примерно полметра высотой – макет дома на Prinsengracht. На двоих из них были чёрные гимнастёрки, стянутые португепями, на третьем – самом старшем, с редкими седыми усами и седой молодёжной челочкой на лбу, он держался посередине – простенький москвошвеевский пиджачок. Где-то я видел это лицо, но поначалу никак не мог припомнить. Впрочем, где только не увидишь такое лицо – на улице, в трамвае, в конторе.

Имя Анны Франк долгие годы если упоминалось в России, то лишь нехотя, мимоходом. Но тут – свобода! – свергнутый памятник Дзержинскому, устремив незрячие глаза в небо, лежал, зарастая травой, под окнами Дома художников у Крымского моста, а в самом здании, в одном из залов, утеснившемся между шумных, броских экспозиций, почти незаметная и не замечаемая ни на афишах, ни в прессе, расположилась скромная выставка, посвящённая известной всему миру девочке и её дневнику, повсюду читаемому, – акция какого-то международного благотворительного, человеколюбивого общества.

Отведённый под выставку зал оказался слишком велик для небольшого макета и просторно разложенных в витринах фотографий и ксерокопий. Мы молчаливо бродили в пустынном, залитом светом помещении, всего шесть-семь человек, отделённые, казалось, вёрстами один от другого, все без исключения весьма почтенного возраста (как говорилось в давно забытом стихотворении, «пять человек, которым в сумме четыреста лет») и, похоже, единой национальной принадлежности. Изредка двое или трое из нас оказывались одновременно у стоявшего в углу монитора, на экране которого нон-стоп крутилась лента – история Анны



Франк, – всё так же в молчании, напряжённо всматриваясь и вслушиваясь, ловили мелькавшие кадры, слегка кивая головой, словно в такт проживаемой перед нами жизни.

Они – трое – остановились у макета, минуту-другую, хмуря лбы, читали размещённый на столе объяснительный текст.

– Развели тут свою агитацию, – сказал один в чёрной гимнастерке. У него было корявое лицо – видимо, следы мучивших его в юности волдырей. – Всех купили. Правду говорят: евреи в Кремле, русские в тюрьме. Ломом бы по этой игрушке...

– Да ты что! Квартирка что надо! – вступил в разговор другой, самый молодой из троих, почти подросток, похожий на Буратино. – Нам такие только при коммунизме обещали. Я бы сам с ними пожил. – Он подмигивал своим спутникам, и казалось даже, приплясывал. – И девчонка симпатичная. Вполне можно. Скажи? И мамаша ещё ничего...

Однажды в южном городе я шёл в многолюдии отдыхающих горожан по аллее местного парка. Вдруг толпа резко – почудилось, даже качнувшись, – остановилась, будто кто-то нажал на невидимый тормоз, – и замерла на месте. Выбравшись из кустарника, через аллею, неторопливо поворачивая своё сильное, послушное тело, по-хозяйски переползала большая чёрная змея. Наверно, если бы люди предпологали заранее возможность такой встречи, они бы не были парализованы страхом. Неожиданность обезоруживает растерянностью.

...Мы окаменели, ошалевшие от неожиданности старики.

Первой очнулась маленькая старушка в серой вязаной кофте.

– Как вы смеете!.. – пискнула она тонким срывающимся голосом. Но ей, наверно, казалось, что она кричит.

Пришельцы даже не взглянули на нее. Старший, в пиджачке, лишь повёл перед собой рукой, словно раздвигая воздух или отгоняя какое-то видение.

– Ложь. Всё ложь, – произнес он громко и отчётливо, будто читая со сцены. – Дома не было. Девочки не было. Дневника не было. Никто не прятался. Евреи в Амстердаме пили с немецкими офицерами в кафе оранжаду и торговали оружием, хлебом, нефтью. А потом, когда земля захлебнулась в крови тридцати миллионов, явился ловкий еврейский сочинитель и накатал весь этот – старший пожевал губами, усмехнулся и презрительно выдал с нарочитым ударением на первом слоге: – **роман**. И человечество снова должно платить евреям за то гноище, в которое они обратили наш мир. Но – ничего. Недолго им ещё хануку праздновать.

Буратино притопнул от восторга и залился смехом.

Ставя ногу на всю ступню, они – трое – зашагали в своих сапогах к выходу.

И тут я вспомнил, откуда мне знаком этот человек. За несколько дней до того он появился на экране телевизора в сюжете «Новостей», где рассказывалось об оправдании судом российского издателя «Майн кампфа». Невысокий сухонький человек с седой чёлочкой на лбу, в простеньком пиджаке победно шествовал по проходу между рядами стульев в небольшом зале судебного заседания. У дверей зала и на улице его ждала толпа восторженных поклонников, – они встретили его овацией и забросали розами...

– Ну, кажется, наша очередь, – сказал я.

Мы были уже у самого порога музея.

– Мне даже немного страшно, – сказала смуглая дальневосточная девушка, когда мы вступили в вестибюль, показавшийся сумрачным после солнечной улицы и сверкавшей в канале воды. – Эта Анна Франк – как будто девочка из сказки с несчастливым концом. И заранее знаешь, что конец несчастливый.

– Ну что ты, – рыжий сверху ласково обнял её за плечи, слегка прижал к себе. – У всех сказок по-своему счастливый конец. И потом, это было так давно. наших родителей ещё не было на свете. Это для нас Анна – девочка. Если бы она осталась в живых, ей было бы уже семьдесят пять лет.

- Не может быть! – Девушка смотрела на него испуганно.
- Отчего же? – сказала Ханка. – Анна была на пять лет младше меня. Возле кассы были разложены путеводители на разных языках.
- Тебе английский? – спросил я Ханку.
- Не надо. Потом. Сами разберёмся, – сказала Ханка. – Как-нибудь уж сами разберёмся.

## КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

*Прозаику, члену редколлегии и автору нашего журнала Борису Вайнблату – 70 лет! Инженер, специалист по автоматизированным системам, он активно занимался научным поиском, а к литературному творчеству обратился в уже зрелом возрасте, когда накопленный жизненный опыт и наблюдательность породили сюжеты его первых коротких рассказов. Однако жизненными фактами и повседневными событиями круг его литературных интересов не ограничился – отсюда возникновение рассказов-реминисценций, мидрашей, по-своему, по-писательски неожиданно, осмысливающих библейские сюжеты.*

*Проза Вайнבלата – строга, лапидарна, лаконична, порой его новеллы представляют собой развёрнутый анекдот в старинном литературном смысле этого слова. Требовательный к себе, он не спешит с выходом новых рассказов к читателю, постепенно складывая книгу, в которой каждая миниатюра должна сыграть роль камешка в разноцветной мозаике зафиксированной авторским пером жизни.*

*Принося поздравления нашему другу и коллеге, мы искренне желаем ему жизненного и творческого долголетия!*

Редакция

### САРА И АГАРЬ

#### Мидраш

Сара любила короткие мгновения рассвета: утренние звезды еще не погасли, а солнце, поднимающееся из-за гор страны Мориа, не начало свой раскаленный путь по небосклону. Она омыла лицо прохладной с ночи водой и вышла из шатра. Рабыни с кувшинами и мехами направлялись к загонам на утреннюю дойку. Начался новый день в доме Авраама, и Сара, хозяйка, должна была за всем проследить, всему дать толк. Сначала она направилась к загону для коз. Через жерди, ограждающие загон, в него пыталась пролезть рабыня Агарь – любимая наложница Авраама. «Ты не больно спешишь на работу, – заметила Сара. – Я, что ли, должна исполнять твой урок?» – «Я за тебя работаю ночью, а ты могла бы поработать за меня днем», – съязвила Агарь, выпячивая свой растущий живот. Сара заметила, что рабыни стали прислушиваться к их разговору, и понизила голос: «Тебя следует выпороть за твой длинный язык, но боюсь, что ты скинешь и у нас на одного раба станет меньше». – «Раба? – громко переспросила Агарь. – Не раба, а господина! Ты ведь бесплодна, Сара, бесплодна, как сухая смоковница». Сара схватила увесистую жердь, но сдержалась и спокойно, как и положено госпоже, ответила: «Займись делом, рабыня, а то тебе не хватит коз и придется доить козлов».

Солнце высоко поднялось по своей дуге, когда Сара, наконец, подошла к палатке мужа. Утомленный ночью любви, Авраам еще спал. Завитки его серебряной бороды выделялись на черных овечьих шкурах. «Красив. Как в молодости красив!» – подумала Сара, садясь на ложе мужа. Авраам открыл глаза и спросил: «Что привело тебя, Сара, в мой шатер в столь ранний час?» – «Ты знаешь, что говорит обо мне эта блудница Агарь? Ты знаешь, что говорят обо мне наши рабыни, ко-

торых ты постоянно брюхатишь? Что я, видите ли, бесплодна! Я ли в том виновата? Ты годами не приходишь ко мне, а эти девки у тебя не выводятся». – «Сарочка, золотко! – пытался урезонить Сару Авраам. – Ты же знаешь, что я не просто с ними сплю, я выполняю Завет Господень. Согласно воле Его, я должен стать отцом множества народов». – «Ты просто кобель, а не отец! – сорвалась на крик Сара. – А слова Господни о том, что от тебя произойдет народ великий и сильный, ты забыл? Где он, этот народ? Кто его родит? Да и мне какво прожить жизнь без ребенка? Кстати, твоего наследника?!» – «Ты хочешь ребенка, Сарочка? – обрадовался Авраам. – Нет проблем. Дурное дело нехитрое. Сегодня этим и займемся».

Рождение Исаака не принесло Саре спокойствия. Агарь постоянно твердила, что ее сын Исмаил – первородный и только ему принадлежат все богатства Авраама. Ему, а не Исааку, рожденному позже.

Разговоры, которые вела Агарь с рабынями, достигали ушей Сары. Она стала опасаться за жизнь своего малыша. С Агарью надо было что-то делать. И когда стареющий Авраам завел себе новую молоденькую наложницу, Сара сумела убедить мужа изгнать Агарь из дома. Как ни плакала Агарь, пытаясь изменить решение Авраама, он остался непреклонен.

Солнце еще не взошло над горами земли Мориа, когда Авраам разбудил Агарь с сыном ее, дал им на дорогу бурдюк с водой, лепешек и велел покинуть дом свой. Никто из рабынь – подруг Агари – не пошел ее провожать. Лишь Сара с Исааком вышли на край поселения, чтобы убедиться: некогда любимая наложница Авраама навсегда покидает его дом.

Исмаилу не хотелось уходить от знакомых с рождения шатров, веселых козлят, с которыми он любил играть, от пальм, под которыми он собирал сладкие финики, но Агарь неумолимо тянула его в пустыню Вирсавии. И тогда он поднял с земли камень, прицелился и... швырнул в Исаака.

И это был первый камень интифады.

## УХОД САРРЫ

### Мидраш

Луна вынырнула из-за облаков, и маленький караван пошел быстрее. Утомленный событиями последних дней, Исаак задремал на спине осла. Авраам заботливо придерживал спящего сына, но умное животное, будто понимая, что везет ребенка, ступало осторожно, аккуратно ставя копыта на каменистую тропу. Наконец показался спящий поселок – несколько десятков шатров. Если бы не тени, которые они отбрасывали в свете луны, его трудно было бы отличить от окружающих холмов. «Кажется, все спят, – с облегчением подумал Авраам. Но сразу же понял, что ошибся: от поселка к ним метнулась еще плохо различимая фигура женщины.

– Сарра! Разве она заснет, не дождавшись Исаака? Сарра проворно бежала навстречу каравану по идущей в гору тропе, как будто и не было многих прожитых ею лет. Она сжала в объятиях сына, покрывая его лицо поцелуями. Еще не совсем проснувшийся Исаак вдруг застеснялся того, что его целуют при всех, как маленького. «Сынок, сынок мой, – шептала Сарра. – Ты живой! Живой! Значит, есть еще совесть у нашего Бога!»

За столом Сарра как будто не замечала Авраама. Только за сыном она ухаживала, только ему налила кружку еще теплого молока и переломила испеченный с вечера хлеб. Видя такое отношение к Аврааму, слуги удивленно переглядывались. «Поговорю с Саррой утром», – решил Авраам, удаляясь в свой шатер.

Всего несколько часов удалось поспать Аврааму после долгой дороги. Под утро его разбудили голоса за пологом шатра, и он выглянул наружу. Луна еще висела в небе, и в ее свете Авраам увидел, что возле шатра Сарры готовится в путь небольшой караван. Слуги грузили на спины ослов и верблюдов переметные сумы, скрипел колодец, поднимая воду для походных бурдюков. Управляющий домом Авраама проверял копыта животных и надежность сбруи. Сарра, уже одетая в дорогу, безмолвно за всем наблюдала.

«Сарра, что случилось? Ты уходишь?» – «Ухожу, Авраам. Навсегда ухожу от тебя и от твоего Бога. – Голос Сарры звучал негромко, словно она не хотела разбудить спящий поселок. – Я так больше не могу жить. Ты заключил договор с Богом, суровым и жестоким». – «Сарра, – взмолился Авраам, – мы прожили с тобой большую жизнь. Стоит ли расставаться в конце ее. Одумайся!» – «Нет, Авраам. Я не могу простить тебе твоего решения. Я столько лет ждала моего единственного Исаака, я его родила и вырастила. Тебе твой Бог дороже собственного сына, а я – мать! Для меня мое единственное дитя дороже Бога. Я ухожу, я так решила!» Слуга помог Сарре устроиться на спине старой спокойной верблюдицы. Авраам схватил верблюдицу за повод. «Сарра, прошу тебя, одумайся! Не уходи от меня и не отрекайся от нашего Бога!» – «Авраам! Задуматься должен ты! Все дни, пока вы отсутствовали, я думала о твоем Боге. Он требует непомерную плату за союз с нами. Сегодня, когда нас мало, Он готов пожертвовать для проверки любви к себе нашим единственным сыном, а когда нас будет много, сколькими сыновьями Он жертвует? Он считает наш народ песком морским, а кому жаль песчинок: одной горстью больше, одной меньше. Ну а если мы действительно прогноваем его, Он милосердно отвернет от нас лик свой? Отпусти повод, Авраам. Я ухожу. Ухожу искать Бога доброго и милосердного. Бога матерей, полного любви к нашим детям». Авраам отпустил повод.

Сарра что-то крикнула проводнику, и караван тронулся в путь.

Когда он подошел к краю поселка, Авраам вдруг закричал: «Сарра, Саррочка! Не ищи милосердного Бога! Нет его, нет его для нашего народа!»

## О КОРОВЕ МАНЬКЕ И РЕБЕ ГЕРШЕ

Эта история из того далекого времени, когда евреи еще имели хороших коров и мудрых раввинов. Мой дед, от которого я ее слышал, был тогда еще ребенком. Рос он в бедной семье, жившей в Сморгони, небольшом местечке что неподалеку от Минска. Была у них корова Манька, бодливая и норовистая, да еще и не слишком удойная. Впрочем, детям на молочную лапшу всегда хватало. Но, как говорится в Талмуде, всё имеет свое начало и всё имеет свой конец, и в один не очень прекрасный день сдохла Манька. Погоревали прадед и прабабка, поплакали их многочисленные детишки, да делать нечего – надо новую корову заводить. Разузнал прадед, что в Минске можно купить недорогую, но вполне приличную корову, и отправился на ярмарку.

Скоро в хлеву стояла новая корова, которую также называли Манькой. Только, в отличие от старой, новая корова молока давала много и было оно вкусное и жирное. Да и характер у новой Маньки был просто золотой – ласковый и покладистый. Прабабка нарадоваться не могла, а соседи так прямо говорили, что следует завести от Маньки телочку – пусть и у других евреев будут такие же хорошие коровы. Сказано – сделано! В свой срок привел прадед из соседнего местечка быка. Тут и произошел с нашей Манькой конфуз: не подпускает она к себе быка, хоть режь! Прадед и в поле ее выводил, и за рога держал, и так и эдак перед быком поворачивал – ничего не помогало.

Пора быка назад отводить, а он со своим бычьим делом не справился. Пошел прадед к ребе за советом. А должен вам сказать, что тогдашний сморгонский раввин был известен умом и ученостью не только в окрестных селах и местечках, где жили наши евреи, но и в самом Вильно. Оттуда нередко приезжали к нему знаменитые виленские раввины, чтобы прояснить некоторые тонкие вопросы Торы или получить совет в трудном деле. Вот к какому раввину пошел мой прадед!

Ребе его внимательно выслушал, почесал переносицу, а потом спросил: «Корова у тебя из Минска?» – «Из Минска, – отвечает прадед. – Но, ребе, как Вы об этом узнали?» – «У меня жена тоже из Минска!» – грустно вздохнул мудрый реб Герше.

## СУББОТНИЙ КИРПИЧ

– Дорогой ребе, если Вы не возражаете, так я вас немного провожу, – обратился в конце пятничной молитвы мой прадед Лейб-Шломо к нашему старенькому ребе Герше.

– Конечно, конечно, господин Шпигель, а заодно и поговорим о том, что вас тревожит, – согласился ребе, натягивая на себя свое старое пальто, которое уже скоро двадцать лет смотрится почти как новое.

– Да, вы, как всегда, правы: именно тревожит, причем очень. Начну без предисловия, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Моя жена Хая, вы ее хорошо знаете, как мне недавно стало известно, нарушает законы святой субботы. Более того, она в этом упорствует. Вы знаете, дорогой ребе, я человек простой, уж лучше я перелициую пять пар штанов, чем убедю, т.е. убежу, т.е. ... вы меня понимаете, такую женщину, как Хая. Я ей слово, она мне – десять, я ей десять, так она вообще не дает мне рта раскрыть. – Мой прадед замолчал. После столь долгой речи он должен был немного передохнуть.

– Так в чем же всё-таки она нарушает субботу, уважаемый Лейб-Шломо? Рассказывайте быстрее, а то уже скоро мой дом.

– В чем? Да она – представляет, ребе, – не выливает молоко, которое дает наша корова Манька по субботам, да продлит Господь ее годы! – Реб Герше, на что уже умный человек, но последней фразы моего прадеда не понял и потому переспросил: «Вы просите Господа продлить годы вашей достопочтенной супруги или же коровы?»

– И той и другой. Видите ли, ребе, у нас нет русских соседей, и по субботам, чтобы не мучить нашу Маньку, Хая доит корову сама. Я ей всегда говорю, что субботнее молоко, согласно Талмуду, положено выливать в землю, в глину, но...

– Не продолжайте, господин Шпигель. Я, кажется, догадываюсь, в чем суть Вашего вопроса. По субботам Ваша Хая кладет в подойник чистый глиняный кирпич, а на следующий день использует это молоко на простоквашу или, скажем, на творог. И Вы хотите узнать, не нарушает ли она при этом закон субботы, используя в воскресенье субботнее молоко. Не так ли?

– Боже мой, ребе Герше! С вами не нужно даже рта открывать – вы уже и так всё знаете.

– Нет, уважаемый Лейб-Шломо, уверяю вас, далеко не всё. Я, например, не знаю, что делает ваша Хая с этим кирпичом потом.

– Потом она его моет, прокаливает в печи, заворачивает в чистую холстину и хранит до следующей субботы.

– Я всегда очень высоко оцениваю женщин, живущих в нашей Сморгони, но при этом я особенно отмечаю вашу супругу. Она действительно замечательная хозяйка. Моя супруга только моет свой субботний кирпич, – грустно заметил мудрый реб Герше.

## МОИ СТЕКЛЯННЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

Я иду вдоль бесконечного ряда стеклянных колокольчиков, свисающих на длинных нитях откуда-то сверху. Они колеблются от легких порывов ветра и мелодично позванивают. Звенят колокольчики по-разному: одни совсем тихо, другие погромче, одни поют динь-динь, другие – дилинь-дилинь, у одних звон заливистый, задорный, у других – глухой и печальный. Иногда я понимаю язык, на котором они звенят-разговаривают: этот колокольчик, например, говорит на иврите, а эти, вероятно, – на арамейском языке. Несколько колокольчиков звенят по-немецки. Перезвон некоторых колокольчиков я не понимаю. Но я точно знаю, что колокольчики эти рассказывают о судьбах моих предков, а может быть, о моих предыдущих жизнях. А откуда мне это известно – не знаю...

Мне кажется, что в некоторых своих прежних ипостасях я был женщиной, но чаще – мужчиной. А вот быть животным мне не довелось, а жаль: родиться собакой я бы не отказался.

Порой события, о которых звенит-заливается тот или иной колокольчик, мне, нынешнему, неведомы, а о временах и странах, в которых я жил (а может, это был мой предок?) в том или ином своем перевоплощении, я ничего не знаю. Иногда в его рассказе упоминаются неизвестные мне события, и я прошу пояснить, о чем, собственно, идет речь, задаю вопросы, но колокольчик меня не слышит и на вопросы не отвечает.

Вот колокольчик, заинтересовавший меня рассказом о том, что когда-то я был служанкой... у Сары, Сары – жены Авраама, которая дала начало еврейскому народу. «Я помню, – звенит колокольчик, – все события, произошедшие в доме Авраама, ведь от служанки ничего не утаишь, ей всегда известны семейные секреты. Моя память, – продолжает колокольчик, – сохранила стремительное возвышение и последующее падение Агари, моей тогдашней подруги.

Но явственней всего мне вспоминаются последние дни моего пребывания в доме Авраама. Должна заметить, что к старости у Авраама появились странности. Чего стоило Саре так называемое жертвоприношение Авраама! Как разрывалось ее сердце, сердце матери, когда она узнала, что муж увел из дома их единственного сына Исаака! После этого Сара не могла дальше оставаться в доме Авраама и, забрав с собой нескольких слуг, ушла в землю Ханаанскую. Я сама собирала мою несчастную госпожу в дорогу, а потом сопровождала ее до самого Хеврона».

Ещё один колокольчик напомнил мне, что и в другой моей жизни я был служанкой. На этот раз – в доме вифлиемлянина Вооза. Я была совсем молода, когда произошли события, связанные с приходом из земли Моавитянской старой Ноемини и ее невестки Руфи. Помню, Руфь поразила меня какой-то особенной женственностью, а широкая шаль не скрывала, а скорее подчеркивала ее формы: бедра и высокую грудь, делала ее таинственной и загадочной. Лицо моавитянки притягивало взгляд необычной для наших мест красотой: высокими скулами и огромными, в пол-лица, серыми глазами. И конечно, Вооз, как и многие мужчины, сразу же обратил на Руфь внимание. Да он и не скрывал этого. С трудом дождавшись окончания уборки ячменя, он буквально на следующий день женился на красавице-моавитянке.

Я-нынешний понимаю, что повествование служанки Вооза несколько противоречит тому, что мне известно из библейской «Книги Руфи». А там сватовство Вооза описано иначе. Но по здравому размышлению я склоняюсь к тому, что воспоминания моего прежнего воплощения точнее библейского рассказа. Судя по всему, Вооз был настолько ослеплен чарами Руфи, что о земельном наделе, принадлежащем Ноемини, он в тот момент и не думал. Впрочем, так ли важны все эти детали?



Следующий колокольчик звенит о жизни пастуха, жившего в библейские времена. А что интересного мог видеть пастух кроме своих овец да бесплодных холмов пустыни Неgev? И о чем он может рассказать? Впрочем, всё не так просто! Вероятно, этот давний мой предок передал мне нынешнему любовь к овечьим сырам: турецкой или болгарской брынзе, греческой фете, датскому овечьему сыру, осетинскому сулугуни...

К слову сказать, я-нынешний блюда с сыром тоже люблю и с удовольствием ем румынскую мамалыгу с брынзой, греческий салат или горячее, прямо из очага, хачапури. Всё это сегодня называется генной памятью, и выходит так, что эти кулинарные пристрастия у меня от моих дальних предков-пастухов.

Наконец я подхожу к колокольчику, чей рассказ меня, живущего сегодня в Германии, заинтересовал особенно. Звенит этот колокольчик не то на идиш, не то на немецком и описывает события, произошедшие относительно недавно, в конце XVII века.

Итак, в то время мой предок (или я сам?) жил в городке St. Goarhausen на берегу Рейна.

Но перед тем, как поведать вам историю, услышанную от колокольчика, расскажу о том, как я нынешний оказался в этом уютном городке. Так случилось, что мой товарищ пригласил меня с женой в поездку вдоль Рейна. В одном из прибрежных городков мы сделали короткую остановку.

St. Goarhausen, так назывался этот городок, представляет собой одну довольно длинную улицу, вытянувшуюся вдоль берега. Фасады каменных или фахверковых домов глядят прямо на реку. Рейн теряет в этом месте свою ширину и устремляется в теснину между поросшими лесом горами. Однако в окрестностях городка горы не слишком круты, свободны от леса и покрыты виноградниками. От главной улицы поднимаются в гору коротенькие улочки-отростки и совсем крохотные переулки. На этих улочках теснятся не более пяти-шести сохранившихся еще со времен Средневековья домов.

Трудно описать волнение, которое внезапно охватило меня в этом городке – ничего подобного я никогда раньше не испытывал. «Знаешь, – сказал я своему другу, – мне кажется, что я уже здесь бывал. Нет, не просто бывал, я когда-то здесь жил! Жил вот на той, идущей в гору улочке. Я узнаю и эту улочку, и возвышающийся над городком замок!»

Почти бегом мы пересекли главную улицу и остановились на углу «моей» улочки. Мы почти одновременно подняли глаза на табличку с названием: Jüdeugasse – Еврейский тупичок – значилось на ней. Но самое поразительное было то, что в конце улицы я увидел «свой» дом... Да, несомненно, это был он, я сразу же его узнал: первый этаж сложен из потемневшего от времени рейнского песчаника, а второй и этаж под крышей – фахверковые. Дом почти вплотную примыкает к горе, и виноградник, начинающийся сразу же за домом, поднимается уступами вверх.

Но перезвон колокольчика возвращает меня к тем временам, когда я жил в этом доме. Он рассказывает, что семья (мешпуха – так сказал колокольчик на идиш) моего предка, носившая фамилию Weinblat, была большой и трудолюбивой: старики-родители, их многочисленные сыновья и дочери, а также их жены и мужья, внуки и внучки. Большая часть семьи трудилась на винограднике – он требовал постоянного ухода, оставляя для молитвы и отдыха только субботу. Некоторые мои родственники были бочкарями, в их превосходных дубовых и буковых бочках мы возили свое вино на продажу. Семья наша имела в окрестных городах несколько винных лавок и Weinkeller'ов – винных подвальчиков, торговавших этим вином. Колокольчик не без гордости сообщил, что наше вино славилось особым букетом, тонким вкусом и ароматом. За долгие столетия мои предки отобрали прекрасные сорта виноградных лоз – основу благополучия нашей семьи. Особенно знаменитым было вино из винограда, собранного поздней осенью. Его, продолжал рассказ

колокольчик, отвозили не только в близлежащие, но и в отдаленные города: саксонский Дрезден или польский Лодзь.

Читая эти строки, вы наверняка решили, что их автор явно не в себе. О чем он рассказывает? О своих прошлых жизнях, о говорящих колокольчиках... Чушь всё это! Форменная шизофрения! Я бы и сам на вашем месте так решил. Но вот задача: в Дортмунде, где я сейчас живу, в районе, бывшем некогда отдельным городком Aplerbeck, с незапамятных времен существует винный гешефт, сохранивший фамилию моей семьи, той и нынешней, – Weinblatt. Его адрес: Köln-Berliner-Str. 87.

# РЕПЕТИЦИЯ

Рассказ

1

Из-за множества лестниц с начищенными латунными перилами в облике гостиницы было что-то корабельное. И это сходство усиливала вереница флагштоков перед входом.

Мебель в номере, изготовленная из светлого дерева, как бы побелевшего от соли и солнца, тоже создавала ощущение морского путешествия: вроде просторной каюты.

Это была из тех дорогих гостиниц, где в лифтах и туалетах всегда играет тихая приятная музыка.

Они побросали дорожные сумки, съели в баре по слоеному треугольничку, полюбовались с террасы видом ночного залива, похожего в расплывшихся по воде разноцветных огнях на развернутый дамский веер, и зашли в салон.

Там перед пустыми диванами и креслами уже играли нанятые гостиницей музыкантши, скрипка и фортепьяно.

Из керамической кадки торчало растение с крупными листьями, украшенными светлым желтоватым рисунком, похожим на рентгеновские ребра.

На диване под горевшим бра сидела одиноко девушка с таким тонким лицом, что когда она поворачивалась в профиль, у нее просвечивал носик.

Расползшийся с наступлением сумерек по парку парфюмерный запах жимолости затекал в открытые ради вечерней свежести окна.

И алая вишенка на дне стакана преломлялась в широких гранях, так что казалось, что их там три, а то четыре.

Они послушали примерно треть программы и пошли к себе спать, как раз когда салон начал заполняться постояльцами.

А утром, когда он брился, позвонили и сказали, что прошлой ночью тетя Лёля умерла и что похороны в пятницу.

– Ты поедешь? – его спутница, отражаясь голыми плечами в зеркале, перестала возиться с завязкой в волосах, опустила руки и посмотрела внимательно.

Он кивнул.

– Я с тобой.

– Не надо. Купайся. Я быстро вернусь.

Он вышел на маленький балкон. Мимо, всплеснув крылышками, пролетела ласточка.

Линия гор как всегда напоминала чей-то запрокинутый профиль.

По зеленоватой глади моря в такую рань уже гарцевал водный мотоцикл, и полотенщик уже прикатил к бассейну свою клетку, набитую полотенцами.

Какой-то постоялец в красной махровой тоге стоял там и трогал воду ногой, точно размышляя, не пойти ли по ней аки посуху. Но потом сбросил халат и просто нырнул с бортика.

Он позвонил в турфирму и растолковал насчет билета.

Они пошли завтракать. Больше всего он любил этот утренний пронизанный солнцем час на открытой террасе ресторана.

Завтрак тут сервировали на маленьких соломенных рогожках, раскатывая их на круглом мраморе столов.

Он взял себе яичницу, кучку морщинистых красноватых маслин и что-то вроде заячьей капусты, политой простоквашей, а она отправилась за омлетом, который здешний повар стряпал со множеством приправ и, чтобы перевернуть, высоко подбрасывал на сковородке.

На плетеную спинку ее пустого кресла уселась нахохленная воробьица, повела круглым глазом, увидела, что хлебных крошек еще нет и, как ему показалось, зевнула.

За соседним столом громадный парень в красной майке с надписью «Reebok» поедал груды коричневых сосисок, и за его тяжелым силуэтом сверкал в пальмах залитый солнцем безукоризненно прекрасный мир, который ему предстояло на время покинуть.

Было уже начало одиннадцатого, когда они пришли на пляж. Фелюки и яхты, вышедшие час назад из спрятанного за мысом маленького порта, как раз бежали вперегонки вдоль берега на острова. Они тоже так пару раз плавали. Когда сидишь верхом на бушприте, вечно набивается полный рот ветра, и становится весело.

У воды, силуэтами на блестящем солнце, перемещалась масса ладно выточенных женских фигур.

Скутер прыгал и вертелся на волнах.

Появился и принялся заглядывать, улыбаясь, под каждый зонт молодой вертячий негр, затейник и весельчак, предназначенный устраивать всякие пляжные игры.

За ним, пружиня на каждом шагу, прошла босиком девушка с волейбольным мячом в руках.

Он пытался представить себе лицо тети Лёли, но припомнил фотографию. Там она снята вместе с дядей как раз в тот год, когда его первый раз в жизни повезли на море и катер перевернулся и папа с мамой утонули, а они с дядей приехали забрать его из Ялты.

Она вошла тогда в их комнату в пансионате, где он лежал, вытерла платком стул, села, оглядела комнату и сказала: «Какие занавески дрянные».

У них с дядей были очень красивые занавески в цветах, и в той комнате, где его потом поселили, тоже. Тетя говорила, что полгода их выслеживала.

Сигарета, как это всегда бывает на ветру, курилась быстро и невразумительно.

В лодочный затон между пирсами вошла яхта, обрушила в воду якорь и принялась спускать лодку.

В ее черном блестящем корпусе отражалась вода, отчего он казался зеленоватым.

Какая-то женщина выходила из моря, балансируя на скользких камнях, как девочка на шаре.

Он обернулся и стал смотреть в сторону бассейна, к которому его подруга шла по квадратным плитам босиком, а потом, поплавав, обратно, оставляя на светлом камне темные мокрые следы.

Они встречались уже несколько лет и каждое лето вместе путешествовали, когда она отвозила сына к бывшей свекрови пожить на даче.

Она улыбнулась ему и нагнулась за сухим купальником, показав в вырезе пляжного балахона еще молодую грудь.

Небо, и без того ясное с утра, совсем очистилось, и единственное юркое облачко, похожее на белую мышку, убежало за хребет.

Он подумал, что ему предстоит вознестись туда, где за бортом вечные минус пятьдесят.

Это было, как если бы сказали, что послезавтра вечером душа его будет забрана из этого мира.

Яхта с полосатым крылышком все так же чертила по трехцветному морю.

Девушка в черном купальнике и красной бейсболке плескала обеими руками в двух шагах от берега, сидя на своем матрасе верхом, как на широком мотоцикле. Или как Европа на быке.

Какой-то дядька на основательных ногах все не решался зайти и нагнбался зачерпнуть на шею и плечи.

Двухлетняя малышка пробовала воду крошечной ногой, взмахивая от старания розовыми крылышками.

Шведки лежали, грудями сложив на солнце свои окорока.

Немка, мать двойняшек, все надувала им прозрачный плавательный круг.

Даже сюда доносилось, как винтовой желоб выплевывает в бассейн друг за дружкой визжащих купальщиков.

Но он все это видел как бы через толщу воды. Будто он уже погрузился, и от воздуха его отделяет прозрачная не пропускающая звуков стена, вроде аквариумной.

Когда дядя умер, тетя сразу обменяла их двухкомнатную на большую однокомнатную в «генеральском» доме: ей всегда хотелось жить в генеральском. И там для него уже не было места, и он вернулся в ту комнату, где они когда-то жили с папой и мамой, а тетя эти годы ее сдавала.

Потом, когда у них все так плохо с первой женой сложилось, она как-то так сделала, чтобы рассориться, и десять лет не звонила. Пока не заболела суставами и ей стало нужно помогать.

За эти годы у нее откуда-то появился двоюродный брат, о котором раньше ничего не было слышно. Она его звала «ку-у-зэном» – чуть нараспев и как бы с французским прононсом – и видно было, что он свой человек в доме. Он часто даже ночевал, постелив на диване.

Ку-у-зэн, как выяснилось, уже двадцать лет строил какую-то необыкновенную дачу. И говорил только про нее. О разноразмерной планировке, герметических окнах для мансарды, полимерной черепице, системах отопления, гаражных воротах с подъемником и каминах. Он не пропускал ни одной строительной выставки, а когда удавалось, пробирался на архитектурные конференции и возвращался с целыми сумками буклетов. Тетя, хотя из-за суставов не могла съездить и посмотреть стройку, слушала его с восторгом. «Ты же понимаешь, – объясняла она, – это будет настоящий коттедж» (она произносила через «э»).

Кузен сразу принялся называть его ласкательным именем, смотрел из-под кустистых седых бровей маленькими водянистыми глазами и все повторял: «Она тебя вырастила».

...Ему представилось бледное, будто спящее лицо тети, прозекторская и блестящая скальпель в розовой сукровице, который в этот миг добирался до злополучного тромба.

Утром в четверг на коврике под дверью он нашел просунутую туда записку на бланке турфирмы. По-русски с орфографическими ошибками подтверждали вылет ночным рейсом.

Большое дерево, вроде акации, цвело пушистыми нежными цветами, будто его облепили розовые колибри.

Садовник возился вокруг стриженого куста, похожего на большую зеленую черепаху, утыканную мелкими оранжевыми граммофончиками.

Какие-то жаркие лиловые языки напозлали на кирпичную стену пляжной харчевни.

И он подумал, что надо прожить последний день как бесконечный. Так, будто их нескончаемая чередка впереди.

Лакированная двухмачтовая яхта с двумя флагами на корме, пришедшая в первый день, теперь придвинулась к пирсу и стала обитаемой.

На корму вышла девушка с тоненькой золотой цепочкой на толстой лодыжке, встала у веревочных перил спиной к пляжу и стала смотреть на море. Подол юбки, движимый ветерком, чуть колебался у ее смуглой ноги. Потом она ушла обратно в каюту.

Пять поваров в белоснежных крахмальных гребнях на головах, держа на вытянутых руках накрытые серебряными колпаками подносы, гуськом проследовали по пляжу и свежeverкрашенным доскам пирса и взошли на яхту, доставив ланч.

Поднимаясь на борт, они, точно у входа в японский дом, снимали обувь.

Он не мог оторвать глаз от безукоризненно ровной черно-синей линии горизонта с единственным крошечным изъяном, обозначившим заснувшую там вдали рыбачью лодку.

А если раскинуться на горячей гальке и закрыть глаза, и правда чувствуешь себя лежащим на громадном шаре – нагретом, летящем в солнечных лучах, облепленном со всех сторон морями, материками и островами с пальмами.

Быть может, человек вообще создан для безделья? Ну, как это было тогда, в Раю.

Тут даже море не плещет, а лижется...

В тот день они сплавали далеко-далеко. Так далеко, что музыка с разных пляжей перепуталась, и со стороны берега доносилось что-то вроде звона и звяканья, как из ресторанной кухни, когда ссыпают в мойку посуду.

А потом прошлись вдоль пальм, поблескивавших металлическими бирками, приколоченными к волосатым ногам, и поднялись в бар.

На мраморной террасе за ажурным чугунным столом несколько пожилых французенок играли во что-то, разложив цветные картонные таблицы с фишками. «Дамы, играющие в лото», – мысленно усмехнулся он. Неизвестный художник...

Два мальчика лет пяти-шести сидели, как два мужичка, у стойки, прихлебывая детские коктейли неоновой расцветки.

Внизу, ублажая постояльцев, официант в цветной жилетке и бабочке все толкал вокруг бассейна свою тележку с запотевшими бутылками в никелированных лоханках, набитых льдом.

И ему пришло в голову, что это не навсегда.

Придет время, и одуванчики и репей все равно пробьются через мраморные плиты ступеней. Стены разрушатся и оплывут, и на камнях усядутся стрекозы. Пальмы с бирками высохнут и упадут, их съедят жучки. Бассейн засыплет здешним серым песком, и там, в колючей траве, будет стрекотать кузнечик и шуршать черепаха. И чугунная тонкая решетка, отделяющая террасу от моря, рассыплется в прах, и море поглотит мостки с железными лесенками, опущенными в воду, а пляж сравняется с террасой, на которой теперь хлопочут официанты, хлопком расстилая скатерти и раскладывая по плетеным креслам подушки к грядущему ужину...

Со стороны пляжа донесся хруст складываемых в штабель пластмассовых лежаков – будто кто-то с треском пролистнул громадную картонную колоду.

Белый катер ныряльщиков давно вернулся и стоял у причала, развесив на корме черные прорезиненные костюмы, точно проветривая шкуры, снятые с отловленных водолазов. Он был похож на промысловое судно.

Солнце скатывалось к вершушкам пальм, и прислуга в белых коротких штанах закрывала пляжные зонтики, один за другим, как цветы на ночь.

Приодевшись в легкие пиджачки и платья, народ прохаживался по выложенному разноцветными плитами холлу в ожидании мига, когда отворятся высокие двери, за которыми в это время старший официант последний раз обходил столы, поправляя то тут, то там прибор или салфетку, – так церковные служки с озабоченным видом обходят амвон, переставляют что-то и поправляют свечи перед началом большой пасхальной службы. Да всеобщий семичасовой обед в гостиничном ритуале и есть что-то вроде ежевечерней Пасхи.

Пока постояльцы ужинали, скрипачка с голыми плечами играла Моцарта, а в промежутках стояла возле своего пюпитра, наклонив смычок, как удочку.

Потом немцы отправились в бар смотреть футбол, прихлебывая пиво и вскидывая руки всякий раз, когда человек с мячом приближался к воротам.

На нижней террасе тщательно взлохмаченные молодые англичанки поедали мороженое.

С внешней стороны балюстрады прошел гладенький содержатель здешнего рая в алой рубашке, черных брюках с лаковым ремнем и таких же штиблетах.

Заглянула, не увидела никого из знакомых и ушла дородная французская дама в маленьком черном платье, похожем на купальник.

Его подруга взяла сок, а он заказал коктейль пронзительно розового цвета и такой же на вкус. Попробовал и не стал пить.

«Надо будет на памятнике дописать, там есть место», – подумал он.

Высокие остроконечные кусты цвели чем-то вроде рождественских гирлянд. Горлинки, расправив короткие крылышки, катались на встречном ветерке.

Из глубины парка металлическим голосом закричал сидевший там в клетке павлин. Звук был похож на скрип тяжелых гаражных ворот, даже удивительно, что его исторгала тонкошеяя птица.

На какое-то время сделалось безлюдно, и только две одинаково круглолицые, с выщипанными бровями и обгоревшими носами подружки, утром лежавшие возле них на пляже, все бродили кругами у бассейна в надежде на свое курортное счастье.

### 3

Автобус выкатил из гостиницы как раз в тот миг, когда из тягучего ночного моря, точно из блюдца с вареньем, выползла перемазанная вишневым сиропом луна.

Проехали через курортный городок, где толпился народ и всю светились и сверкали лавки с голдешником и надувными матрасами.

Розовый и белый олеандры пятнали деревянную решетчатую стену кофейни.

В плетеных креслах сидели образованные турки со своими разноцветными газетами.

– Бизнес? – понимающе спросил в аэропорту агент турфирмы, передавая билет.



– Хуже...

– Вы не похожи на русского.

Его вечно принимают за голландца.

Накопитель перед выходом на посадку напоминал приемное отделение больницы.

Наконец объявили, и он сел и вытянул ноги в полупустом самолете.

Ему не хотел спать.

Почему говорят «на тот свет»? Он оставил море, берег и свою женщину навсегда. Он летел в ту тьму.

В овале иллюминатора белым жестяным светом сверкала вдогонку луна и торчали звезды – в детстве, когда они забирались в темный сарай, так светились дырочки от гвоздей, и казалось, что наступила ночь, так что делалось страшно, и они сидели, затаив дыхание, пока мрак вдруг не распахивался широкой яркой щелью, и там стоял отец в клетчатой рубашке.

Внизу было навалено без числа подушек, подсиненных лунным светом.

На белом самолетном крыле сидел на корточках ангел и молча смотрел в сторону луны, задумчиво пощипывая выбившееся из-под локтя перышко.

#### 4

Эта вечная маленькая толпа перед моргом, переминающаяся на мокром асфальте, слегка замусоренном фиолетовыми и белыми лепестками, отпавшими от цветов.

Нет, это еще предыдущая. Их совсем крошечная: трое, нет, четверо. Вместе с ним пятеро.

Сверху моросило, и небо казалось заваленным землей.

Поехали в церковь.

Отпевание было фантазией кузена. Тетя Лёля ни во что не верила.

Отпевал молодой, но уже плешивый попик. Казалось, он всего больше был озабочен тем, что кадило плохо разгорается: беспрестанно подкладывал туда кусочки ладана, принимался махать, наспех прочел то место из Евангелия, где говорится о воскрешении мертвых после Суда, и в завершение сунул в гроб шпатель для предстоящего экзамена перед Господом.

От горящей в руке свечи воздух перед глазами дрожал, и казалось, что грудь лежащей в гробу дышит.

Потом гроб пронесли мимо мраморных и бронзовых бюстов футболистов, балерин и каких-то бандюг, изваянных кладбищенским Микеланджело. В дальний угол, где у них сохранился участок и где было так тесно, что приходилось на руках переносить через ржавые решетки. И закопали рядом с дядей.

Кроме кузена была молодая щекастая баба, которую тот называл «моя помощница», кажется, его дальняя родственница, приезжая. Она жила в недостроенной даче. Он видел ее у тети раза два. Потом соседка по генеральской квартире, накрашенная дама в черной кружевной накидке. А еще давняя тетина подруга, последняя, с кем она поссорилась, но все-таки та звонила ей на Новый год. На кладбище она не поехала, а из морга отправилась готовить стол и встретила их в дверях тетиной квартиры, вытирая мокрые руки о фартук с большой синей розой.

Дядиных друзей никого не было, да она еще при нем всех как-то отдалила. Одному он позвонил оттуда, с моря, но тот, оказалось, сам в больнице.

С тетиной тахты, на которой та все больше лежала последние годы, убрали постель и положили гобеленовые подушки, еще бабушкины. К круглому столу

приставили ломберный и накрыли льняной скатертью. Сели кто на тахту, кто на придвинутый диван, а кузену поставили кресло.

– Ну... скажи ты первый. Она тебя вырастила.

– Она ведь все своими руками. Вот эту шкатулку покрасила белым, стала как импортная...

– Я и говорю: вам бы прилечь...

– Это когда олимпиада была, в восьмидесятом...

– А у нас ее укусом заправляют...

– Тогда ничего достать было нельзя. Ей из Риги привезли...

– Такая в очках, крашенная...

– Какой хлопок – это ж настоящий хлопок!..

– Не то буддисты, не то нудисты, я не разобрала...

– Чего они только в этих электричках не возят...

– Перед самым уже папироску попросил... Все давился дымом, давился...

– Чудесный чернослив, по девяносто рублей кило...

– Теперь крышу делают вот так, зато увеличивается площадь мансарды...

– Я их на спирту настояла, да и позабыла... При простуде...

Стали смотреть фотографии, достали альбомы из теткиного красного комода. Потом кузен принес из прихожей каталоги с американскими коттеджами и принялся по ним объяснять.

Он позвонил в турагентство и узнал, что можно лететь прямо этой ночью, если сейчас забрать билет.

– Вот за похороны. Священнику я отдал...

Кузенова помощница записывала со слов соседки на бумажку какой-то рецепт.

Старая дядькина квартира, где он жил с ними двенадцать лет, еще сохранявшая следы бабушки, которую он еле помнил, была вправлена в эту генеральскую как бы осколками. Ну, как эти мозеровские часы с остановившимся маятником над югославской стенкой и рядом с дурацкой грузинской чеканкой.

Но уже что-то изменилось. А, исчез дедушкин натюрморт с синим кувшином на желтой скатерти. У дядьки картина висела над письменным столом, а тут, у тети, в простенке между окнами, вон и гвоздь.

А та фотография, где тетя с дядей вдвоем, в латунной рамке, висит. Он ее снял и положил в карман плаща.

Из агентства, где ему пришлось почти сорок минут ждать в обществе охранника, без конца жевавшего земляничную резинку, пахнущую на весь коридор, он поехал к себе.

На письменном столе и на книжных полках уже легла пыль.

Он подошел к окну и раздвинул шторы.

По набережной, то и дело вспыхивая желтыми глазами, полз, весь в дыму, железный диплодок и плевался горячим асфальтом в кузов ехавшего перед ним грузовика.

Вспугнутый им мотоцикл, хрюкнув, рванул с места и умчался в туннель.

Он попробовал было читать. Но буквы не складывались в слова.

Отчего-то вспомнилось, как года два или три назад, когда они так же ездили – в том отеле у них еще окно выходило, как в сезанновское полотно, в стволы громадных пиний, а прислуга, убравшись в комнате, выкладывала на постели из простыни что-то вроде оригами, – на четвертый не то пятый день у бассейна появился небольшого роста, замечательно сложенный смуглый, чем-то похожий на футбольного вратаря, француз, но говоривший со своей темноволосой женой по-английски. Оба в дорожной одежде, видно, только приехали, но мальчишек своих тут

же запустили в бассейн, а следом и он быстро скинул брюки и тенниску, разбежался коротко, успев на бегу повернуть лицо к жене и подмигнуть, и сиганул по безупречной дуге к ним в воду, а вынырнув засмеялся разом им всем троим – и всем вокруг бассейна стало весело. А днем или двумя позже она все ходила по каменной дорожке вдоль берега с застывшей улыбкой, разыскивая встревоженными глазами мужа, исчезнувшего в каком-то бунгало с подвернувшейся девчонкой...

5

В начале третьего снизу позвонило такси.

У стойки регистрации еще почти никого не было, и в полчетвертого утра он уже уселся в единственном курящем баре аэропорта. Взял пинту золотистого «хейнекена», тут же покрывшего пузатый бокал мелкими капельками испарины. Закурил. Оглядел венские стулья, как бы закопченные балки на потолке и ряды стеклянных кружек над деревянной стойкой. И вдруг почувствовал, что началось его возвращение в этот мир.

И даже звуки волынки, цедившиеся из колонок под потолком декорированного под ирландское заведение, показали ему веселенькими.

Он пил редкими большими глотками, с удивлением проснувшегося поглядывая по сторонам, и пока он пил, за окном светало. И отражения свисающих с балок матовых светильников в широком стекле уже принялись расплываться и превращаться в мутных медуз, висящих двумя рядами в светлеющем с каждой минутой небе.

Огромная спина соотечественника в раздувшейся футболке заняла высокий стул у стойки.

Появились три молодые польки, заказали кофе и принялись трещать на языке, состоящем из одних шипящих.

Толстенький немец за соседним столом, удивленно подняв седые брови и шевеля губами, читал детектив.

Он подумал, что немец немного похож на дядю. У дяди были такие же чуть выпяченные губы и запавшие глаза, как у отца, только все лицо мягче, и характер тоже.

А потом он стал думать о той, которая ждала его там, на море. И представил, как она приседает в купальнике, раскрывая пляжный зонт.

Он проснулся, когда самолет затрясло уже на земле, и лишь в следующий миг сообразил, что они еще только идут на взлет: рухнув в кресло, он провалился в пустоту после двух бессонных ночей и прозевал и «пристегните ремни», и бортпроводниц, демонстрирующих спасательные жилеты.

За иллюминатором, сливаясь в полосу, бежала бурая трава и мелькали какие-то не то фонари, не то вешки, самолет, дрожа всем телом, разбежался, и вдруг он мысленно увидел, как огромная машина сделалась поджарой и голенастой, вроде бегущего от собаки цыпленка-подростка, и тут же прыгнула в небо, нескладно поджав ноги.

Самолет и правда прыгнул, и растворился в посветлевшем предутреннем воздухе, и он растворился вместе с ним.

6

В следующий раз он проснулся, когда они уже и правда тяжело стукнули на бетон, и вся пристегнутая к своим сидениям разноцветная толпа, как обычно, зааплодировала.

Он вышел из самолета на трап в тот самый миг, когда тысячи маленьких муэдзинов разом запели в листе, восхваляя Создателя, и возвестили утро.

Он их не слышал и не видел, но знал, что они по всему побережью ликуют в зелени.

Автобус проехал через старый город, и видно было, как хозяйки вываливают на балконы ковры или вывешивают белье на протянутых веревках, а в углу балкона на табурете сидит сонный субботний турок.

Потом пошли громоздящиеся друг на дружку черепичные крыши бунгало с захластами виноградной зелени, наползающей с побеленных стен.

Небо было по-утреннему декорировано мелкими облачками. После их уберут за хребет, так хозяйка после завтрака подметает пол метелкой.

Он подумал о тете.

«Упокой ее небеса», – и перекрестился на мечеть.

Минуя рецепцию с девицами в фирменных галстуках отеля, он прошел сквозь мраморный холл, передвинул попавшееся на пути плетеное кресло и вышел наружу в парк.

Ища глазами, полюбовался миг, как прислуга со швабрами пытается стереть отражение пальм с мокрого камня у бассейна. И увидел ее на противоположной стороне.

Она обернулась к нему в своей летучей красной тряпке вокруг бедер, улыбнулась и помахала рукой.

<29.05.06 – 10.08.07>

## ВРЕМЯ КРИВЫХ

### Золотые купола

Государь император серебряных гроз,  
твоя свита – из тёмных. К тому же – не спит,  
полагая, что ночь – это слишком всерьёз.  
Это город теней.

Не для всех он открыт.

По прошествии сроков, как белых дождей,  
по прошествии жизни за номером пять –  
во дворце ожидают приезда гостей,  
и они не заставят себя долго ждать,  
и появятся с той стороны облаков.

Ляжет вечер к воротам –  
прохладен и сер.

Государь император страны дураков,  
вышло так, что у нас по три дюжины вер  
на десяток адептов.

И кто тут не жрец?

Кто, пусть раз, не зажёт в древнем храме свечу?  
Святой Спасе, помилуй...

Небесный отец,  
я бы пел общим хором. Но вот не хочу.

Я бы вышел во двор. А вокруг – терема.  
Снегопад замедляет – хоть сани готовь.  
Ом, апостол Андрей...  
Ом, апостол Фома, –  
говорили архаты, что бог есть любовь.

Говорили, а лица – бледнее, чем снег,  
и в глазах безнадега зелёной тоски...  
Мы не можем при мире. Наш дом на войне.  
Мы привыкли бомбить. Мы привыкли в штаны.

Так аминь, Государь. Кто ещё здесь не пьян?  
Ухмыляется месяц сиреневой мгле...  
Снится братьям Чечня.  
Снится братьям Афган.  
Кто подался в быки, кто сидит на игле.  
А другим – долгий путь после слова «прощай»,  
и увидеть всё то, что пройти не успел...  
Пьётся время, как свежесваренный чай.  
Но на дне – только дно.  
А за дном – беспредел.

В колесе у сансары бубенчиков ряд,  
и звенят золотисто –  
послушай их звон...  
Мы из этого звона отлили оклад,  
но пока под него не сыскали икон.  
Может статься, сойдёт за святого восход –  
уберут оцепление с Лысой Горы.  
Человеческий Сын не распят, а живёт  
вне законов и правил нелепой игры.  
По которой нас делит –  
на этих и тех –  
новый маленький фюрер великой страны.  
За мою душу несмываемый грех:  
утверждать то, что мы повсеместно равны.

...Всё идёт, как идёт. С колокольни моей  
виден Будда и Спас.  
И сидящий Аллах.

Виден Киев ночной.  
И пунктир фонарей.

Отражение звёзд в золотых куполах.

### **Время кривых**

Звякнут часы. Осторожно. Негромко.  
Время кривых, что смыкаются в круг  
и замерзают хрустальной кромкой.  
Холодно будет дорогой на юг.  
Холодно. Долго.  
К тому же в итоге  
выйдешь на север. Такой вот расклад.  
Смотрят с небес ледовитые боги,  
пятую вечность живущие над  
городом этим.  
Чудесным и странным.  
Сросшимся накрепко с древней рекой.  
Жители видят себя на экранах  
рядом с багровой бегущей строкой  
и узнают, что вчерашнее сплыло –  
близко ли, дальше ли...  
В общем – нема.  
Память сварили. И серое мыло  
служба доставки развозит в дома  
и отдаёт за бесценок и даром.  
Дело привычное.  
Более чем.  
Пара ментов и отряд санитаров –  
во избежание лишних проблем.

Во избежание свары и крови  
впору по венам пускать физраствор...

Свастика с пятницы прошлой во Львове.  
Вроде бы, так и висит до сих пор.  
Статуи падают.  
То, что когда-то  
было незабываемым, – пепел да пыль.  
Бронзою светят на солнце солдаты,  
сданные на переплавку.  
В утиль.  
И зарастает бурьяном зелёным  
то, что, казалось, стоит на века.  
Бодро к майдану идут регионы,  
весело дышат в затылок войска.  
То ли комедия третьего сорта,  
то ли уснул, а проснуться – никак.  
Национальный, всеобщий вид спорта –  
акции, митинги.  
Кстати – аншлаг.

Звякнут часы на ладони у беса.  
Время разыграно. Ты проиграл.

Две сигареты.  
Привычный эспрессо... –

утро не старт.  
Утро только финал.

### **Большая охота**

*(атомной энергетике посвящается)*

Затих сезон кислотного дождя.  
Сверяя счётчик Гейгера с часами,  
под управлением мудрого вождя  
мы выйдем на охоту. Чудесами  
наполнены леса. И там, и тут –  
с берёз свисают скользкие лианы,  
на липу влез чешуйчатый верблюд  
и сладострастно чавкает бананом.

Питона изловила стая жаб  
и тащит на ближайшее болото,  
крадётся двухголовый троелап  
по следу птерохвостого енота,  
размахивает хоботом олень,  
царапая когтями ствол платана,  
дурманит психотропная сирень,  
и в воздухе таинственно ипряно  
витают аромат душистых трав –  
сдьмое лето с прошлого потопа...

Вдали запрыгал сумчатый удав,  
вдыхая с наслажденьем изотопы  
сырой земли, где густо проросла



скрестившись с беладонной сенсимилья,  
а в чаще рёв двугорбого осла  
перекрывает пенье крокодиле.

Идёт на водопой степной дракон,  
блестит его узорчатое тело...  
Драконов мы не трогаем. Закон.  
Хотя есть баллистические стрелы,  
способные сразить наверняка,  
а не сразить – так точно покалечить.  
Охота, впрочем, завтра. А пока –  
в свои права вступает тихий вечер,

и жрец спешит разжечь в костре огонь –  
всего лишь поглядев на хворост строго,  
надет на вертел крупный долбоконь –  
прямой потомок древних носорогов.

Пред ужином – по рюмке за поход  
во имя продовольственной программы,  
зелёным засияет небосвод  
и под сопровождение тамтама  
старейшина расскажет, до зари  
встающей над разливами туманов,  
что жили тут когда-то дикари,  
планету поделившие на страны.

Цари природы – мы. Других здесь нет.  
Покорны нам леса, моря и горы.

И каждый властно щурится на свет  
пятью глазами цвета мухомора.

### **Река**

«...– Слушай беззвучие, – говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, – слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, – тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи.»

*М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита»*

Государыня-река, скалы да овраги,  
ночью леших голоса, скоморохи днём,  
то ли душу рвать строкой над листом бумаги,  
то ли бросить – да гори всё оно огнём...

Ладил мастер, золотил купола для храма,  
выметали из избы перед Пасхой сор,  
как на всюнощную шли во боярах хамы –  
встал на месте куполов постоянный двор.

2

Где-то там, за лесом дальним, за хрустальной рекою, светит холодно-печально город вечного покоя, как алмаз лежит на блюде золотистого восхода. Всё, что было, всё, что будет, переменчивость погоды, переменчивость традиций и устойчивость безумий, то, что явь, и то, что снится... всё сосчитано, и в сумме – ничего. На каждый пряник по кнуту. Весы застыли. А несчастный пыльный странник всё отсчитывает мили, и надеется на чудо, ищет светлую обитель, где его приветит Будда, Магомет или Спаситель, и, дойдя до стен устало и любуясь куполами, вдруг поймёт: здесь лишь начало, цель – за дальними горами, где-то там, за лесом чёрным – семь смертей, жара и холод, быть то ангелом, то чёртом, а в конце найти свой город и, впитав его глазами, осознать в немом бессилье – бесконечность под ногами.

Пыль да камни...

Вёрсты...

Мили...

3

Государыня-река, дальний путь в тумане,  
отольётся ль в серебро горькая беда,  
быть юродивым – бродить без гроша в кармане,  
а податься в мудрецы – сдохнуть от стыда.

Тихо в Царствии Отца, званых слишком мало,  
измельчал народ совсем – выбор небогат,  
повелось в Великий Пост – склоки да скандалы,  
одинаковы давно светлый рай и ад.

4

Где-то там, за лесом поле, выжигает солнце силы, на рубахе грязной солью жизнь у смерти проступила, отпечатан в роговице, изменившей цвет на серый, след души, что взмыла птицей за растаявшею верой, за чертой корявых истин, в полусне бредовой яви ветер кармы гонит листья и скрипит чуть слышно гравий по дорожке прямо к дому, что стоит, плющом увитый, где до странности знакомо слышен голос Маргариты, где – что было, то сгорело, и пойдут столетья сонно – то заглянет Азazelло, то заедет Абадонна. К дому ближе – и яснее, и тревожней радость встречи... Пустота... И небо рдеет от заката. Лезет вечер между скалами и мажет, как плохой художник кистью, небо угольною сажей. Ветер кармы гонит листья... И мелькнула ночь. Пропала. Снова дом в конце дороги...

Ближе... ближе и... сначала...

Мне бы яду...

Боги... Боги...

5

Государыня-река, долгая дорога,  
путь вдоль сонных берегов – предопределён,

от сумы рукой подать нищим до острога,  
а из княжеских палат – к Богу на поклон.

Ладил мастер купола, не жалея злата,  
колокольный перезвон славил божий свет,  
а у двери серафим смотрит виновато,  
только смотрит и молчит –

никого здесь нет.

### **Клуб любителей водки**

Клуб анонимных любителей водки  
предпочитает зубровку. На травах.  
Пресса печатает дикие сводки,  
и обсуждает падение нравов.  
Пятый развод председателя клуба,  
произведённый в похмельном угаре,  
стал заседанием в парке.  
У дуба.  
Где за отечество и государя  
громко звучали заздравные речи,  
после –  
громили окрестные хаты,  
требуя сбора народного веча  
и повышения средней зарплаты.  
В честь возрождения славных традиций –  
пили торжественно.  
Стоя. И лёжа.  
Долго искали кавказские лица,  
а заодно и семитские тоже.  
Не обнаружили.  
Постановили:  
враг научился маскироваться.  
Стало быть, следует думать о тыле,  
дабы суметь избежать провокаций.  
Вон, секретарь и хранитель печати  
не уберётся на прошлой неделе –  
ходит беременный.  
Очень некстати.  
Где те подонки, что им овладели?  
Их бы найти. И сейчас же – к осине.  
Приговорить за растление к вышке.  
Был секретарь заглядение.  
Ныне –  
каждого кличет «противным мальчишкой».  
Годы суровые. Время такое.  
Происки с запада.  
Козни с востока.  
День или ночь – ни минуты покоя.  
Третьего дня в состоянии шока  
общество было в течение часа –  
сколько ни пей, а совсем не до шуток,

если известно, что сбросило NASA  
роту десантников. На парашютах.  
В чёрных скафандрах.  
Масоны.  
Вот гады –  
кто ещё так откровенно озлоблен?  
Не появились... Ждала их засада –  
с парой лопат и огромной оглоблей.  
Пили опять.  
Да и как же иначе  
нервы унять после бурного стресса?  
Надо отметить, что горько восплачет,  
влезший сюда диверсант и агрессор.  
Горько восплачет.  
Себя пожалеет –  
зря попытался за ересь бороться...  
Будет красиво: висят вдоль аллеи:  
там – иноверцы, а тут – инородцы.  
Мощность струи всенародного гнева  
столь же опасна, как волны цунами.  
Близятся сроки. Ответите. Все вы –  
те, кто не в клубе.  
Не наши.  
Не с нами.

### **Провинциальный синдром**

Почил Карабас. Озабочен его некрологом –  
Пьеро дописался до исчезновения тени,  
и встал нерешительно у болевого порога –  
присущей поэтам и мистикам вечной мигрени.

Тоска вечерами. В провинции сумрак и стужа,  
при свете фонарном предметы становятся ближе,  
заметно отсюда, что мир произвольно заужен,  
а курс этой жизни –  
всегда и стабильно занижен.

Владения мэрии призрачны после заката,  
брожение умов стало свойственно знатным вассалам,  
а летом, по слухам, грядёт передел майората,  
как следствие бурных и грязных газетных скандалов.  
Над городом ночью курлыкают злющие птицы,  
на улицах пусто –  
лишь стража, и бродят пророки,

и те, и другие – вещают приезд колесницы,  
и те, и другие – охотно болтают о сроке.

В театре уныло.  
Актёры сбиваются в стаи  
и гонят халтуру. А зрители смотрят газеты,

и шорох страниц, что слюнявые пальцы листают,  
намного яснее невнятных и пошлых куплетов,

где слово за словом –  
всё дальше и дальше от темы...  
На крышке рояля уснула, зевнув, анаконда...  
В фойе подрались представители местной богемы  
с тремя делегатами от областного бомонда.

И эти, и те –  
завершили побоище пьянкой,  
буфет содрогался, но пал после пятой попытки  
их дружбу украсить, как камень волшебной огранкой,  
путём ритуальных распитий креплёных напитков.

Эпоха чудес.  
И согласно сказаниям древних –  
ничто не воскреснет из этого серого пепла.  
Предместия дремлют. И крепко уснули деревни.  
С тех пор, как звезда в тёмном небе внезапно ослепла –  
упала на землю.  
За следствием будет причина,  
тем более – в моде всё те же столичные нравы.

Мальвина – в борделе.  
Пошёл на дрова Буратино.

И к вечеру видно,  
что оба – по-своему правы.

# ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

*роман (окончание)*

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### **XLII Нечистый дух. Антипатриотическая позиция романиста получает достойный отпор**

Сентябрь 1967

Скажут: дела давно минувших дней. Что произошло за эти годы? Да ничего сверхъестественного; сменился правитель, только и всего. И, однако, что-то варилось в котлах, что-то менялось в составе атмосферного воздуха. Что же именно? Полагаем, что лучше об этом справиться у историков.

Как? Разве вы не историк?

М-м... не совсем.

Оглядываясь назад, трудно поверить, что эпизод, о котором пойдёт речь, мог состояться на самом деле. Слишком уж надо было для этого оказаться наивным, что ли. Но, с другой стороны, назвался груздём – полезай в кузов. Пора, давно пора приобщиться к литературной среде. Быть может, общее потепление этих лет пробудило отвагу.

Было в самом деле тепло, время – около четырёх часов дня. Поезд остановился на пустынном полустанке, тридцать шестой километр от столицы. Только что прошёл дождь. Капли влаги переливаются голубыми, розовыми и серебряными огнями на траве. В сосновом бору чисто, свежо. Лучшего времени года не бывает, лучшего места не найдёшь во всём свете.

Путешественник миновал рошу, прошагал мимо кладбища знаменитостей, тех, кто некогда населял посёлок, свернул на дачную улицу и, наконец, поравнялся с голубеньким палисадником. Он стоит у калитки. Мохнатый чёрный зверь, выскочив из-за угла, с грозным лаем несётся навстречу. Дом был основательный, снаружи обшитый досками, с балконом, с резными наличниками на окнах. С крыльца сошла пожилая простоволосая женщина. По всему виду писателя было ясно, что он все не писатель. Он стал объяснять, что его ждут.

Дача принадлежит литературному министерству и предоставлена знаменитому критику в пожизненное пользование. Хозяина нет надобности представлять, довольно будет напомнить, что его зовут Олег Михайлович, «тот самый», известный в кругах под именем Олег Двугривенный. Он ждёт наверху. Одет в рабочую одежду – байковую куртку, подпоясанную витым шнурком, на шее платок, на ногах отороченные мехом домашние туфли. Он прост и приветлив, несмотря на громкое имя

и высокий чин. В кабинете витает тонкий аромат духов. Посетителю указано на кожаный диван, сам поместился вполоборота к рабочему столу.

Над столом в простенке между окнами, за которыми шевелится желтеющая листва, граф Лев Николаевич Толстой, каким его изобразил художник Крамской, с пером в руках, перед старинным письменным прибором трудится над народно-исторической эпопеей «Война и мир». В углу стоит столик с пишущей машинкой. Оробелый гость сидит на краешке дивана, поглядывает на полки с корешками книг.

«Ну-с», – промолвил Олег Михайлович, потирая ладони и, очевидно, собираясь приступить к разговору. Скрипнула дверь, въехал на колёсиках столик со скромным угощением. Зверь поднял морду, но передумал и улёгся снова. Пожилая тётка – экономка? тёща? мать? – уплыла из комнаты.

«Ну-с...» – и он повернулся вместе с вращающимся креслом к столу, извлёк увесистую папку из нижнего ящика письменного стола. Посетитель с трепетом следил за его движениями. Измученный бессонными ночами, он сидит в углу за крохотным столиком, на порядочном расстоянии от следователя: необходимая мера предосторожности, чтобы арестованный не напал на лейтенанта. А также для того, чтобы не видели, что он там читает. Медленное перелистывание толстого следственного дела, загадочное движение бровями, покрывание, покачивание головой – должны произвести впечатление. Олег Михайлович перелистывает рукопись. В эту минуту становится ясно, что роман – это улика. Какая неосторожность. Подавив волнение, гость (мы с утра ничего не ели) неловко тянется за бутербродом.

«Что?.. – рассеянно, не поднимая глаз от рукописи, спрашивает хозяин, словно угадав его мысли. – Угощайтесь, прошу вас...»

«Поверите ли... – говорил он, поглаживая машинописный лист, – простите, запаматовал, как вас по батюшке... (Писатель поспешно назвал своё имя и отчество.) Поверите ли, света белого не вижу. То звонят из “Молодой гвардии”, просят юбилейную статью, то собрание партактива, семинар молодых прозаиков, творческий вечер кого-то там, надо выступить. Извольте каждый день тащиться в город. Своей работой некогда заняться».

«Сочувствую», – сказал басом Лев Толстой из дубовой рамы.

Олег Двугривенный поднял глаза на классика.

«Ему хорошо. Сидел в своей Ясной Поляне... М-да. Не примите это на свой счёт, – сказал он мягко, – это я так... Что же мне вам сказать...»

Он задумался, поднёс к подбородку переплетённые пальцы.

«Не скрою, меня увлекла ваша вещь. Мне трудно определить её, так сказать, жанровую принадлежность, на роман как-то не тянет. Скорее, автобиография?»

«Не совсем».

«Ага. Я так и подумал. Как-то слишком уж обрывисто, видно, что автор ещё не умеет как следует сколотить композицию. Но, в конце концов, русская литература всегда игнорировала строгую форму, не правда ли, всегда выламывалась из традиционных жанров... Это что такое? – строго спросил он. Пёс стучал хвостом о ковер. – Прекратить».

«Критик, как вы понимаете, не совсем обычный читатель. Критик – это одновременно и читатель, и критик. Как бы ни показалось это тавтологией. Кушайте, не обращайтесь на меня внимания...»

Хозяин снова повернулся в кресле к гостю, положив ногу на ногу, покачивал меховой туфлей.

«Хочу вам сразу же сказать. Я готов и дальше обсудить с вами ваш, э... роман, это ведь всё-таки роман, не правда ли? Но если вы ждёте от меня содействия в смысле того, чтобы публиковаться, то, извините за откровенность, я вряд ли вам буду полезен. Ко мне обращаются молодые писатели, я всем отказываю... ну,

может быть, за немногими исключениями. Так что не ждите от меня ни рекомендательных писем, ни звонков в редакции... Но мне почему-то кажется, что вы обратились не за этим. Или, во всяком случае, не только за этим, ведь правда?»

«Конечно», — сказали из рамы.

Критик вновь покосился на портрет.

«Видите, он ответил за вас... Я позволю себе вести с вами разговор, так сказать, с двух точек зрения. Допустим, вы принесли рукопись в журнал, к примеру, в "Новый мир". Хороший журнал, как сейчас говорят — либеральный. Можно, конечно, и к ним предъявить кой-какие претензии, но не об этом речь... Как бы то ни было, напечататься там — большая честь. Так вот. Что вам ответит серьезный, квалифицированный, съевший зубы на своём деле редактор?»

Он взглянул на писателя и прищурился. Следствие продолжалось.

«Ну, разумеется, он похвалит вас, осторожно, слегка, чтобы вы не зазнались. Скажет, что вещь нуждается в доработке, такую-то главу надо переписать, такую-то совсем, может быть, выкинуть. Ну там, усилить звучание, приблизить к современности. Может быть, даже укажет вам на неудачный выбор главного героя, литература должна заниматься не литературой, а жизнью, если писатель пишет о писателе, значит, ему нечего сказать... А в заключение... — Олег Михайлович улыбнулся, — в заключение скажет, что редакционный портфель в настоящее время переполнен!»

«То есть, — не выдержал писатель, — незачем и соваться?»

«Правильно, — проворчал Лев Толстой. — Вали отсюда, пока цел».

«Нет, конечно. Так редактор не скажет. Во всяком случае, я предполагаю, что он прочтёт вашу вещь, что, скажем прямо, бывает не часто... И не у каждого найдётся время беседовать. Но мы с вами говорим о добросовестном редакторе. Не исключаю, что он разберёт с вами, в качестве примера, какую-нибудь отдельную тему. Допустим, главы о войне. Ваш герой переживает войну ребёнком. Сами вы на фронте не были, ведь правда? А я, между прочим, воевал. Так вот, как описана у вас война? Вы ни словом не упоминаете о том, что под Москвой была одержана победа, что немцев не только остановили, но и погнали прочь. Вы только описываете панику и хаос первых месяцев. Мало того — тут уж не только редактор, я сам просто не знаю, что сказать. К вашей старухе является немец, офицер, и заявляет, что Москва сдана. Что за бред? Позвольте вас спросить».

«Не знаю. Дело в том, что... — упавшим голосом отвечал гость, — я пишу, как бы это сказать... не только о том, что было. Но и о том, что могло быть. Так сказать, альтернативная история».

«Альтернативная. Так, так... Другими словами, вы допускаете, что дело могло обернуться так, что мы вполне могли бы проиграть войну. Я вам, уважаемый, вот что скажу. Если бы мы не верили в нашу победу, не напрягли все силы, а ещё лучше сказать — если бы мы не любили нашу родину, мы бы, возможно, и проиграли. Но этого не могло быть».

«Ну, хорошо, — вздохнув, продолжал Олег Двугривенный, — предположим, вы согласитесь эту главу выкинуть. А дальше? Ваш герой арестован, осуждён, попадает в лагерь. Спору нет, это страница нашего прошлого, трудная, мучительная страница. Но лагерная тема вас буквально поработила. Эти бесконечные возвращения. Выходит, что лагеря — это чуть ли не самое главное. Не только в вашей жизни — в жизни нашего народа. Ведь именно так у вас получается, разве я не прав?»

«Не знаю».

«Вот так здорово; а кто же знает?.. Как будто ничего другого, ничего положительного, реального в эти годы не было. Против такого подхода и я бы, знаете ли, решительно возразил. Да и ничего нового вы не можете сказать, всё давно сказано».



Он смотрел пристально на арестанта. Гость торопливо дожёвывал бутерброд, ронял крошки. Лев Толстой негодуяше тряс бородой.

«Мне кажется, я понимаю; что ж, сердцу не прикажешь! Мне кажется, вы просто не любите Россию».

Писатель тупо взирал на Олега Михайловича, повесил голову и неожиданно пробормотал:

«Тебя хвалить я не умею и крест свой бережно несу».

«Я тоже когда-то любил Блока, – возразил критик. – Да... И ещё одно. В вашем романе имеются интимные сцены. Конечно, литература имеет право коснуться разных сторон человеческой жизни, в том числе и закулисных. Но, помилуйте, разве так можно! Описывается новогодний бал. Я уж не говорю о том, что ваши комсомольские руководители, все до одного, выглядят какими-то чудовищами... Но что можно сказать об этой сцене, где этот, простите, забыл, как его имя... ну, не суть важно, где он насилует горничную, которая на самом деле не горничная, а проститутка и наркоманка, и всё это совершается на глазах у героя...»

Удручённое молчание.

«Мы несколько отвлеклись. Повторяю: всё это вам скажет редактор, если, конечно, найдёт время беседовать, но мы говорим о хорошем, терпеливом редакторе, с большим опытом, с тонким вкусом... А теперь скажу я. Скажу вам то, о чём редактор, возможно, просто умолчит. И что меня – лично меня! – просто-таки ошеломило».

Критик снова умолк, смотрел в окно.

«Н-да... – проговорил он, словно очнувшись, – где же это место... – Он листал рукопись. – Та-та-та... Тирим, тим-тим...»

Перевернул страницу, вернулся к предыдущей.

«Вот послушайте».

«К подследственному он относился неплохо, не бил, не сажал в карцер, говорил ему “ты”, иногда болтал от скуки, развалившись на диване, если дело происходило в главном кабинете, вероятно, одном из тех, что выходили прямо на площадь с памятником Рыцарю революции, там были дубовые панели, ковёр и особенные часы, нарисованные на стене, без цифр, как-то раз он включил радио, передавали музыку из оперетты “Табачный капитан”. Следователь был человек вполне ничтожный, тёмный и малограмотный, но какой-то ярко выраженный; когда он говорил, никогда нельзя было понять, лжёт он или говорит правду; чаще он всё же лгал, потому что одна из задач его работы состояла в том, чтобы путать и сбивать с толку, и держать обвиняемого в постоянном неведении относительно чего бы то ни было, но лгал он также без всякой нужды, по привычке или ради удовольствия. Следователь был воплощением Зла, но какого-то слишком уж приземлённого зла; был очень русским человеком, с открытым и довольно приятным лицом, с простоватым и одновременно хитрым взглядом и этой способностью неожиданно переходить от суровой официальности к балагурству и амикошонству. О нём невозможно было сказать, дурак он или себе на уме, навеселе или трезв, он был и прост, и непрост, в нём была необычайная скользкость; иногда он напоминал сумасшедшего. Что-то соображал, любил подмигивать, вдруг мог ляпнуть какую-нибудь гадость. Любил такие словечки, как мура, лады, чин-чинарём, замнём для ясности, себя называл с ироническим самодовольством: мы, разведка, и, само собой, без устали матерился».

«Что скажете?» – осведомился Олег Двугривенный.

«Ничего, – сказал писатель. – Похоже на правду. Они все были такими».

«Здесь чёрным по белому стоит: очень русский человек. Все они такие. Н-да. Но это ещё цветочки...»

«На что пригодилась мне моя жизнь? На то, чтобы разобраться в потайных механизмах общественной жизни – отколупнуть крышку часов и увидеть, как поворачи-

чиваются колёсики, от которых зависит движение стрелок? И разгадать смысл российского мифа, эту сказку о добром, прямодушном, наивном и бесхитростном народе?»

«Я это место выкинул».

«Позвольте, у меня в руках ваша рукопись».

«Я... в окончательную редакцию это не войдёт... – лепетал гость. – Там, очевидно, слишком много рассуждений. И, кроме того, это говорится от имени героя, а не автора. Говорится под настроение...»

«Разумеется, разумеется... Но вы всё-таки послушайте...»

«Никто, о Боже, – читал Олег Двугривенный, – не представляет себе, каким странным и страшным существом может быть русский простонародный человек, – разве лишь тот, кто прожил жизнь в нашей стране, тряся по её дорогам и пробираясь вдоль поломанных заборов, мимо покосившихся изб, где живут на четвереньках, ходят на четвереньках и с порога, стоя на четвереньках, кланяются начальству. В стране, где ежедневно бездарность и тупость ведет прицельный огонь по всему смелому и человеческому. Где каждые тридцать лет нация хором совершает обряд самооскопления, так что поневоле изумишься, откуда всё ещё продолжает рождаться это живое и человеческое...»

«Надо знать его, этого человека, – читал он, – жить с ним на одной земле, чтобы видеть, как он фантастически силён и вынослив, ибо за много веков сумел вытравить в себе уязвимое, хрупкое. *На хуя мне!* – так прямо и написано».

Он продолжал:

«Надо знать его... те-те-те... И дальше. Тут не распушенность только, как растёгнутая ширинка: в этом лозунге всё мировоззрение, вся жизненная философия русского человека, не желающего ничего для себя, но зато и никого не щадящего; здесь вся бездна презрения ко всяческой утончённости, физической слабости, духовной жизни, к вере в добро, словом, презрение к культуре, на этом презрении зиждется у него всё. Вечно нетрезвый или одержимый мечтой о выпивке, он готов помыкать всяким, о котором он подозревает, что у того есть тайная слабинка, заветная святыня, – у него же заветного нет. Всё – *хуйня...*»

«Ну, знаете... Право же, не понимаю! К чему эти нецензурные выражения?»

«...всё – пустые слова: верность, любовь, привязанность, этот человек пойдёт и предаст брата, избьёт до полусмерти жену, отшвырнёт сапогом собаку, бросит детей на произвол судьбы – и всё это ради чего? За бутылку, из гонора, а ещё больше ради того, чтобы насмеяться над самим собой, ведь для него нет большей сладости, как унижить себя, поиздеваться над собой и заодно над всем светом. Раб в душе, он считает себя выше других народов, потому что знает: никто не дойдёт до последней точки, а он дойдёт; никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб, ни в ком абсурд не победит окончательно. А он, на крайности, в порыве безумного вдохновения пойдёт на всё: жестокая российская жизнь именно так и устроена, что доводит его до этой крайности; изрыгая чудовищный мат, он сожжёт себя или раздерёт грудь в сумасшедшем восторге, хоть стреляя в него, – во имя абсурда. Потому что абсурд – это и есть его бог».

«Это что, – спросил критик, – разве это роман? Это трактат какой-то. А вернее, пасквиль!».

«Хотите почувствовать в полной мере русскую жизнь? – нырните в неё со всего размаху, чтобы стукнуться головой о дно. Сказано в Евангелии: “Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, не находя покоя. Тогда говорит: возвращусь в дом мой. И, придя, находит его незанятым. Тогда берёт с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого”. Вот когда вам захочется удавиться у постели несчастного бесноватого, вот тогда вы и узнаете, что собственно значит быть исцелителем».

Олег Михайлович тяжело вздохнул.

«Отношение к войне, как вы говорите, альтернативная история, то да се... ладно, это ваше дело. Но вот это!» – он швырнул папку на стол.

«Я собираюсь кое-что переделать...»

« Попрошу меня не перебивать. Вы, любезнейший, ненавидите Россию, вот что я вам скажу. То, что вы здесь пишете, это... это...»

Не окончив фразу, Олег Михайлович взглянул на часы и устремил взгляд в пространство.

Какого лешего, думал он, я трачу время с этой сволочью.

«Скажите... – снова заговорил он, – это так, между прочим... Кто-нибудь знает о вашем визите ко мне?»

Писатель смотрел в пол.

«Так вот: мой вам совет».

Критик аккуратно выровнял стопку машинописных листов, закрыл папку, завязал верёвочки. Вручил посетителю.

«Засуньте её куда-нибудь подальше».

«Куда?» – спросил писатель.

«Куда-нибудь. И никому не показывайте. Если ещё не успели кому-нибудь показать... Ваш роман абсолютно непроходим. И даже ещё хуже».

«Можно многое простить, – продолжал он. – Даже критику системы. Но клевету на русский народ, которому выпали на долю такие бедствия... Да что там говорить».

«Как я понимаю, мне надо бросить литературу».

«Бросить? Я этого не говорил. Но, конечно, такую литературу... Как вы этого не понимаете?»

Тщётно ждать ответа от подсудимого, да и какой может быть ответ. Из портретной рамы слышится бормотанье, глубокий вздох.

«Ах вот оно что, – сказал Олег Двугривенный. – Вы в самом деле думаете, что это выход?»

Впрочем, чему же тут удивляться, подумал он.

«Не знаю. Я, собственно, об этом не думал».

«Вы, кажется, сидели? Да, похоже», – ответил хозяин как бы самому себе и снова взглянул на часы.

Пора было сматываться.

«Появился тамиздат. Я говорю о заграничных изданиях... Появился и самиздат. Рискованное дело, что и говорить, но некоторых соблазняет. Чаще всего это совершенно бездарные люди... А кончается тем, что подаю на выезд. Вы, кстати, прошу прощения... еврей? С одной стороны, это не так просто, вы правы. А с другой стороны, времена меняются... Прекратить! А ну пошёл отсюда вон».

Оба, писатель и пёс, смотрели на хозяина. Мохнатый зверь встал и поплёлся к дверям. Олег Двугривенный смотрел ему вслед.

«Я могу вам определённо сказать, что это не выход. Конечно, при вашем отношении к родине...»

Гость осмелился прервать его: «Вы что, действительно думаете, что я отношусь...?»

«Да ничего я не думаю, – сказал с досадой Олег Двугривенный. – Просто я хочу сказать, что никому мы там не нужны. Нашему брату там нечего делать... А главное, русский писатель не имеет права бежать под предлогом того, что его зажимают, не дают печататься, то да сё. Талант – настоящий талант! – всегда пробьёт себе дорогу. Каждому сбудется по вере его, как говорил Михаил Булгаков, слышали про такого писателя?»

«Да, – продолжал человек в кресле, – чего уж тут греха таить, есть у нас бюрократы, околотелитературные чиновники, которые считают себя вправе распоряжаться

литературой. Порой приходится идти на уступки... Таковы правила игры, ничего не поделаешь. Вы думаете, мне легко печататься? Но я убеждён, что достойней остаться со своим читателем, пусть даже ценой каких-то потерь, чем, знаете ли, идти на поклон, искать лёгкой жизни, да и какая там жизнь... Мне доводилось бывать за границей. Мы там никому не нужны... Здесь наша родина, дорогой мой. Наш язык, наши могилы... Одним словом, я хочу сказать, что долг русского патриота нести факел здесь, а не где-то там, где нас не знают и не понимают. А с властью, знаете ли, всегда можно договориться».

Дивный воздух, в сосновом бору сухо, чисто, свежо. И, право же, лучшего времени года не бывает, лучшего места на земле на найдёшь.

### **XLIII Время идёт всё быстрее, предваряя развязку**

22 февраля 1977

Две ночи, на Западе и на Востоке, встают одна другой навстречу. Всё тонет, всё забывается.

Некогда в переулке у Красных Ворот стоял угловой дом, в комнате, смотревшей во двор, на первом этаже, проживала бывшая дворянка, недобитая белогвардейская штучка, о которой рассказывали разное; потом туда вселилась её родственница, и о ней тоже говорили, после того, как она исчезла, что она будто бы выскочила замуж за крупного осетра, будто бы получила срок по какому-то тёмному делу; говорили о наркотиках, говорили о подпольном публичном доме для высоко-го начальства; кто-то вроде бы видел Валю перед «Метрополем», где прохаживаются девы горизонтальной профессии, — постаревшую, густо покрашенную. Всё шатко, всё сомнительно было в этой квартире; появлялись и пропадали люди, чьи имена забыты и о которых теперь даже трудно сказать, действительно ли они жили на свете.

*Fugaces labuntur anni!*<sup>1</sup>.

Пришли новые люди, для которых прошлого не существовало, хотя сами они отличались немногим от тех, исчезнувших; настали другие времена, которые, впрочем, оказались в некотором смысле прежними временами. Всё изменилось, квартира не изменилась. Когда после долгого отсутствия и разного рода бюрократических приключений составитель этой хроники вновь водворился в длинной, как пенал, комнате родителей, из которой прежние постояльцы унесли почти всю мебель, — в коридоре по-прежнему горела тусклая лампочка, стоял сундук с висячим замком, вращался диск в окошке электрического счётчика фирмы Сименс-Шуккерт, с твёрдыми знаками. Призрак слонялся по ночам, шумела вода в уборной, покойная баронесса следила, всё ли на месте, искала свои наставления, давно истлевшие, как и она сама.

И всё же нельзя сказать, чтобы всё успокоилось. В одну из таких ночей, точнее, тёмным ночным утром, накануне Дня Советской армии, в коридоре задребезжал звонок, один раз, и ещё, и всё настойчивей. Писатель в халате и шлёпанцах вышел из комнаты. Кто там, спросил он, и голос за дверью ответил: «Телеграмма». Он спросил, кому телеграмма, была названа его фамилия; он ещё не вполне проснулся, чем и объяснялось притупление бдительности. Едва только, сняв цепочку, он успел приоткрыть парадную дверь, как кто-то с силой толкнул её, с площадки выскочили из тёмных углов мужики, их было семеро, и вперлись в коридор, наткнувшись в полутьме на сундук, хранивший квартиру от несчастий. В комнате писателя

<sup>1</sup> Уносятся быстротечные годы! (*Гораций*).

стало тесно, зажгли свет. Это были «понятые» – слово неизвестного происхождения и неясного значения; среди гостей он разглядел и оправдома.

Для начала было предложено сдать оружие.

«Перочинный нож?»

Командир усмехнулся, показывая, что он ценит юмор.

«Между прочим, – заметил писатель, – я реабилитирован».

«Это мы знаем».

«Могу предъявить справку облсуда».

«Незачем», – возразил человек со служебной физиономией без особых примет, который вдобавок никак не представился. Романтика былых времён выветрилась, рыцари с льдистыми глазами, в долгополых шинелях, вымерли, не стало больше фуражек с голубым околышем, портупоя, петлицы, щит и меч на рукаве гимнастёрки, скрипучие сапоги – всё ушло в прошлое. Человек был в штатском, при галстукке и с университетским ромбом на лацкане пиджака.

«Всё знаем», – уточнил он, пряча в карман ордер на проведение обыска. Зачем же тогда, возразил писатель, коли и так всё известно. Что известно? – спросил следователь. То, что знаете, сказал писатель. А это мы сейчас подтвердим, сказал следователь, компания кое-как разместилась, кто опустился на неубранную койку, кто пристроился к столу, на котором стоял множительный аппарат, в просторечии – пишущая машинка, а кто и просто сидел на полу. Следователь стоял перед грубо сколоченными стеллажами, брал одну за другой книжки и ронял на пол.

«Всё по закону, – говорил следователь, листая и бросая книжки, – это вам не прежние времена».

«Закон?» – переспросил писатель. Что такое закон? – хотел он задать вопрос, подобный вопросу римского прокуратора. Но как Пилату не дано было знать, что есть истина, так и тебя не удостоили бы ответом. Следователь разглядывал иностранную книгу в переплёте со стёршейся позолотой.

«Пруст, – уныло сказал хозяин. – Французский писатель. Он давно умер».

«Кто такой Пруст, мы знаем, – возразил человек, окончивший юридический факультет, – откуда это у вас?» – и, не дожидаясь ответа, сунул книгу в служебный портфель.

Ворох исписанных бумаг был ссыпан туда же, следователь озирали жильё, голизна которого облегчила его задачу. Понятые покашливали, как публика на скучном спектакле. В коридоре прокрались, тактично прошлёпали шаги – квартира уже не спала.

Следователь показал пальцем на шкаф, единственное родительское наследство. Хозяин покачал головой. Ключ, сказал следователь. Потерялся, ответил писатель. Ну что ж, промовил следователь, извлёк из портфеля отвёртку, и после некоторых усилий створки распахнулись. Там висели на плечиках старые платья матери, пиджак довоенных времён, внизу, на фанерном дне стояла швейная машина. Повозившись с отвёрткой, следователь поднял крышку футляра.

«Ага, – сказал он, поднимаясь с колен, – вот это другое дело», – и помахал в воздухе добычей. Писатель пожал плечами. «Ай-яй-яй!» – укоризненно сказал оправдом, а следователь, ликуя, сорвался с места и пустился в пляс. Теперь, наконец-то, на нём были, вместо скучных штатских брюк, синие крылатые штаны, мундир с золотыми погонами, и на рукаве блестел золотой меч государственной безопасности! Он притопывал глянцевыми сапогами, хлопал себя по груди, по бёдрам, раскинув руки, пошёл павой, выкидывая ноги, пошёл вприсядку, понятые били в ладоши, а писатель, играя бровями, притопывал и брэнчал на откуда-то взявшейся гитаре. В дверь заглядывали ухмыляющиеся лица. Следователь, не переставая выкидывать коленца, подъехал к хозяину, манил к себе, подбадривал, писатель приосанился, сунул кому-то гитару, щёлкнул пальцами, хлопнул в ладоши

и пошёл, помахивая полами халата, шлёпая тапочками, навстречу следователю. Й-эх! Эх!

«Нет уж, — сказал следователь, усевшись за стол, и отщёлкнул портфель, чтобы достать бланк протокола, — объясняться будете в другом месте».

«Я не понимаю».

«Вот там и поймёте».

«Да в ней ничего такого нет», — говорил писатель, показывая на книжку в бумажном переплёте, извлечённую из швейной машины и теперь лежавшую перед исполнителем закона.

«А где издана? — парировал следователь. — Не прикидывайтесь дурачком. Кто автор, не вы ли?»

«Ай-яй-яй», — повторил управдом.

«Понятия не имею, кто это такой», — убеждённо сказал писатель.

«Откуда же она у вас?»

«Подумать только!» — сказал управдом, собачьими глазами глядя на следователя.

Писатель не пожелал подписывать протокол, несмотря на неопровержимость улики. Пишущая машинка была уложена в чёрный холщовый мешок вместе со всеми бумагами; что касается главной улики, то она была бережно упрятана в портфель, где уже покоился Пруст. В заключение была вручена повестка. Жильцы сидели в своих норах. Хлопнула парадная дверь. Робко выглянуло из-за крыш золотушное солнышко. Команда вышла в переулок. Управдом отправился по своим делам, свита понятых разошлась. Следователь положил портфель и мешок на заднее сиденье, уселся рядом с шофёром, заурчал мотор, внутренности изрыгнули дым, экипаж покатило по Козловскому к Чистым Прудам и далее вдоль трамвайного пути, повернул на улицу Кирова, к площади имени Рыцаря революции, лишний раз подтвердив пословицу о том, что все пути ведут в Рим.

Оставшись один посреди разорённой комнаты, писатель погрузился в думу. Нужно сознаться, ночное вторжение застало его врасплох. Разумеется, непонимание, зачем понадобилось представителю власти умыкнуть книжку с псевдонимом на обложке, все эти голубые глаза, были чистым лицемерием, другое дело, содержится ли там что-нибудь «анти». Что-нибудь такое — масляные глаза следователя — противозаконное. Что такое закон? Закон есть совокупность инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Но беззаконие — слово, которое в русском языке означает закон. Ах, не всё ли равно.

Был или не был злополучный роман вредным, антинародным, клеветническим, подрывным — какая разница? Нелегальный писатель по определению не является писателем. Литература без разрешения — это, простите, уже не литература, это преступление, незачем даже заглядывать в книжку, изданную «там», достаточно одного этого факта, и теперь наша задача — выяснить, какими путями роман попал за границу.

А вот этого вы никогда не узнаете. Писатель злобно усмехается.

Но что это за время, когда темой литературы становится вся эта чушь, эта призрачная деятельность: обыски, допросы, протоколы, копошение мух в паутине. Вместо того чтобы писать о подлинной жизни — о жизни души. О человеческом уделе, о любви и смерти.

Он думает о том, что через каких-нибудь десять, пятнадцать лет от него, от всей этой словесности, которую кто-то уже успел наименовать Литературой Нравственного Сопротивления, не останется и следа.

Останется ли вообще кто-нибудь — что-нибудь — от нашего времени?

Однако злорадная ухмылка, в которой не мог отказать себе автор этой хроники, означала и кое-что другое. Он подходит к раскрытому шкафу: старые платья матери, отцовский пиджак. Смотрите-ка, им в голову не пришло! Ведь искать можно только то, что спрятано. А тут достаточно было сунуть руку в карман пиджака и вытащить.

*Дорогой сын, ты будешь удивлён.*

Да, время как-то уж очень замедлилось в этой квартире, ленивый русский Бог, похожий на деревенского священника, зевая, слез с полатей, зашлёпал босыми ступнями по своей избе и подтянул гири ходиков. Маятник встрепенулся, часы пошли чуть быстрее.

#### **XLIV Призрак или не призрак – это как посмотреть**

Тот же день, канун праздника Вооружённых сил

Не так-то просто было отыскать свой состав в суматохе и толчее, под гром победной музыки. В толпе они потеряли друг друга, наконец, он увидел маму, она стояла перед пульмановским вагоном с рюкзаком за плечами, с чемоданом и швейной машиной у ног, искала глазами подростка, всю ночь собирали вещи, распаковывали и снова упаковывали, разрешалось брать 25 килограммов на человека, но она непременно хотела взять с собой и то, и это, и, конечно, машину. Всё на свете пережила швейная машина, и войну, и мать, и теперь стояла, раскуроченная, в шкафу. Мальчик протиснулся к вагону, загремела и поехала в сторону широкая раздвижная дверь, открыв широкий просвет, и началась сумасшедшая посадка: кто по приставной лесенке, кого просто подтягивают, втаскивают внутрь чьи-то руки. Справа и слева помост из неоструганных досок, но когда удалось, наконец, взобраться, нары были уже заняты, люди сидели на полу, посередине громоздился скарб.

Они выглядывали из вагона, искали в толпе и почти уже потеряли надежду, как вдруг он появился, он успел прийти в последнюю минуту, в последний раз подросток видит отца. Гремят над вокзалом, перекрывая многоголосый говор, репродукторы. *Вставай, страна огромная...* Где-то там армия отбивается и отступает, и красноармейцы толпами сдаются в плен, никто об этом не знает, ничего толком не разобрать, и вдруг оказалось, что моторизованное полчище уже приблизилось к Смоленску, катится, как океанский вал, к Москве.

Протяжный свисток, вагон дёрнулся, гром столкнувшихся буферов прокатился по составу. Отец медленно отъезжает, машет рукой.

*Дорогой сын...*

Внезапно, как колокол, квартирный колокольчик. Один звонок. Столько-то раз положено звонить каждому из жильцов, один звонок – общий.

*Я и сам не перестаю удивляться всему, что произошло. Долго сомневался, имею ли я право подвергать тебя риску, напоминая о себе.*

Тишина, в коридоре никакого движения. Никто не выходит открывать. Квартиростъёмщики напрягают слух в своих норах. Не вылезают, понимают, кто там. Особый приём расследования: дать подозреваемому передохнуть, дать ему почувствовать себя в безопасности – и вдруг вернуться! А тот тем временем извлёк не найденную улику из тайника. Следователь вспомнил, что забыл пошарить в карманах пиджака. Подсказал инстинкт ищейки, что не всё ещё нашли. Подследственный замечает следы. Писатель мечется по комнате, ища куда бы засунуть письмо. Книжка – дело второстепенное, а вот письмо – это уже посерьёзнее. Возможно, они подозревали о существовании письма; не исключено, что кто-то узнал, донёс, какие-то сведения просочились; удобнейший момент застать на месте преступления. Пришли не за чем-нибудь – за письмом. Пришли не только за письмом. Пришли за ним. Тёмная, с непрозрачными стёклами машина ждёт у подъезда.

Вот теперь тебя по-настоящему охватил страх.

О чём речь? В конце концов, если уж на то пошло, и письмо – не причина, а повод. Тот, кто однажды хлебал лагерную баланду, будет жрать её снова. Да,

снова и, может быть, в самом близком будущем. Для того, кто там побывал, срок не кончен. Срок никогда не закончится. Кончилась только оттепель – сколько их было, и сколько их будет. Маятник качнулся влево, качнётся вправо. Пора назад. Ну-ка выкладывай свой паспорт, он тебе больше не нужен. Пора *домой*. Место на нарах найдётся, пайка – за тобой. Ибо лагерь – это и есть наш дом, наше подлинное отечество, и ты, вольноотпущенник, неужто до сих пор не сообразил: этот трепет, это ожидание, когда за тобой придут снова, на самом деле – не что иное, как тоска по лагерю, по тройному ряду колючей проволоки, по вышкам и прожекторам, по нарам, по крысиному бегу на рассвете между шпалами узкоколейки, по звёздным ночам и Ковшу над тайгой.

И, словно зачарованный, онемев, он видит, как медленно отворяется дверь и глубокий старик стоит на пороге. Очевидно, соседи впустили в квартиру, если только он сам каким-то образом не отомкнул парадную дверь и прошёл, незамеченный, по коридору.

«Т-сс!» – прошептал гость, быстро оглянулся и притворил за собой дверь комнаты родителей.

«Ты... – пролепетал писатель, – у тебя свой ключ?»

«Какой ключ?»

«Как ты открыл дверь?»

«Как – дёрнул за ручку и вошёл».

«Нет, как тебе удалось войти в квартиру?»

«Вот так и удалось. Ты удивишься... я сам не устаю удивляться».

Вошедший растерянно озирался и вместо старых, верных вещей видел разбросанные по полу книжки, растерзанный шкаф, вместо кровати алюминиевую койку-раскладушку со скомканным одеялом, вместо люстры свисающий с потолка провод с голой лампочкой, видел всё это безобразие.

Покончив с осмотром, он вперился в углы потолка, в остатки лепнины, искал что-то, хлопнул в ладоши раз-другой.

«Клопов нету?» – спросил он.

«Клопов?»

«Ну да... Комната не прослушивается?»

И ещё раз ударил в ладоши, но ожидаемого эха не последовало.

«Что же ты стоишь?» – спросил сын.

Отец направился к столу, снова поднял глаза к потолку, где всё ещё висела перекладина для занавеса, некогда делившего комнату пополам.

«Понимаешь, – лепетал писатель, – у меня был обыск, не обращай внимания...»

«Обыск, ага. Наверно, из-за меня?»

«Почему же... не думаю. Кто же мог знать?»

«Узнали, наверное, – вяло возразил отец. Он сидел боком к столу на табуретке, сын опустился на койку. – Ну, если были, значит, не придут».

«Я-то был уверен, что это они снова».

«Был уверен. Уг-м».

«Это такой метод, – объяснил сын, – вроде бы ушли, и вдруг шась – вернулись!»

Гость смотрел в окно. Напротив, наискосок от дома – особняк чехословацкого посольства, сад за глухой каменной стеной. Короткий Боярский переулок ведёт к Садовому кольцу. Сумрачный полуживой день.

«Искали, искали, самого главного не нашли».

«Письмо, что ли?» – спросил отец, по-прежнему не отрывая глаз от окна.

Писатель потёр лоб.

«Надо бы всё-таки, – пробормотал он, – разобраться».

«Разобраться, в чём?»

«Да во всём этом...»



«Не ломай себе голову, – сказал отец, – ничего тут не поймёшь. А уж с этой сволочью и подавно не разберёшься. – Он добавил: – Я думаю, они и сами толком не знают, чего хотят».

«А я уж было решил, что они вернулись... это у них такой приём, сделать вид, что ушли... Ладно, – сказал писатель, – хрен с ними».

«Полностью разделяю твоё мнение. Насрать на них».

«Письмо было для меня полной неожиданностью».

«Я с оказией послал. Долго сомневался, стоит ли мне вообще напоминать о себе...»

«Выходит, ты остался в живых. Сколько лет прошло. Почему от тебя так долго не было вестей?»

«Почему... Сам должен понимать, не маленький».

«Мама умерла».

«Знаю, знаю...»

«Значит, ты всё-таки жив».

«До некоторой степени».

«Как же ты смог вернуться?»

«Сюда? Вот так и вернулся. Долго объяснять».

«Надолго?»

Отец покачал головой. Он был сед, в нищенском одеянии, с длинной неопрятной бородой, но теперь уже не казался таким старым.

«Времени мало. Надо мотать отсюда, а то заметят. Если уже не просекли, это у них просто делается...»

Не совсем понятно, кого он имеет в виду, «их» или соседей. Или всех вместе, то есть что соседям поручено следить? Это было бы наиболее логичным. Он показал глазами на дверь. Писатель вскочил, подкрался и толкнул дверь. Никого в коридоре не оказалось. Ни звука на кухне. Тоже, конечно, подозрительный знак.

«Та-ак, – опускаясь на раскладушку, проговорил писатель. – Что ж... Возможен и такой вариант».

Гость не понял.

«Я говорю, возможен и такой поворот, – сказал сын, – я имею в виду роман».

«Какой же может быть поворот. Книжка твоя напечатана. Я, по правде сказать, не сразу догадался; это что, псевдоним? Или, может, это не ты?»

«Я, – сокрушённо сказал писатель. – А может, и не я. То есть я, конечно, – поправился он. – А насчёт сюжета... Переделать никогда не поздно. Я и так всё время то вычёркиваю, то добавляю... Представь себе, эти крысы стащили у меня все бумаги. И машинку унесли... И ещё неизвестно, что за этим последует».

«Что последует – известно что. Мало тебя учили».

Сын развёл руками, как будто хотел сказать: горбатого могила исправит.

«Но расскажи хотя бы, что с тобой случилось, ведь считается, что ополчение погибло... разве только очень немногие...»

Отец усмехнулся.

«Вот я и есть эти немногие. Тебя это действительно интересует?»

«Интересует».

«А по-моему, ты каким был, таким и остался!»

«Каким?»

«Чужим. Ты никогда меня не любил».

«Как и ты меня».

«Я?» – удивился гость.

«Конечно. И ты, и мама – вы оба меня не любили».

«Почему ты так думаешь?»

Сын пожал плечами.

Помолчали; должно быть, отец угадал мысли сына.

«А кстати, – проговорил он, – эта дворянка, что с ней стало?»  
«Умерла».  
«А, ну да, конечно...»  
Снова пауза.  
«Между прочим, – сказал отец, – у тебя могла бы быть сестричка».  
«Сестричка?»  
«Мама была беременна».  
«Вот как».  
«После аборта долго болела, ты этого, конечно, не помнишь... А может, и к лучшему, что не родила».  
«Да, – сказал сын. – К лучшему».  
Пауза.  
«Где она лежит? Всё равно не смогу её повидать. Ты-то хоть у неё бываешь?»  
Сын пробормотал:  
«Нет, я ужасно тебе рад... Просто не могу опомниться от такой неожиданности... Но всё-таки. Как тебе удалось?»  
«Вот так и удалось. Я же тебе написал».  
«Там слишком кратко!» – простонал писатель.  
Сумрачный день, солнце, едва блеснув, заволокло серой ватой.

#### **XLV Или всё-таки реальное лицо?**

Тот же день, продолжение

«Я поставлю чай».  
«Никаких чаёв! Как произошло... Вот так и произошло, хочешь верь, хочешь нет. Ты хоть, когда война началась, помнишь?»  
«Конечно, помню, – сказал писатель. – Очень даже хорошо помню этот день».  
«Речь этого мудака помнишь?»  
«Речь Молотова? А как же. Вот на этом месте стоял буфет».  
«Верно».  
«На нём стоял рупор, чёрный, из картона. Мы с мамой слушали».  
«А потом, первые недели?...» Гость вздохнул, махнул рукой, не дождавшись ответа, как будто хотел сказать: может, и помнишь, да ничего не знаешь.  
«Все записывались, – сказал он, – я тоже. Конечно, если серьёзно, какие это были добровольцы? У нас вообще ничего добровольно не делается. Некоторых так даже просто хватили на улице, приказ – в ополчение, и точка; попробуй откажись. Но я тебе так скажу, настроение было – не у всех, конечно, у многих, – настроение такое, что надо! Немец наступает. Надо любой ценой остановить. Ты ведь не помнишь, что было перед войной».  
«Почему же, прекрасно помню».  
«Что ты можешь помнить... У тебя в этой книжке столько наворочено, но ведь это же всё из пальца высосано!»  
«Ты разве читал?»  
«Читал, а как же».  
«Где же ты её увидел?»  
«Там, где ж ещё. Увидел и купил».  
«Откуда ты знал, что это я?»  
Отец усмехнулся.  
«Я теперь всё переписал заново, – сказал писатель. – Но они у меня всё отняли. А вообще-то не всё высосано».

«Ладно, не обижайся. Что я хотел сказать... Перед войной. Ведь что говорились. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее. Малой кровью, могучим ударом. Ни одной пяди своей земли! Ведь это годами, изо дня в день, с утра до вечера. Пели и гремели. Надо готовиться к войне, надо подтянуть кушаки. Опять же эти парады. Думали: да, надо потерпеть, зато у нас самая сильная армия, в два счёта справимся с любым врагом. Эти песни... – Бородатый гость сморщился, схватился за голову, словно от боли. – Полетит самолёт, застрочит пулемёт. И помчатся лихие тачанки! Это они собирались на тачанках с немцами воевать. Не скосить нас саблей острой... Кто это в наше время воюет с саблей? Будённый со всей своей кавалерией обосрался. Гуталин вообще куда-то слинял».

«Лихо выражаешься, – заметил писатель. – Где это ты научился?»

«Научишься... Короче, что хочу сказать: настроение было такое, что –хватит. Теперь не до упрёков, что было, то было и быльём поросло. Тридцать седьмой год, раскулачивание, всё надо забыть. Не до этого теперь. Так что, с одной стороны, за всеми следят, кто что сказал, кто не верит в нашу победу, увиливает, кто ещё не записался добровольцем. А с другой – всем ясно: надо, и ничего не поделаешь. Митинг, тут же и райкомовские деятели, и эти, конечно, фуражки с голубым околышем, только оставили свои фуражки дома. В общем, по одной только Москве чуть не двести тысяч подали заявление. Может, и больше... Прямо с митинга – на пункт формирования районной дивизии нашего Куйбышевского района. Три часа на сборы; еле-еле успел прибежать к вам на вокзал попрощаться. Кавардак был невероятный. Немец рвётся к Москве, может, уже совсем близко, никто толком не знает, сводки – сплошное враньё, все только догадываются, да что там догадываются – знают, а заикнуться никто не смеет: паникёр – и под трибунал. Засиделся я, пора идти», – сказал отец.

«Побудь ещё немного».

«Взгляни-ка ещё разок, на всякий случай».

Писатель вышел в коридор, выглянул на лестничную площадку.

«Никого», – сказал он, возвращаясь.

«Я о тебе беспокоюсь. Со мной-то они что могут сделать, – ничего».

«Ты так думаешь?»

«Чего тут думать. Меня ведь всё равно что нет. – Пауза. – Да, так вот... Войско – смех один: кто в чём. В пиджачках, в штиблетах, в летних туфлях белых, как тогда носили, их надо было чистить зубным порошком. Сперва отправили на рытьё окопов. Где-то уж не помню, где; под Рузой, что ли. Никакого обучения, вместо оружия лопаты. Через неделю выдали обмундирование. Что такое бе-у, знаешь?»

«Бывшее в употреблении».

«Так точно, тебя учить не надо. Сапог вообще не выдали. Ещё через неделю пришла партия винтовок, мосинских, образца девяносто первого дробь тридцатого года. Это же смех! Начали учить устав. Зачем учить устав, если никто почти что за всю жизнь ни одного выстрела не сделал? Хорошо ещё, что оставалось несколько дней до отправки на фронт. В общем, худо-бедно научили разбирать оружие, заряжать, стрелять по мишеням. Так что мы, например, смогли даже отразить первую атаку противника, сумели организованно отступить...»

«Я, наверно, многое путаю, – сказал отец, – давно было дело... К чему это я всё говорю? Дивизию прикомандировали к 32-й армии. На дворе осень, октябрь, ночи холодные. А мы в лёгких шинелишках. Да и немцы тоже. Думали к сентябрю вообще всё кончить... Это на наших-то дорогах... Споткнулись, реорганизовались – и снова наступление. Это я уже потом узнал, два танковых клина врезались с двух сторон, один с юга, другой с севера. За ними моторизованные корпуса. Ставка запретила отход. Сколько там народу полегло, один Бог знает. Оба прорыва соединились. Все оказались в котле, не только ополченцы, но и вся 32-я армия резервного фронта, и ещё одна, 24-я, и в придачу три армии Западного фронта».

«В котле?»

«Это у немцев так называлось. В окружении. Сперва вроде бы поступил приказ пробиваться на Сычёвку, на Гжатск. Пытались прорваться, этот прорыв дорого обошёлся. А тут и вовсе связь со штабом прекратилась. Нам всё говорили, идёт помощь, а на самом деле командование бросило нас на произвол судьбы. Кругом леса. Пошли разговоры, что немцы никого в плен не берут, считают, что всё ополчение состоит из комиссаров и евреев. Сдаваться бессмысленно. Да и вообще от всего московского ополчения остались только отдельные отряды. Не отряды даже, а кучки полузамёрзших людей. Под Ельней полегло всё наше ополчение».

Тишина, книги по-прежнему лежат на полу, створки шкафа распахнуты настезь. За окном сыплется снег. В самом деле, не надо ломать голову, потом разберёмся. А вот закусить бы не мешало, ты тоже, наверное, проголодался, бормочет писатель. Сбегать на кухню.

«На кухню не смей. Потерпишь».

«Никогда не думал, что тебя увижу».

«Я тоже не думал».

«Далеко тебе ехать?»

«Чем дальше, тем лучше».

«Я тебя провожу».

«Ни-ни».

«Ничего со мной не будет. Или ты сам боишься?»

«Я? – спросил отец. – Меня нет и не было, заруби себе на носу. Ведь это самое логичное, а? Самое правдоподобное».

«Так-то оно так».

«Я погиб за Родину в октябре сорок первого, – сказал гость торжественно и даже не без некоторого самодовольства. – Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей... Все приказы так заканчивались. Вы похоронку получили?»

«Не знаю... мама об этом ничего не говорила».

«Не получили. Да какие там похоронки. Не до того было... Пал за Родину, а где похоронен, хрен знает, может, под Ельней, а может, на Северном полюсе... И сколько нас было, и где мы лежим, никто не знает и никогда не узнает... Никто нас не хоронил, не до того было. Пали, и пускай лежат. Умер Максим, и хрен с ним. Весной снег сойдёт, вороны расклюют. Ворон знаешь сколько в том году развелось?»

От густого снегопада в комнате стало сумрачно, поблескивали сумасшедшие глаза гостя.

«Говорилось, пять дивизий народного ополчения, может, пять, а может десять – а где они? Нас всё равно что не было».

«Дальше», – попросил писатель.

«Зачем тебе? Хочешь обо всём этом написать? Ну, валяй, пиши. Сочиняй! Всё равно ничего не получится. Об этом писать невозможно. Кто там был, не расскажет, а кто захочет написать, выйдет неправда».

«Ну а всё-таки».

«Всё-таки... Сначала шли кучками, старались только не потерять направление – на восток. Шли, шли, одного нет, другого нет. Потом я вовсе остался один. В одной деревне попросился ночевать. Хозяйка с детьми на полатах, мужа нет. Положили меня на лавке. Только было задремал, постучали. Да как ещё постучали! Входит патруль: офицер и два солдата. Ищут партизан. Я тогда ещё не говорил по-немецки, но кое-что понимал. Немец, видимо, знал немного по-русски, спрашивает: это кто? Хозяйка, вечно буду её помнить, отвечает: здешний, из нашей деревни. У меня отросла борода, весь оборванный, вполне могу сойти за колхозника. Почему не у себя дома? А у него дом сгорел. Почему в военном? Хозяйка объ-

ясняет: был мобилизован, дезертировал, не хочет с вами воевать. Пошли! Привели в штаб. А там...»

«Как! – вскричал писатель. – Вернике?»

«Какой ещё Вернике».

«Ты же говоришь, читал... – Он ходил взад-вперёд по комнате. – Так значит, – бормотал он, потирая лоб, – вопреки всему, вопреки всякой вероятности и даже вопреки моему замыслу... ты жив».

«Можно считать и так», – сказал отец и развёл руками, как бы извиняясь.

Февральский снег валит густыми хлопьями, пурга разгулялась, исчезли дома, не видно перекрёстков, и фигура странного визитёра растворяется, тонет в белой каше.

## **XLVI Вдоль по Питерской. Генерал Колесников**

Примерно тогда же

Неизвестно, когда именно сверкающий чёрный лимузин с пуленепробиваемыми стёклами подкатил к подъезду. Если это произошло в тот же день, то они чуть было не столкнулись нос к носу: отец выходил из дому. Несколько минут спустя в коридоре продребезжал звонок. Отворил кто-то из жильцов. И... акции писателя в коммунальной квартире внезапно чудесным образом подскочили. Новый, чрезвычайный импозантный гость, в шинели с золотыми погонами и барашковой папахе, с фирменным пакетом на руке, с портфелем в другой, молча, не глядя, – сосед едва успел посторониться – вступил в квартиру, прошагал мимо сундука. Остановился перед дверью писателя и постучался костяшками пальцев.

Раз, другой. Ответа не было.

Гость входит.

«Привет!»

Он стоит на пороге, снег капает с его папахи.

Писатель открыл рот.

«Не узнаёшь?»

Подойдя к столу, генерал сдвинул чашки, водрузил приношение. Портфель был прислонён к стенке. Из внутреннего кармана явилась плоская фляга тёмного стекла. Он искал глазами, куда сбросить шинель и папаху.

Писатель показал на раскладушку. Гость остался в мундире с планками орденов, в погонах со звёздами, излучавшими таинственный свет, в синих брюках с голубыми лампасами.

«Сергей?» – пролепетал, наконец, хозяин.

Генерал раскладывал на тарелках бутерброды с паюсной икрой, балыком и ещё Бог знает с чем, нарезал ломтиками лимон.

Писатель переводил глаза с пиршественного стола на изумительный парадный наряд Серёжи, хотя изумляться, собственно, было нечему. Какой же это род войск, спросил он.

Генерал искоса, подняв бровь, поглядел на друга.

«А вот меня всё-таки интересуется... – проговорил он. – Не подумай, что я собираюсь тебя выпытывать. Просто так, по-человечески. Как ты вообще представляешь себе твоё дело?»

«Моё дело?» Писатель пожал плечами.

«Может, тебе вообще не хочется вспоминать?»

«Не очень. Темна вода во облацех! Вот как я его себе представляю».

«Уж это точно. А всё-таки?»

«Я давно уже перестал об этом думать, – сказал писатель. – Пытался, конечно, разобраться. После лагеря. В общем-то дело банальное. Был свидетель, ещё там какие-то показания. Не в них суть. Ты это знаешь лучше меня... Суть – это доносы, о них, конечно, молчок. Короче говоря, было два осведомителя».

«Два?»

«Один – это ты»,

«Допустим. А кто второй?»

«Глаша. – Писатель назвал фамилию Аглаи. – Была такая девочка на нашем курсе. Ты её, наверное, не помнишь».

«Помню. Черноглазая?»

«Красивая девушка. По-своему, конечно».

«Вы всегда втроём ходили, вы и эта, как её».

«Да. Что-то было между нами. Она меня ревновала к своей подруге, сентиментальная история. Потом уже я узнал, что она была дочерью репрессированного. Так что всё понятно, её прижали...»

Генерал внимательно слушал.

«Ага. Вот как, – проговорил он. – А ты... не хотел бы взглянуть на своё дело?» Наклонился и, не дожидаясь ответа, отщёлкнул портфель.

«Я запросил его. Не следственное, конечно, там ничего особенного нет. Оперативное! С удовольствием подарил бы тебе на память. Но! – он развёл руками. – Не могу. Его надо вернуть».

Он взвешивал папку на ладонях, улыбаясь, поглядывал на друга. Так повар держит на подносе фирменное блюдо. Так посол иноземной державы преподносит драгоценный подарок.

«Хочешь полистать? Рассчитываю, конечно, на твою скромность. Всё должно остаться между нами».

Автор хроники, как зачарованный, смотрел на пухлую папку. Медленно покачал головой.

Генерал поднял брови.

«Неинтересно?»

Писатель снова помотал головой.

«Такая возможность может представиться только один раз в жизни. Не хочешь – как хочешь. Дело вот в чём... Я, как это ни смешно, вынужден защитить свой приоритет».

Генерал швырнул добычу в разверстную пасть портфеля.

«Ты ошибся, – сказал он. – Я просмотрел все материалы. Там только один информант – под псевдонимом, разумеется».

«Она?»

«Нет. – Генерал усмехнулся. – Я!»

«Как, – выдал писатель, – кроме тебя... никого не было? Ты единственный осведомитель, больше никто?»

«Так точно. Не знаю, что ты там говорил в присутствии этих девиц, очевидно, какие-то пустяки. Во всяком случае, сведений о том, что твоя Глаша сотрудничала с разведкой, нет».

Сумерки сгустились. Гость взглянул на часы. Задержался я у тебя, пробормотал он.

«Разведка, – сказал писатель. Так это у вас называлось».

«Именно так».

«Ты меня посадил, Серёжа».

«Не я. Тебя государство посадило».

Он протянул портсигар, писатель покачал головой.

«Дукат?»

Генерал щёлкнул зажигалкой, затянулся и выпустил, выпятив губы, дым к потолку. При чём тут Дукат, спросил он холодно.

«Discatum значит по-латыни герцогство».

«Я не герцог. Это заграничные... Отечественных не курим. Так на чём, стало быть, мы остановились... Я твои чувства прекрасно понимаю».

«Мы были друзьями, Серёжа. Сколько тебе заплатили?»

Генерал помрачнел. Тяжело взирал на писателя.

«Да. Мы были друзьями. Если ты думаешь, что я пришёл оправдываться, то ошибаешься. А если всё ещё не понял, я объясню».

Пауза.

«Что ты хочешь мне объяснить?»

«Одну простую вещь. Всякое государство должно защищаться. А наше – тем более».

«Чьё это – наше?»

«Наше. Моё и твоё. Повторяю: всякое государство, и особенно такое, как наше, советское».

«Защищаться?»

«Да».

«От кого?»

«В том числе и от таких, как ты. Ты пей, там ещё осталось... Закусывай... Я имею в виду не тебя сегодняшнего, а твои тогдашние настроения».

«Откуда ты знаешь, что мои настроения изменились?»

«Я думаю, жизнь тебя научила».

Он поднялся и подошёл к окну.

«Пурга-то какая».

Руки в карманах форменных брюк, крепкий затылок. А тогда – ещё мальчишеский, с ямкой. Медленно вращается в тёплом тумане, переливаясь цветными огнями, люстра шикарного ресторана «Савой». Официантка в кокетливом фартучке, в короткой тесной юбке на роскошных бёдрах. Обращается только к Серёже. Он всегда при деньгах... Жирный голос конферансье.

*Сегодня у нас в гостях...*

Там в углу сидит похожая на Целиковскую.

*Вдоль по Питерской. С кала-а! Кольчиком. Да эх-ы.*

Генерал вернулся к столу.

«Наше государство, к твоему сведению, да, наше социалистическое государство, устроено так, что критиковать его, а точнее сказать – клеветать на него – нельзя. Недопустимо. Почему? – Он разливает остатки зелья по стаканам. – Да потому, что это значит требовать перемен. А любые более или менее серьёзные перемены, реформы и так далее для нашей системы опасны. Наше государство – монолит. Каков он есть, таков он и есть. Это не глина, которую можно мять так и сяк. Попрошу меня не перебивать».

*Едет миленький, сам на троечке.*

«Ты меня слушаешь?»

«Слушаю, слушаю...»

«А теперь вспомни, что ты говорил. Как был настроен. Я-то хорошо помню».

«Ещё бы. Всё записывал».

«Записывал или не записывал, не обо мне речь. Ты говорил, что у нас фашистский строй. Как у немцев. Говорил? Говорил. Что ж, – Сергей усмехнулся, – может быть, и фашистский. Смотря как посмореть. Ну и что? Что с того, я спрашиваю!»

Усмехнулся и писатель углом рта.

«Давай, – сказал гость, берясь за стакан. – Во-первых, неизвестно, что лучше. Во всяком случае, благодаря этому строю мы победили... Это режим твёрдого руководства, вот что важно. Для России тем более. А во-вторых...»

Он стукнул своим стаканом о стакан писателя.

«А во-вторых, и это, брат, самое главное... Ничего менять нельзя, вот в чём дело-то. Ни-ни! Что есть, то есть. Иначе начнётся такое, что... Русский народ – это, может быть, самый терпеливый народ на свете. Но если ослабить узду...»

Генерал погрозил пальцем, раздавил в блюдце окурочку.

«Тебе, может быть, и казалось, что надо сказать правду, открыть людям глаза... Ишь какой нашёлся! У кого голова на плечах, тот знает правду... И помалкивает. В государственных делах, в которых такие, как ты, ни хрена ни смыслят, правда – заруби это себе на носу! – она подчас хуже всякой лжи. Вреднее всякой лжи! Да и что это значит, сказать правду? Это значит призывать к перевороту. Вот так, дружок. Сегодня ты говоришь мне, завтра скажешь другим. Слабых, неустойчивых людей сколько угодно. Особенно среди тогдашней молодёжи. Уж нам-то это хорошо известно... Вот они и подумают: а на хера всё это терпеть? Пора приступать к делу. Да ты и сам, кажется, собирался... я уж не помню. Прокламации, что ли, разбрасывать...»

Он снова взглянул на часы, нахмурился. Вынул блокнот.

«Вот что. Мне неудобно выходить...»

Держа в руках исписанный листок, писатель прочёл: *Живо. Одна нога здесь, другая там. Генерал Колесников.*

Писатель вышел из подъезда, приблизился к чёрному лимузину и, смахнув снег со стекла, показал человеку записку. Вскоре позвонили в коридоре. Писатель принял от шофёра новый пакет, бутылку...

Время отступило. В полутьме гость и хозяйин сидели, понурясь, за столом, жевали, о чём-то думали, подносили к губам спасительное зелье. А помнишь, говорил один. Как мы с тобой. Как не помнить. Молодость, она, того... Была и сплыла. И не успели оглянуться. А эту помнишь. Как же... Было дело под Полтавой. Ничего у меня с ней не вышло. Между прочим, вспомни. Какое было время: баб сколько угодно. А мы, лопухи. Вообще ничего не вышло. Вот так, брат. Жизнь-то, а? Как обернулась. Ты уж меня прости. Да чего там. Кто старое помянет... Может, тебе помочь. Да чего там помогать. Ты как живёшь-то. Да ничего, помаленьку. Живу, хлеб жую. Один живёшь. Да как тебе сказать. Может, тебе чего надо. Ты скажи. За тебя, друг. Надоела мне вся эта жизнь, ты не смотри, что я в таких чинах... Вот так – пальцем по горлу – надоела. Повидались-таки. Брат! з тебя! Обнимались, утирали слезу, тихонько пели.

*Я вечор, молода. Во пиру была!*

## **XLVII Слава Богу, живём в большой стране**

1 марта 1977

Что за день, думал писатель. Ноги тащили его к зловещему зданию. Такая же пасмурная погода стояла и в тот день, обманчивая петербургская весна. Мостовая блестела от сырости. Был даже, кажется, тот же день недели. Дым рассеялся, самодержец выбрался из кареты. «Хорош, – сказал он, взглянув на Рысакова, и, от-вернувшись, пробормотал: – Un joli monsieur<sup>2</sup>». Он ждал смерти вот уже сколько лет. Кажется, снова обошлось. «Ваше величество, – кто-то подбежал, – вы ранены?» – «Я нет. Слава Богу. А вот...» – кивнул на двух умирающих: конвойного казака и прохожего мальчика. В эту минуту писатель, войдя в подъезд, предъявил повестку и паспорт.

---

<sup>2</sup> *Здесь: Какая всё-таки сволочь (фр.).*



Царь шёл нетвёрдой походкой к решётке канала, к человеку, который стоял у решётки, скрестив руки. Человек не снял шапку. Царь смотрел на него с любопытством. Человек поднял руки и сделал шаг навстречу. В руках был пакет. Бомба шмякнулась о булыжную мостовую, император, с помутившимся взором, в ключьях обгоревшей одежды, с полуоторванными ногами сидел в луже крови, прислонясь к решётке, а в двух шагах от него на мостовой, с развороченным животом лежал Гриневицкий.

Писатель явился, как положено, на Кузнецкий мост для допроса после домашнего обыска и изъятия компрометирующих материалов. Ему указали комнатку слева от проходной, окно забрано решёткой, стол и два стула. Минут через пять вошёл человек в штатском. Он был русоволос, ни стар, ни молод, со светлым невыразительным лицом. Поздоровался кивком, сел напротив, вынул портсигар. Курите?

Писатель покачал головой.

«Ну и я не курю», – сказал сотрудник, не назвавший себя, и спрятал портсигар.

«Ну что ж... – проговорил он, не спуская светлых глаз с посетителя. Впечатление такое, что он одновременно смотрит на тебя и сквозь тебя. Мысленно прикидываешь: капитан, майор? – О чём же, стало быть, мы с вами будем беседовать?»

Подследственный сделал неопределённое движение, дескать, это уж ваше дело.

«Давайте сразу договоримся. Я никаких протоколов составлять не собираюсь, хотел бы просто с вами потолковать, а вас попрошу не хитрить, не притворяться, что вы не понимаете, в чём дело, для чего вас вызвали... Одним словом, не строить из себя целку!»

Он употребил это непристойное выражение просто и непринуждённо, как если бы оно давно стало общеупотребительным, – что, вообще говоря, так и было – и тем давая понять, что сама обстановка беседы должна быть непринуждённой. Однако в этой конторе все слова надлежит понимать по-особому. «Потолковать» – это было в некотором роде нововведение. Писатель насторожился.

«Ну вот, – офицер хмыкнул, – вижу, вы уже изготовились к обороне».

Он вздохнул, поиграл ключом. Открыл ящик стола и вынул знакомую пухлую папку с грифом и номером. Штамп «ХВ» – хранить вечно. В просторечии: Христос воскрес. Канцелярское бессмертие.

«Вы угадали. Боюсь, что не устарело... Вы как считаете?»

«Я реабилитирован», – сказал писатель.

«Как же, как же; а я разве говорю что-нибудь против?»

Он листал дело.

«Вот тут есть любопытные вещи, – пробормотал он, – похоже, что вы собирались скрыться...»

После этого явилась на свет ещё одна папка, перевязанная шнурком.

«Это я вам возвращаю, это нам не нужно...»

Писатель получил назад свою рукопись.

«А у меня к вам, кстати, вопросик. Касательно вашего, этого... Опять же не для протокола. Вот вы называете одного из... скажем так: одного из крупнейших людей нашего времени – карликом. Почему?»

«Он был низкорослым».

«Людей невысокого роста много. Однако мы не называем их карликами. Карлик – это...»

«Карлик – это карлик».

«Угу. Но согласитесь, что читатель, если только он не полный идиот, понимает, что вы имели в виду не только рост».

«У меня нет читателей».

«Ну-ну-ну. Каждый писатель рассчитывает, что у него в конце концов найдутся читатели. Для потомства пишете, а? Хорошо, оставим это. Но мне всё-таки инте-

ресно, чем объясняется такое отношение к одному из... вы ведь согласны, что вся история нашей страны немыслима без него. Или я ошибаюсь?»

«Тем хуже для истории».

«Кстати, вы тут где-то в другом месте отзываетесь об истории весьма даже презрительно...»

«Она этого заслужила», – мрачно сказал писатель.

«Откуда вы это знаете?»

«Мы все современники...»

«То-то и оно, что современники, – сказал майор. – История, знаете ли, меняется. Сегодня одно, завтра другое. Можно так повернуть, можно этак. Историю, я вам скажу, хуже всего понимают как раз те, кого она, пардон, за жопу взяла».

«То есть современники?»

«Они самые», – был ответ. Человек снова раскрыл и протянул портсигар.

«Спасибо, вы уже спрашивали».

«Но, может быть, вы передумали».

«Передумал, стоит ли курить?»

«Передумали, стоит ли так унижать нашу страну, её вождя... А впрочем, хрен с ним, – неожиданно сказал майор. – Умер Максим, ну и... Вернёмся к делу».

Архивная папка лежала перед ним, он постукивал ногтями по обложке.

«Вас реабилитировали, разрешили вам жить в Москве, а вы опять за своё. Опубликовали... простите, не хочу вас обижать... свою стряпню за границей. Сам этот факт, знаете ли... не говоря уже об издательстве. Известное издательство, знают, что им печатать... И кто они такие, тоже известно. Книжка ваша тянет на статью, скажу вам прямо, на сто процентов. С первой страницы до последней».

«Какая книжка?»

«Ну-ну-ну. Будто вы не знаете».

Из стола явилась книга.

«Не моя, – сказал писатель. – Я её читал, но не я её автор».

Майор испустил тяжёлый вздох.

«Ну вот опять. Я же просил. Я, между прочим, не для того вас пригласил, чтобы добиваться признания. Тут дело ясное! Если уж на то пошло... – он презрительно взглянул на роман, швырнул его в стол, взглянул на писателя, – мне ничего не стоит сейчас же выписать ордер на арест, и разговор окончен! Какая статья, сами знаете. Она теперь усовершенствована. Хранение, распространение, то да сё. Публикация клеветнических материалов за рубежом. Вот так, уважаемый... – тут он в первый раз назвал сочинителя по имени-отчеству. – Кстати сказать, не обижайтесь, роман-то, между нами говоря, ни в какие ворота».

Произнеся этот приговор, он встал, выглянул в коридор и сделал знак кому-то. Оба молча сидели друг против друга. В дверь деликатно постучали, явилась с подносом пышнобёдрая буфетчица в наколке и круглом передничке.

«Угощайтесь». Майор вдумчиво размешивал ложечкой чай в стакане с подстаканником, отхватил крепкими зубами кусок бутерброда с ветчиной. Следом за ним взял стакан и писатель, обжигаясь, отпил глоток.

«Бежать задумали?» – неожиданно спросил офицер.

«Как это, бежать».

«Уехать. Есть такие случаи. По еврейской линии... Ведь у вас папа был, если не ошибаюсь, каким-то боком? А кстати, что с ним случилось?»

«Вы же знаете...»

«Вы что, думаете, мы всеведущи?»

«Он погиб, – сказал писатель. – В сорок первом году».

«На фронте? Вот видите. Отец проливал кровь за родину, а вы её собираетесь оставить».

На что писатель возразил, что не собирается, да и вообще впервые слышит.

«Так уж и впервые! Все знают, вся Москва, можно сказать, только и говорит об этом на кухнях. А вы не слышали. Впрочем, – сказал он, вытирая пальцы бумажной салфеткой, кивая рассеянно и словно говоря сам с собой, – в самом деле, что вам там делать? Это ведь только пока вы здесь, на вас обращают внимание. А приедете – кому вы там нужны?»

Приоткрыв дверь, он щёлкнул пальцами. Снова явилась упитанная буфетчица забрать поднос, сотрудник оценивающе смотрел на её фигуру.

«Н-да... – Вздохнул, сложил руки на груди, склонил голову на плечо. – Я понимаю, вы хотите сказать, что вам здесь не дают заниматься литературой, преследуют, грозят посадить снова...»

Майор встал. Повертел головой, оглядывая потолок, хлопнул в ладоши.

«Это так, профессиональная привычка, – промолвил он, усмехаясь. – Разведка есть разведка, она ведь и против себя тоже работает. – Сел. – Так о чём бишь я...»

«Я бы вам не советовал, – сказал он. – По-человечески не советовал бы. Ну, помурьяют вас, разок-другой придут с обыском. На допрос вызовут. Это же для вас не новость. Ну, в самом худшем случае, проживёте сколько-то времени, так сказать, на природе. У какой-нибудь бабы. Вдали от суеты... Вы ведь стреляный воробей».

Что он имел в виду, ссылку?

«Долго не продлится. А вот эмигрировать не стоит. Немного терпения. Тут ведь дело такое: скажем прямо, пахнет керосином».

Он барабанил пальцами по столу.

«М-м?»

Подследственный молчал.

«Керосинчиком, керосинчиком пахнет. Эксперимент не удался. Не вышло, прямо скажем. Сидим все, пардон, в жопе. Нужно что-то предпринимать. А для этого, как вы понимаете, нужна крепкая рука, нужны смелые, ответственные люди. Надо выволакивать страну из дерьма... Вас, конечно, удивляет такая откровенность. Но ведь это почти что, можно сказать, и не тайна. Можете настучать на меня, я не возражаю. Но уж тогда вместе сядем, хе-хе!»

Офицер встал, прошёлся по тесной комнатке, и, как всегда, невозможно было понять, лжёт он, как все они, – пудрит мозги, ломает дурака – или всё это говорит-ся всерьёз.

«Тут такие дела готовятся, а вы собрались драпать... (Писатель сделал протестующий жест, человек остановил его). Ну, пять лет, ну, восемь от силы – сколько это ещё может продолжаться? А потом крах. Да ещё какой. Страна у нас огромная, если уж рухнет, то такой будет трам-тарарам! Все усилия, жертвы, всё – псу под хвост. Света белого не увидим. Не-ет-с, – и он помахал пальцем перед носом подследственного, – этого допустить нельзя, мы и не допустим. Можете думать о нас что хотите, но только единственная сила, которая может спасти Россию, – это мы. Да, мы, государственная безопасность. Вот такие дела, уважаемый. А вы говорите...»

Писатель, несколько обескураженный, выслушал эту тираду. Итак, даже они... Не он один спрашивал себя, на чём всё это держится, и не находил ответа. И, однако, не мог представить себе, чтобы этот режим когда-нибудь испустил дух.

Он спросил:

«А как же будет со мной?»

«С тобой? – поднял брови майор, капитан или кто он там был, неожиданно перейдя на “ты”. – Следствие продолжается. Кто однажды отведал тюремной баланды... как это говорится?»

«Будет жрать её снова».

«Ну уж и пошутить нельзя. Ладно! – Он хлопнул ладонями по столу. – Заболтался я с вами, где у вас повестка-то...»

Он небрежно черкнул что-то. На нетвёрдых ногах составитель этой, вопреки разным несуразностям, всё же правдивой хроники направился к выходу. На улице моросил дождь.

Первое марта, пасмурный денёк... Два взрыва на Екатерининском канале.

### **XLVIII Сон без сновидца, называемый действительностью**

Вечером 1 марта 1977

Он вернулся домой сильно утомлённый и, как был, не раздеваясь, повалился на раскладушку. И ему опять стало сниться: сперва, выходя на крыльцо вахты, он ещё сознавал, что видит сон, с любопытством ждал, что будет дальше; ночь была ясная и морозная, и небо над головой усыпано мелкими и крупными брильянтами. Но понемногу действительность сполна вступила в свои права, и, прохаживаясь от пожарного депо к магазину для вольнонаёмных, поскрипывая подшитыми валенками взад-вперёд, оставляя за собой угловую вышку, где темнела фигура стрелка и два огненных глаза били под прямым углом, над тыном и навесом с рядами колючей проволоки, и возвращаясь назад, он окончательно уверился в том, что всё происходившее в доме на Кузнецком мосту, болтовня майора в штатском, покушение на императора, комната родителей, куда он вернулся с допроса, если это был допрос, а не что-то тайное, двусмысленное и пахнущее провокацией, – что всё это приснилось ему, когда, усталый, он присел на ступеньки магазина и задремал ненароком. Он открывает глаза, дрожа от холода, встаёт на затёкшие ноги. Воспоминание о сне исчезло, он хлопал себя по бокам, хрустел по снежной тропе и ни о чём больше не думал.

Но правильной будет сказать, что мысль его, вслед за телом, как бы ооченела, сосредоточилась на одном: он выжидал. Он следил за временем, поглядывал на Большую Медведицу над тёмным лесом и постепенно удлинял свой маршрут. И вот уже, чуть погодя, человек-тайна, человек себе на уме шибко шагает в непроглядной тьме и, наконец, дошёл до оврага. Он вспомнил: деревня называлась Кукуй.

Он стоит на крыльце и топает валенками, отряхивая снег. Постучался в дверь. Вдруг оказалось, что дверь не закрыта. Это оттого, что его ждали. Он вошёл в сени, в темноте нащупал скобу и, наклонив голову, переступил порог избы. Никого не оказалось, на столе горела свеча, блестел жестяный венец вокруг неясного лика Богородицы, на стене пощёлкивал маятник часов-ходиков, висел плакат «Все на выборы». В ужасе он понял, что попал в ловушку, законвоируют, добавят срок, переведут на другой лагпункт, – и весь в поту проснулся.

Было жарко в одежде. День угас. Писатель сел на койке. Кто-то ещё, кроме него, находился в комнате: он услышал слабый смешок. В сумерках она сидела спиной к столу, и, как когда-то, поблескивали её глаза, белело лицо в платке.

«Ты здесь? – проговорил он. – А я сейчас был в деревне, прихожу, тебя нет. Нехорошо оставлять огонь, спалишь избу... Куда ты пропала?»

«К тебе поехала», – был ответ.

«Как же ты меня разыскала... столько лет прошло».

«Вот так и разыскала».

Он продолжал расспрашивать: «А как же твои ребята?»

«Они уже взрослые, зачем я им?»

И он подумал – в самом деле, при чём тут дети, он никогда ими не интересовался.

Тут ему пришла в голову простая мысль, что там, в лесном и болотном краю, время не может идти так, как оно идёт в столице. Там время не спешит. Там правит Сатурн. И его не удивило, когда, привыкая к сумраку, он увидел, что она ничуть не изменилась. Всё так же стояла её высокая грудь, светилась открытая шея и ровные зубы белели в улыбке.

Она сбросила на плечи платок, вынула гребёнку из ореховых волос, снова вставила.

«Маша, – сказал он, чуть не плача от счастья, – Маша... А я так скучал по тебе. Я тебя не забыл!»

«Вот и свиделись», – сказала она спокойно.

«Я думал, никогда больше не увижу тебя».

«Куды ж я денусь».

«Ты никуда не уедешь, ты здесь останешься?»

«Не знаю. Коли ты не против...»

«А дом, – сказал он, – можно продать».

«Какой дом?»

«Твой, в деревне. Мы поедем вместе, что надо, заберём. Сейчас можно ехать свободно, в лагерь уже нет».

«Это кто тебе сказал, что лагеря нет. Лесу, может, и поубавилось. А лагерь, – она усмехнулась, – куды ж он денется».

«А деревня?»

«Очнись, милый. – Что-то материнское звучало в её голосе, и чувствовался знакомый северный акцент. – Ведь сам же говоришь, неровен час, можно спалить избу. Вот она и сгорела. В деревне, может, кто и остался, а дома больше нетути!»

«Ну и Бог с ним, – согласился писатель. – Даже ещё лучше. Маша! Что это мы всё говорим не о том?»

«А о чём говорить-то. Ну вот, – засмеялась она, видя, как он встаёт, тянется её обнять, – опять за рыбу деньги. Чуть только пришла, он уж снова за своё».

«Маша, я ведь тебя люблю. Только одну тебя по-настоящему и любил. Верись ли, думал: а что, если мне туда вернуться... Маша! У меня никого больше нет, одна ты и осталась».

«Так уж и одна...»

«Возился тут с одной, ничего от тебя не утаю, но поверь, Маша, любовь бывает только одна! Я всё помню, я ничего не забыл... Вот говорят, – бормотал он, сидя на раскладушке и вперяясь во тьму, – вот говорят, тоска по лагерю... А ведь это правда. Ведь это же, можно сказать, самый что ни на есть законный образ жизни для русского человека. Небось слышала пословицу: кто однажды отведал баланды...»

Она перебила:

«Нешто ты русский?»

«А кто же я? Господи, я и сам не знаю, кто я... Вот и я думал: что, если...»

«Не болтай! – послышался строгий голос. – Освободился, Бога благодари».

«Вот я думал: плюну на всё и махну к тебе. И приедем вместе».

«Тесновато будет», – сказала она задумчиво.

«Как-нибудь устроимся, Маша... Иди скорей, Маша...»

«На койке, говорю, вдвоём тесно будет... Да не гожусь я больше для таких дел, милый. Ты небось и не заметил».

Повернув голову, он увидел, что гостя всё ещё сидит боком к столу, силуэт на фоне светлого окна обведён серебряной каймой. Она встала, провела руками по груди и широким бёдрам.

«Раздеться мне, что ль, или так видно?»

И действительно, он увидел выбухающий живот.

«От кого же ещё...» – сказала она спокойно, отвечая на невысказанный вопрос.

«И ты молчишь?» – вскричал писатель.

### **XLIX Побег № 3. Порushенное отечество**

24 апреля 1977

#### **1**

Зыбкая, смутная, как сама действительность, как проект ненаписанной главы, погода сопровождала весь его долгий путь. Он высадился в большом городе, стоял шум, шёл дождь, он двигался в толпе пассажиров, – это был, вероятно, вокзал, – постепенно всё смолкло и опустело, – в сумерках, под низкими, серыми, как намокшая вата, облаками, прыгая через тускло блестящие рельсы, пробираясь между вагонами, он достиг отдалённой платформы, и там ждал другой состав, путешественник смутно помнил, что должен был пересестя на поезд, идущий на Котлас, но оказалось, что он уже на той станции, откуда предстояло ему ехать в засекреченное лагерное княжество: длинная череда теплушек и два или три вагона для вольнонаёмных ждали отправления, – и он взобрался, никем не замеченный, в вагон. Послышались крики команды, топот, говор, этап из России прибыл – но разве и эта станция не была Россией? – и началась торопливая посадка. Но в вагон, где он сидел, никто не вошёл, и так он и поехал, один, лёжа на скамье.

Ночью его растолкали, милиция, подумал он, дело происходило в далёкой вымершей деревне, в заброшенной церкви, где он заночевал, – и понял, что всё пропало, сейчас потребуют документы, но это оказался контролёр с фонарём. Где мы, спросил пассажир. Контролёр ответил: в немецком трофейном вагоне. Пассажир не понял, как это, в немецком? Был немецкий, а теперь русский, отвечал контролёр и протянул руку за билетом; ты что, забыл, что мы победили. Потом сказал: пропуск. Пассажир спохватился, ведь они въехали в закрытую зону, а о пропуске он забыл; в отчаянии он протягивал мужику деньги. Тот, не говоря ни слова, сунул купюру в карман, он вовсе не был контролёром, а ходил по вагонам, собирал на выпивку, – и, покачивая керосиновым фонарём, двинулся дальше по гремучему шаткому вагону.

Пассажир стоял перед грязным окном, дожидаясь, когда конвой внизу пересчитает людей, видел, как колонна колыхнулась и поспешно всей массой стала сходить и съезжать с насыпи, – построились, конвой прокричал команду, двинулись, растворились во мгле, – лишь после этого он выглянул из тамбура: никого, – и спрыгнул с подножки. И тотчас раздался свисток, лязгнули буфера, состав двинулся в обратную сторону. С деревянным чемоданом и дорожным мешком за плечами приезжий шагал по шпалам узкоколейки, он помнил дорогу и знал, что дорога повернёт в сторону, вовремя сошёл, там была проложена лежнёвка, рельсы из длинных жердей для вагонок, идти по ступняку, разбитому лошадиными копытами, кое-где вовсе провалившемуся, было неудобно, он пошёл по осклизлой лежне, опираясь на палку, чтобы не оступиться в болото, держа в левой руке чемодан.

Так он добрался до лагпункта, осталась в стороне казарма, он прошёл мимо сарая электростанции, миновал магазин для вольняшек, конюшню, пожарное депо. Впереди тянулся высокий тын, увешанный лампочками, с угловой вышки над проволочными рядами бил прожектор, было тёмное утро. Небо очистилось, в вышине горели созвездия. Ворота были широко раскрыты, вокруг стоял конвой с овчарками на коротком поводке, смиренно сидевшими на костлявых задах. На крыльце в длинной шинели и лисьей шапке стоял сам начальник лагпункта. Послышалась жестяная гроыхающая музыка, это дул в трубы лагерный оркестр. Начался выход бригад.

Никто не заметил, не видел приезжего; он ждал; развод кончился, ворота закрылись. Небо над лесом пожелтело, побагровело, он не мог понять, что это: восход, закат или зарево дальнего пожара, и шёл тёмной таёжной тропой, стало жарко от быстрой ходьбы, и так как он был – раньше каким-то образом не заметил – в бушлате, то расстегнулся, стащил с головы взмокшую ушанку – и, наконец, вышел к оврагу. По ту сторону находилась деревня. Он подошёл к крайней избе, взшёл на крыльцо, никто не откликнулся на его стук. Он спрыгнул, подкрался к тёмному окошку и тут только заметил, что и окна, и дверь заколочены крест-накрест старыми, потрескавшимися досками.

А ведь она должна была его ждать. В недоумении он двинулся дальше, деревушка, десяток кривых изб, казалась вымершей, всё же кто-то появился вдали. Он спросил у горбатой, сморщенной бабуся, что случилось, куда она делась. Кто? – спросила старуха. – Тебе кого надо? Старая ведьма была к тому же ещё и глуха. Маша! Маша! – закричал, теряя терпение, путешественник. – Которая Маша? Эва, прошамкала она, да ведь она померла. Сердце оборвалось у приезжего, как, прошептал он, как это померла! когда?.. Да тому уж лет десять, сказала старуха.

## 2

Сон или не сон, говорил он себе, но в любом случае – перст судьбы. Это было одно из тех путешествий (сколько их уже было!), когда нет уверенности, что доберёшься до цели, когда неизвестно, встретит ли тебя кто-нибудь; поездка в направлении, обратном течению времени.

Ночной поезд шёл теперь значительно быстрее, в Горький прибыли через каких-нибудь 9–10 часов. Здесь предстояла пересадка на Котельнич до таинственной полусекретной станции, единственной, которую ещё можно было найти на карте. Путешественник не нуждался ни в каких картах. По прибытии он увидел за концом платформы верстовой столб, четырёхзначное число.

Под проливным дождём он пробирался через путаницу чёрно-блестящих рельс, обходил мёртвые составы, скелеты вагонов; неизвестно и не у кого спросить, ходят ли ещё по лагерьной ветке на север. Расписания не существовало, пробовал расспросить какого-то мужика в брезентовом армяке; судя по невнятному ответу, в иные дни можно было сутками дожидаться отправления. В старом немецком трофейном вагоне с полустёртой надписью «Reichsbahn» писатель качался на лавке, поезд стучал, гремел, путешественнику снился дальний путь, снились леса, летящие за окном; открыв глаза, приподнявшись, он видел в слезящемся стекле всё ту же дощатую платформу и ни одной живой души, вновь раздался свисток, вагон вздрогнул, взвизгнули колёса. Вошёл человек в рубище, в фуражке контролёра.

Пассажиры вспомнил детскую книжку: *это что за остановка, Бологое или Поповка?* Где мы, спросил он. Колевец, отвечал контролёр. А-а, проговорил пассажир, с трудом преодолевая сонливость, а следующая? Человек пожал плечами, следующая Керженец, сказал он. Пассажир покачал головой, хитро усмехнулся, вы, наверное, здесь недавно, Керженец давно проехали; Лапшанга – вот какая будет следующая. А за ней Белый Лух. Ошибаетесь, гражданин, какой-то такой Белый Лух, нет тут никаких белых лухов, холодно возразил контролёр. Да что вы мне говорите! – пассажир вышел из себя, – я тут... – он хотел сказать: я тут жил. Вам куда надо? – спросил контролёр. А вот туда, буркнул пассажир, чуть было не прибавив: не твоё собачье дело, и протянул билет. Контролёр щёлкнул компостером. Ваш пропуск, сказал он. – Какой ещё пропуск, я же предъявил билет. – Билет билетом, а пропуск пропуском, закрытая зона, отвечал наставительно человек в фуражке.

Всё ещё закрытая? – пробормотал пассажир. – Чего ж там закрывать? Он рылся в бумажнике. Премного благодарим, ответственвал контролёр, сунул трёшку в карман, и прошло ещё некоторое время. Путешественник, в резиновых сапогах, с заплечным мешком, стоял в одиночестве на песчаной полосе, тянувшейся вдоль рельс, полустанок назывался Белый Лух. Невдалеке холмик, покрытый бурой прошлогодней травой, и полосатая перекладина, это был конец железной дороги. На ручных часах приезжего было десять часов, всё ещё московское время. Он смотрел, как маленький пыхтящий паровоз с длинной трубой совершал манёвр, чтобы подцепить сзади короткий состав. Тёмный занавес туч висел над станционной избушкой, над остатками леса. Дождь утих, готовый зарядить сызнава. Конец света, крайний северный лагпункт.

На самом деле вовсе не конец – этак можно полстраны считать концом света. Писатель рассчитывал за полчаса добраться до бывшего посёлка вольнонаёмных, а оттуда, если не заплутаешься, до Кукуя будет не больше часа бодрим шагом. И он шагал по заросшей насыпи, где когда-то пролегал лесовозный ус, – кое-где ещё лежали потрескавшиеся, полусгнившие шпалы. Мимо буйно разросшихся куртин, через кладбища замшелых пней, мимо болотной трясины и густого подлеска, когда-нибудь он вновь станет тайгой. Он шёл и шёл, а часы показывали одно и то же время. Должно быть, остановились. Увидел, где посуше, и выбрался, наконец, на знакомую дорогу – до посёлка не больше двух километров. И чем ближе он подходил, тем отчётливей чуял родной запах. Ветер нёс навстречу испарения лагеря.

Что же он увидел? Да ничего: несколько деревянных домов, кто-то живёт; выбежала собака, завывала, закашляла, подняв острую морду к серым небесам; он знал: надо идти не торопясь, не останавливаясь, и зверь отстанет; он узнал сарай своей электростанции, пожарное депо, избушку магазина – всё стоит на своём месте. Но зона, самое главное, – зона порушена, нет больше тына, нет вахты, нет вышек. Остатки ржавой колючей проволоки висят кое-где на столбах запретной полосы. Среди болотных трав стоят в воде почернелые бараки с выбитыми стёклами, с провалившейся крышей.

Путник с тоской озирает эту картину. Это было зрелище рухнувшей лагерной цивилизации. Он сказал себе, что все эти годы чувствовал себя эмигрантом среди живших на воле. Ты знал, что твоё происхождение никуда не делось, не рабочий, не крестьянин, не интеллигент, – заключённый – вот сословие, к которому ты принадлежишь, и твои бумаги всюду следуют за тобой, и бушлат, и валенки, расширяющиеся книзу, и лагерная пайка, место на нарах и очко в сортире ждут тебя, и придёт время – ты вернёшься. И вот он, наконец, вернулся, и что же? Отечество его души, заброшенное, осиротелое, обвалилось и догнивает в болотах.

Он свернул к бывшей казарме. На верёвке между шестами висело бельё, на окнах занавески. И здесь обитал кто-то. Путник торопился, из-под полога лиловых облаков проглядывал жёлтый закат. И было уже темно, когда он вышел из леса, перебрался через глинистый овраг, подошёл к дому. Мёртвые окна отсвечивали, как слюда.

Где-то очень далеко хлопнул и прокатился выстрел. Снова тишь, слабый шелест дождя.

Он стоял на крыльце. Нужно было собраться с духом. Нужно раз навсегда покончить с хронологией. Но мы и так с ней покончили. Истинное время повествования следует иному порядку. Вспомнил он и слова Маши – будто изба сгорела. Ничего подобного, это был тот же старый, но всё ещё крепкий дом на краю таёжной деревушки. Писатель вобрал в себя воздух, как перед прыжком в воду, поднял кулак и дважды, негромко, стукнул.

Слабо скрипнула дверь в сенях. Отщёлкнулась задвижка наружной двери. Ему отворили. Она, разве только чуть располневшая, босая, в длинной деревенской



рубаше, с круглым мягким лицом, с большой грудью. Дрогнувшим голосом странник спросил: узнаёшь меня? В полутьме с трудом можно было различить её улыбку. Значит, она была рада? Ему показалось, что она его ждала. Это было совсем уж невероятно. Он не успел прибавить ни слова – она прижала палец к губам. Он остался стоять в тёмных сенях.

Чуть погодя его впустили в избу. Как в далёкие времена, на столе горела керосиновая лампа. Поблескивал образ в углу. Широкая кровать была разобрана. Что-то скрипнуло, заплакал ребёнок. Приезжий обернулся. Рослый мужик в майке, с татуировками на плечах, в галифе и тапочках, покачивал деревянную кроватку-зыбку, нагнулся, вынул дитя из зыбки. Маша – на ней была белая блузка и тёмная просторная юбка – сидела на лавке, круглолицая, с перехваченными сзади ореховыми волосами, спокойная, одна рука под грудью, другой подпирая щеку.

«Здорово», – мрачно сказал хозяин, и гость откликнулся: «Здравствуйте...»

«Чего стоишь, снимай свой сидор, разоблачайся...»

Приезжий стащил кепку-кемель с седеющей головы, сбросил лямки мешка, расстегнул куртку. Сидя на пороге, стянул с ног заляпанные глиной резиновые сапоги, размотал портянки.

«Так, – сказал хозяин. – Не узнаёшь? Сапрыкин», – и протянул жёсткую ладонь.

Это был нарядчик Сапрыкин. Ночным утром, когда высоко в редющих облаках пряталась бледная луна и дежурный надзиратель на вахте, сойдя со ступенек, бил кувалдой о рельсу, нарядчик шагал по трапу, входил в барачную секцию и стучал о нары обструганной доской с рукояткой, на доске был список бригад. С доской и карандашом стоял перед распахнутыми воротами, зычно выкликал номера бригад. Потом снова в поход по баракам, собирать отказчиков, гнать в санчасть, в бур – лагерную тюрьму; да, это был он, могущественный Степан Сапрыкин, царь и бог, и ближайшее лицо при князе-начальнике лагпункта.

«Не ждал, – спросил он, – что увидимся? А я тебя узнал».

Приезжий молча вынимал из мешка гостинцы, поставил на стол бутылку с красно-золотой этикеткой.

«Эге, – сказал Сапрыкин. – Марья! Давай, собирай на стол. Старый кореш приехал».

Время от времени она поднималась из-за стола, брала на руки плачущее дитя, вынимала большую белую грудь из расстегнутой блузки, садилась в сторонке, малыш сосал, отрывался от груди, тарасил глаза, мужики подливали друг другу.

«Стёпа...» – бормотал приезжий.

«Чего Стёпа...»

«Жизнь-то, а?»

«Чего жизнь?»

«Жизнь-то как повернулась...»

«Да уж так... Всё одно...»

«Это ты верно сказал...»

«Ты-то как?»

«Да вот, видишь...»

«Где живёшь-то?»

«В Москве, Стёпа, живу».

«Небось далеко пошёл».

«Да уж куда там. Ну, давай ещё по одной со свиданьем».

«Кирюха! – вскричал, точно спохватился, нарядчик. – Поцелуемся, что ли... Такая, брат, жизнь». И уже невозможно было понять, кто что сказал. Где ж мы его положим, пробормотала женщина. С нами и положим, выговорил хозяин. Нешто уместимся? – спросила она. Втроем лежали в тёмной избе, женщина посередине. Что-то хлопало, поскрипывало, постанывало в сенях и за окнами. Мужской голос пробормотал:

«Маша...»

«Спи».

«Маша, прости меня».

«За что тебя прощать?»

«За всё... Простишь? Иди ко мне, Маша...»

«При нём, что ль?»

«Он спит. – Земеля! ты спишь?.. – Маша, может, ты с ним хотела? Я не обижусь. Маша, он не слышит».

### 3

Ты погружаешься в тело женщины, ты там, тебя больше нет, и нет выхода, ты бредёшь в ночи, навстречу мерцающему огню, и на тысячу километров кругом ни единой души – леса и болота. Но когда странник подошёл к костру, оказалось, кто-то сидит, загородив пламя, в ушанке и телогрейке; он окликнул сидящего, и тот медленно повернул к нему корявое морщинистое лицо, чего тебе надо, спросил он; хочу с тобой поговорить, ответил скиталец; с кем это, возразил тот, нет меня, ступай откуда пришёл.

Странник сказал: я заблудился, позволь мне погреться, а кто ты такой, меня не касается, и знать не хочу, и спрашивать не стану... А впрочем, нет, знаю: ты тот самый Беглец, который *ушёл с концами*, сколько разных известий, разных *параш* я слышал о тебе. Не то форму украл, шапку со звёздочкой, солдатские портки, не то через подкоп, запаса я керосинчиком, и никто тебя не поймал, полил шаги керосином, собаки не взяли след. Но будто бы затосковал по лагерю и вернулся – сам, по своей воле. И тотчас никого не стало, путешественник один сидел возле угасающего огня.

Ночью захотелось по малой нужде. Приезжий выбрался из постели, ощупью добрался до двери, вышел из сеней на крыльцо. Небо очистилось и сверкало брильянтами звёзд, как в далёкие небывалые времена. В сенях, накрытое чистой дощечкой, стояло ведро, висел ковш. Он напился. Отворив дверь в избу, он увидел на столе огонёк, колпачок был отвинчен, ламповое стекло лежало рядом. Приезжий опустился на табуретку, сидел напротив женщины; некоторое время молчали.

«Вот такие дела...», – пробормотал он, и снова наступило молчание.

Она разглаживала рубашку на коленях, разглядывала ладони.

«Маша, – сказал он, – я ведь за тобой приехал».

В зыбке зашевелилось, застонало дитя, она качала кроватку, покачивала головой, приговаривая: «Ш-ш, ш-ш!»

«Маша, – проговорил гость. – Я жить без тебя не могу. Маша, поедем со мной».

«Куда?» – спросила она, усмехнувшись.

«В Москву».

«Чего я там не видала».

«Маша...»

«Ну». Так говорили здесь, когда хотели сказать: и что же? Что дальше?

«Возьмём с собой ребёнка».

Он добавил:

«У меня комната в Москве. (Она опустила голову). Маша. Ты ведь меня любила».

«Было дело», – сказала она.

«А теперь? Разлюбила?»

Она пожала плечами, еле заметно покачала головой.

Утром Сапрыкин встал мрачный, молчаливый. Нашёл остаток, опохмелился. Ели многоглазую яичницу с огромной чугунной сковороды, друг на друга не глядели.

«Чего уж там, – сказал хозяин, вставая, – давай провожу тебя».

## L Суд

День без числа<sup>3</sup>

География карательных, наблюдательных, исправительных, или как там их следует называть, учреждений ещё ждёт своего Страбона. В новой повестке стоял не Кузнецкий мост, а какая-то неслыханная улица. В отчаянии писатель думал, что его так и не оставят в покое.

Зато войти внутрь не составляло труда: никаких проходных, никто не спрашивает пропуск. Снаружи здание казалось не таким огромным. В действительности это был лабиринт. Плетёшься по длинным сумрачным коридорам, сворачиваешь в другие коридоры, поднимаешься на другой этаж, снова спускаешься, и всякий раз видишь в окнах на лестничных площадках другие улицы, если не вовсе другой район. Возможно, несколько зданий были соединены друг с другом. Писатель всматривался в таблички на дверях, на русском, но непонятном языке, толкнулся раз-другой наугад, там шли важные заседания, оттуда махали руками, требуя, чтобы ты не мешал. В другие комнаты вовсе невозможно достучаться. Изредка кто-то выбегает с озабоченным видом, с папкой под мышкой, служащие снуют по коридору, что-то показывают рукой на ходу, никто не отвечает на твои вопросы. Ты стоишь в замешательстве перед доской объявлений, здесь всё как обычно: инструкция на случай пожара, список злостных неплательщиков членских взносов, распределение путёвок.

Ты вошёл в зал, свет бил из окон, мешая с порога разглядеть сидящих за длинным столом на помосте под портретом правителя. Пятеро в масках, что навело на мысль о тайном судилище, шестой посредине, это был человек с голым черепом, на котором играли блики, с лицом скопца, в судейской мантии, наброшенной на плечи, – по-видимому, председатель. У торца сидел секретарь. Маски разных цветов были, как выяснилось, женщинами.

Публики не было, стояли ряды пустых стульев. Подойдя к помосту, писатель слегка поклонился. Подскочил секретарь, принял от него большую, свёрнутую в трубку и перевязанную шёлковой ленточкой, словно почётная грамота, повестку. Писатель сел в первом ряду.

«Я не разрешал вам садиться», – заметил председатель.

Он развязал ленточку, внимательно изучил повестку, развернул папку с делом и проверил установочные данные: фамилия, имя, отчество, год рождения и так далее. Прежние судимости?

Писатель не понял.

«Я спрашиваю, – терпеливо сказал председатель, – были ли вы раньше под судом?»

«Нет».

«Неправда, – возразил председатель, – вы были репрессированы. Здесь имеется справка об освобождении. Вы были осуждены по статье...»

Он зачитал документ.

«Видите ли, это было Особое совещание. Так называемая тройка. – Писатель, стараясь улыбаться, процитировал Гоголя: – Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка...»

«Семёрка», – поправил кто-то.

«Туз, – сухо сказал председатель. – Попрошу отвечать на вопросы. Итак, вы были судимы?»

«Заочно. Решение принималось по списку, а осуждённому предъявляли бумажку, надо было только расписаться».

---

<sup>3</sup> Гоголь.

«Это известно, можете не объяснять. Правда, карточный термин слышу впервые... Но как бы то ни было! Это были другие времена, и незачем вспоминать», – заключил человек в мантии, упустив из виду, что он только что спрашивал о них. Он захлопнул папку, склонил блестящий череп направо и налево: будут ли вопросы к подсудимому?

«У меня вопрос, – сказала чёрная маска, крайняя слева. – Как по-вашему, что самое главное в жизни?»

Писатель развёл руками. Надо бы ответить, подумал он, любовь к родине.

«Литература, – сказал он и тут же пожалел, вспомнив, что всё, что не разрешено, запрещено. – То есть... я хочу сказать... – он запнулся. – А вы как думаете?»

«Вопросы задаём мы, – сказал председатель. – В виде исключения я отвечу. Самое главное – это любовь».

«К родине», – добавил писатель.

«Оставим политику. Просто любовь. Не правда ли?»

Маски дружно закивали.

«Прошу», – наклонил голову председатель.

Чёрная маска заговорила:

«С вашего позволения, я начну с мелкого, но, на мой взгляд, характерного факта. Всякий раз, когда он бывал у меня, а это происходило каждый день, он залезал с ногами на диван. Мне надоело напоминать ему, что я на этом диване сплю... Это первое. Во-вторых, когда я ему что-нибудь рассказывала, он смеялся надо мной. Например, был случай, когда мне нанёс визит мой дальний родственник, Козлов. Это была купеческая семья, с которыми породнились Тарнкаппе. Между прочим, название переулочка...»

«Ясно. Но суд рассматривает вопрос о любви».

«Вот именно! Речь идёт о любви... Когда я ему рассказала об этом визите, он заявил... – маска всхлипнула, – заявил, что всё это мне приснилось!»

«Успокойтесь, – мягко сказал председатель. – Мы вас слушаем».

«Я его любила. Как сына, как внука... И вот такой ответ. Я вам скажу, в чём дело... – Шёпотом: – Вы не поверите. Он любил другую женщину».

«Кого же?»

«Девушку в бокале шампанского. У меня была картина одного немецкого художника...»

Голый череп председателя повернулся к секретарю:

«Надо эту девушку вызвать».

Секретарь, вполголоса:

«К сожалению, невозможно. Это картина».

«Так, – сказал председатель. – Свидетельница показывает, что у вас была связь с нарисованной женщиной. Что вы на это скажете?»

Что можно было на это ответить? Сумасшедшая.

«Я бы всё-таки хотел, – сказал писатель, – чтобы всё было по закону. Почему мне не выделили защитника?»

«Ваша просьба отклонена. Адвокату здесь нечего делать. Ведь приговор, – добавил, улыбнувшись, председатель, – по существу уже вынесен».

«Как это, вынесен. Зачем же тогда вся эта канитель?»

«Бестактный вопрос. Я бы сказал, оскорбительный для суда. – Человек в судейской мантии молча, подняв брови, смотрел на подсудимого. – Не ожидал от вас, – сказал он. – Чтоб это было в последний раз!»

Он обратил взор на другой конец стола. Красная маска заволновалась, послышался хриплый прокуренный голос.

«Чистая фантазия. А если начистоту, я эту ведьму знаю. Картина такая, действительно, была. Порнографическая картинка, прямо скажем. Но дело-то в том, что...»

«Что вы можете сказать о подсудимом?»

«Я его любила, а он оказался неблагодарной свиньёй».

«Так я и знал, – пробормотал писатель. – Никто тут не скажет обо мне доброго слова... вы специально их подобрали».

« Попрошу не перебивать свидетельницу».

«Я его приютила, хотя это было опасно. Люди-то, сами знаете, какие, я имею в виду соседей. Нагрянет милиция, и что я скажу?»

«Ты же говорила, – не выдержал писатель, – что начальник милиции тебя знает. Это я тебя предупредил, а ты только смеялась... Она не меня любила, а мой... пардон... – Писатель хлопнул себя внизу. – Она приучила меня к наркотикам... А потом бросила!»

«Я? бросила?!.. А ты забыл, что было с Алексеем Фомичом?»

«Кто такой Алексей Фомич?»

«Это её содержатель. Комсомольский руководитель высокого ранга».

«Фамилия? Надо вызвать его», – сказал, отнесясь к секретарю, председатель.

«Поздно! Нет моего дорогого Алексея Фомича. Это он его убил! Убил, а сам смылся. Мне пришлось отвечать...»

«Да как ты смеешь!..»

«Предупреждаю, если вы ещё раз позволите себе перебивать...»

«Что? что вы можете со мной сделать? – плача, выкрикнул писатель. – Со мной уже всё сделали... Проклятая жизнь, – бормотал он. – Проклятая страна...»

«Если вы ещё раз... Вы будете выведены из зала».

«Х-ха. Сделайте милость!»

«Заседание продолжается, – выдержав паузу, величественно сказал председатель. Писателю: – А вам советую выбирать выражения. Проклятая страна... как это у вас язык повернулся сказать такое!»

Последние лучи солнца блестели на его черепе. Он обратился к зелёной маске:

«Ваша очередь».

Маска молчала.

«У вас есть претензии к... этому господину?»

Она кивнула.

«Пожалуйста».

«Я женщина. Баба, по-простому говоря».

«Так. И... и что же?»

«Ничего», – сказала зелёная маска.

«Мы вас слушаем, – мягко сказал председатель. – Вы хотели что-то сказать суду. Что вы хотели сказать?»

«А то, что не каждому такая баба достанется».

«Вы хотите сказать – такая, как вы? Он вас не оценил?»

«Он ходил в деревню. Ко мне ходил, ночью».

«Как, будучи заключённым?»

«Он был бесконвойный. Ну и пользовался, что никто не видел».

«Следовательно, ещё одно грубое нарушение закона. Внесите, – сказал председатель секретарю, – соответствующее дополнение в обвинительное заключение... Продолжайте, мы вас слушаем».

«Да я не о том. Вот он, значит, ходил ко мне в деревню».

«Как называется ваша деревня?»

«Кукуй».

«Красивое название, – сказал председатель. – Далеко?»

«Что далеко?»

«Далеко ли он ходил к вам?»

«Недалече. Вёрст восемь будет. А ночи были чудные, звёзды, словно брильянты, глаз не оторвёшь!»

«Вы очень поэтически выражаетесь... Если я вас правильно понял, вы чувствуете себя оскорблённой. Чем он вас обидел?»

«Ради этого только и ходил».

«Ради того, чтобы любоваться ночным небом?»

«Люди не видали, а Бог всё видит», – сказала маска, и все согласно закивали.

«Хгм... – Председатель суда прочистил голос. – И так?»

«Это бывает, у некоторых душевнобольных, – заметил писатель. – Когда они слышат голоса, и все их в чём-то обвиняют, ругают...»

«Это вы о свидетельнице?»

«Да при чём тут свидетельница. Я хочу сказать, это бывает. Но я ведь не сумасшедший».

«Если бы он любил, – лепетала маска, – а у него только одно на уме... Придёт, и сразу – давай, ложись».

«Вы хотите сказать... э?»

Маска не слушала.

«Я-то была... какая я была, о-ох! Да на меня заглядеться можно было! Глаз не оторвёшь! Молодая, ядрёная. Шея как у царевны-лебеди. Груды белые, круглые, в руки возьмёшь – словно пышки. Словно мне семнадцать лет, а соски как у зрелой бабы, словно вишни, высокие, сладкие... Вот здесь, – маска показала на талию, – тоненькая, как девушка, а бёдра! Широкие, пышные, и передница, и задница, прости Господи, да ведь только Бог один может такое создать; а самая-то сладость, она внизу, она не видна. Нежная, розовая, глубокая – пропадёшь!»

Председатель снова откашлялся.

«Вы... – проговорил он, – ближе к делу, ближе к делу...»

«То ли ещё бывало... Мы с ним и в баню ходили. Сама для него топила».

«Что за чушь, – пробормотал писатель, – какая там баня, это уж ни в какие ворота не лезет...»

«Чего там говорить, – неожиданно спокойно сказала маска. – Бросил он меня. Попользовался и бросил. А я уже была чижолоя».

Наступило молчание. Председатель взглянул на секретаря, тот показал на нетерпеливо ёрзавшую розовую маску.

Послышался слабый голосок:

«Я... я хочу тоже сказать...» – и она расплакалась.

«Деточка моя, – ворковал председатель, – ну полно, полно... успокойтесь. Мы вас внимательно слушаем».

Маска хлюпала носиком поднесла к глазам под маской скомканный розовый платочек.

«Он нанёс мне жуткое оскорбление!»

«Ага, – оживился председатель, – какое же оскорбление?»

«Мне стыдно», – пролепетала она.

«Не надо ничего утаивать. Расскажите всё суду».

«Мы вместе учились».

«В университете, если не ошибаюсь?»

«Да. Он за мной ухаживал».

«Та-ак... и что же?»

«Ухаживал, ухаживал, и... и ничего. Сколько можно ждать? – закричала она. – Я спрашиваю!»

«Чего ждать?» – не понял председатель.

«Как это, чего! Вы что думаете, я первая должна?.. У меня есть гордость! Сам должен знать!»

«Простите, кто? Кто должен знать?»

«Он! Он мою девичью гордость оскорбил. Мою стыдливость. Я же не бревно! Я хотела ему принадлежать. А он? Он даже ни разу меня не обнял!»

«Неправда, – неожиданно войдя в зал, сказала девушка по имени Аглая. Она была без маски. – Он только делал вид. На самом деле он был влюблён в меня!»

«Ты? – вскричал писатель. – Как ты сюда попала?..»

«Позвольте, позвольте... – лепетал председатель. – Попрошу к порядку!»

«Минуточку, я сейчас всё расскажу», – сказал писатель.

«Нечего рассказывать. Он был недостоин моей любви».

«Вот: это она. Она стучала на меня!»

«Идиот, тебе это приснилось».

«Наденьте маску. И сядьте», – сказал секретарь.

Она возразила:

«Пошёл ты, знаешь, куда?» И больше её не было.

«Есть ли ещё вопросы?» – осведомился председатель.

Никто не откликнулся.

«Слово предоставляется...» – он покосился на последнего свидетеля, это была полосатая маска, крайняя слева. Она не дала ему закончить.

«Совсем заклевали парня!»

«Так ему и надо», – заметил кто-то.

Главный судья спросил:

«Вы были с ним в связи?»

«Ну, была, – сказала маска, поправляя на лице съезжающую маску. – Плохую дали», – пробормотала она.

«Простите?»

«Маску, говорю, никудашную дали...»

«Мы вас слушаем», – мягко сказал председатель.

«Не знаю... рассказывать, что ли. Али нет?»

«Говорите, говорите!»

«Он приехал. А кто такой, никто не знает. Ну, живи, коли приехал... А на самом деле, оказывается, сбежал».

«Сбежал, откуда?»

«А бес его знает. Должно, от суда спасался. В бегах».

«Так. Мы это выясним. Продолжайте».

«У Колбасовых жил, на огородах. Я с ним и спозналась. Вот он и стал меня уговаривать: давай, говорит, убьём старика, Егория Петровича, а дом продадим. Я, как дура, уши развесила».

«Вы стали его сообщницей?»

«Да какая там сообщница. Я его любила, а он...»

Председатель барабанил пальцами, переглядывался с секретарём. Тот делал отчаянные знаки, стучал пальцем по ручным часам.

Председатель вознёс голову, возвестил:

«Слушание дела откладывается в виду вновь открывшихся обстоятельств!»

Тут он увидел, – все увидели, – на скамьях для публики сидит ещё кто-то. Белая, как снег, маска поднялась и зашагала к столу.

«Наше время истекло, – сказал председатель, – вы имеете что-то добавить?»

Маска медленно сняла с себя маску, и все увидели, что лица под ней нет. Что же там было? Ничего.

«Нет! – завопил председатель суда и попытался встать с места. – Кто разрешил? Кто она такая? Я не приглашал. Немедленно вывести. Здесь не театр! – кричал он, отбиваясь от удерживающих. – Здесь не сумасшедший дом!..»

Началась суматоха, маски повскакали с мест, председатель лежал на полу между стульями, закатив глаза, и кто-то делал ему искусственное дыхание. Публика, которую не пускали, вломилась в зал, и всё смешалось.

## **LI Unzeitgemäße Betrachtungen<sup>4</sup>. Литература как способ покончить с собой**

Снова день без числа.  
Вероятно, после 70-х годов.

### **1**

Поистине странное свойство литературы, чтобы не сказать – коварство, состоит в том, что всё, в том числе и мысли о литературе, она превращает в материал для самой себя. Весьма тривиальная мысль, но надо было, думает он, добраться до неё самому.

Литература делает сочинителя похожим на паука, который вытягивает из себя нить, покуда не израсходуется весь до конца, и вот висит, покачиваясь на ветру, иссохший, прозрачный, посреди своей сети.

Или он становится похож на того царя, наказанного за жадность, у которого всё, чего бы он ни коснулся, превращалось в золото, и он умирает голодной смертью. Литература – это эрзац самоубийства.

Писатель поймал себя на том, что в этих размышлениях есть нечто утешительное. И что разглагольствовать о литературе много приятнее, чем писать.

Лёжа на раскладушке, как Марк Аврелий в солдатской палатке, он предаётся философским мечтаниям и чувствует себя, надо признаться, чрезвычайно уютно. Можно оценить преимущества своего положения: никто больше не покушается на его одиночество, никто не спрашивает документов, и никто не гонит на работу. Он вспомнил, что где-то читал о том, что обезьяны умеют говорить, но молчат, чтобы люди не заставили их работать. Умницы! С точки зрения социалистической морали он был тунейдцем. Тем не менее участковый оставил его в покое. Начальство забыло. Тишина и удобная поза настроили на возвышенный лад; мысли текли, как спокойный ландшафт перед глазами путешественника, он даже задремал на короткое время, не переставая, однако, размышлять; и если не решался, в силу известного суеверия, назвать себя счастливым, то, по крайней мере, понимал, в чём состоит счастье, одинаковое для улитки и человека. В том, чтобы, отряхнув всё внешнее и ненужное, обрести убежище в самом себе. Или, что то же самое, в идеальном представлении о литературе.

Литература превращает всё что угодно, политику, историю, религию, мораль – в средство. В средство для чего? Для себя, ответил он. Литература срезает на корню, как срезают гриб, чтобы бросить его в лукошко, любые догмы и верования. Ко всем этим ужасно серьёзным вещам она относится так, как женщины относятся к разговорам о высоких материях: ведь обыкновенно женщин гораздо больше занимает, кто говорит, и как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. В этом заключается её радикальная безответственность; литература подотчётна чему-то другому: самой себе.

Литература предстала перед ним чуть ли не платоновской идеей. Некая вневременная сущность, одетая в текст. То, что мы сочиняем, – её более или менее несовершенные воплощения.

---

<sup>4</sup> Несвоевременные размышления (Ницше).



## 2

Он и сам, без сомнения, заметил, что переселился со своим скарбом в собственный роман. Будь он женат, он захватил бы и жену, а так приходится тащить с собою любовниц. Так он сделался персонажем призрачного зазеркального мира.

В этом мире слов и фраз он ведёт себя так же, как вёл себя в действительном мире: он влачится по воле обстоятельств и, как это свойственно слабым натурам, время от времени бунтует – таковы его «побеги». Но каждый такой побег есть не что иное, как попытка уклониться от обстоятельств, вместо того чтобы встретить их лицом к лицу. В сущности, это бегство от жизни.

Само собой, ему хочется верить, что если он не находит себе места в обществе, то виной этому гнусное общество. Виноват, однако, он сам – в том, что он не нашёл в себе мужества подняться над ним, каким бы ни было это общество.

Его неудачи – очевидное следствие его бесхарактерности. Он прав, называя себя «некто». Такие люди бывают упрямы, вот почему он долбит своё – пишет, пишет, и всё без толку. Да, таков он, этот герой, с его желеобразной, как студень, биографией.

Отсюда зыбкость его самосознания. Этот Некто чувствует себя неуверенным; избегая местоимения «я», предпочитает обращаться к себе от имени Другого и больше всего любит говорить о себе в третьем лице. Погружаясь в сумерки своего сознания, он теряет границу между кем-то другим и самим собой. Поистине есть что-то раздражающее в этом отсутствии твёрдой почвы; всё повествование становится ненадёжным. Вывод неутешителен: абсолютной, незыблемой и несомненной действительности в его романе, как в кабинете зеркал, не существует.

## 3

Вместо того чтобы отдаться своему воображению, он дрессирует его, и оно, как учёный медведь, покорно проделывает все штуки, каких ждут от него. Вместо того чтобы честно воспроизвести свои сны, он подправляет их, не слишком заботясь о верности своих имитаций. Он раб своего интеллекта, который «лучше знает», что такое сон, и диктует свои указания воображению.

Подсознание, едва лишь он пытается его осознать, становится артефактом; сон денатурируется, как белок под воздействием кислоты, едва только, пробудившись, ты спешишь зафиксировать его на бумаге.

То-то и оно, что все попытки отказаться от вмешательства разума напрасны, ибо мы не в состоянии обойти его алгоритм – грамматику; мы не можем выразиться иначе, как при помощи языка; автоматическое письмо – сапоги всмятку; «поток сознания» оборачивается всё той же литературой; задача преодолеть деспотизм грамматики внутри самой грамматики и освободиться от контроля рассудка, не теряя рассудка, – кажется неразрешимой.

Психоделик, о котором – о, как давно это было, – рассказывала Валентина, которым однажды, один-единственный раз, угостила (опыт, впоследствии вычеркнутый из романа), не освободил его от сознания, но лишил обособленной личности и разрушил привычные связи между вещами. Это не был тот дивный сон, который она обещала любовнику, и не рай, воспетый Бодлером, но какое-то особое бодрствование. Бывший заключённый, он воспользовался привычной метафорой: сознание вышло на волю из тюремной камеры своего «я». Это было внеличное сознание, присущее разве только божеству. Возможно, и она переживала на свой лад нечто подобное.

В этом состоянии они любили друг друга; комната превратилась в подвал без стен, в трюм океанского корабля, где плескались волны; возлюбленная отождест-

вилась со снадобьем, он – с действием снадобья; она стала мужчиной, сам же он ощущал себя огромным влагалищем; он лежал внизу, на дне корабля судеб, до отказа заполненный ею, закупоренный огромным фаллом; но фаллом был и он сам; она находилась внутри, но и он каким-то образом оказался внутри, – разрешение не наступало, и они лишь измучили друг друга.

## 4

Нетрудно заметить, что, пытаясь оправдать свою бесхребетность, он ищет и находит алиби: это – «эпоха». Он чувствует, как зловонное дыхание века обдаёт его прозу. Некогда, говорит он себе, герой романа был субъектом истории, а теперь он лишь её жертва. Смешно и подумать о том, чтобы противостоять абсурду: мутный поток истории сбивает повествователя с ног. Романист прыгает по камням, мечтая добраться до берега, – тщетная надежда!

В чём же, спросил он, оправдание твоей разлохмаченной жизни, в чём её смысл? В литературе? Он пожимает плечами. Может быть, в любви? Ответа нет. И он задаёт себе (правильней сказать – тому, другому, сибариту на соломенном тюфяке) нелепый вопрос, был ли он достоин женской любви.

Как выглядел он в глазах женщины? Худой, костлявый – вызывает сострадание. Скрывающий своё прошлое – пробуждает любопытство. Высокий, выше среднего роста – что даёт основание рассчитывать на большой член. Неловкий, робкий, стеснительный, не умеет подать себя, не в силах себя защитить, ничего в жизни не добился. Пробуждает материнские чувства. Из тех, кто, сам того не ведая, ждёт, когда им завладеют.

## 5

Только что ты сказал: мы любили друг друга; двусмысленное выражение. Как ров с водой и стены окружают рыцарский замок, так замок любви защищён от того, что обозначается этим же словом, но – вовсе не любовь. Таково противостояние любви и секса в осаждённой душе подростка. Но оправдывать платоническую любовь, когда тебе пошёл уже который по счёту десяток? Любить состояние влюблённости, а не ту, кто стала твоей избранницей?

Он вновь расписывается в своём безволии. В своей трусости. Ибо что же иное боязнь совокупления, как не бегство от жизни?

Любовь, думает он (и вспоминает увлечение глупенькой Наташей), это смесь поклонения и страха: поклонения девической прелести и страха соединиться с ней. Можно было бы сказать, что любовь – это избирательная импотенция. Означает ли это, что, *vice versa*, отвага, с которой мужчина овладевает женщиной, выдаёт недостаток любви? Мы во власти мифа, в каком-то смысле необходимого для мужской души и который кастрирует мужчину психологически, – мифа женской неприкосновенности и возвышенной чистоты. Любовь, говорит он себе, – это смесь поклонения и боязни оскорбить любимую покушением на её плоть. Итак, ничего не изменилось со времён Платона, вновь и вновь мы противопоставляем небесную Афродиту площадной, мечту и плоть, верх и низ.

Эти женщины, думает он (и вспоминает «суд»), воображают, будто они живут собственной жизнью; попробуй-ка возразить, что они существуют лишь в твоём воображении; но, в конце концов, и сам я, не правда ли, – плод моего воображения. Эти женщины правы; в сущности, это была всегда одна и та же женщина, которая хотела одного и того же – невозможного: чтобы её любили «не просто так», а в постели, но и не просто хотели с ней переспать, а чтобы это была любовь; развести любовь и соитие она не могла. Оттого ли, что женщина – цельное

существо, в противоположность мужчине? Оттого ли, что двусмысленность, игра в прятки, искусство обнажиться, оставаясь одетой, – главная черта её природы? Или, наконец, оттого, что эта двусмысленность, двуязычие жестов, улыбок, взглядов не противоречит её цельности? И когда оказывается, что примирить ангельское и зверское невозможно, она воспринимает это и как надругательство над чувством, и как унижение плоти. Высшая тайна любви оказывается вполне банальной. Но стоит только её разоблачить, как банальность оборачивается – тут он вспомнил Машу, и ночную дорогу в лесу, и сверкающий ковш Медведицы – тайной.

6

Суд, происходивший на самом деле, то есть в романе, заставил его задуматься, удалось ли ему взглянуть на женщин их собственными глазами. Недостижимая цель литературы – ведь для этого нужно было отказаться от собственного языка. От того языка, которым мы только и располагаем. Есть ли у женщины собственный язык? Всё, что рассказывается в романах, рассказывается мужчиной, а если рассказывает женщина, то и она пользуется мужским языком. Означает ли это, что женщина непознаваема? Или – что она говорит языком, который вовсе не язык и подобен сновидению, где всё подчинено абсурдной логике, где смысл бессмыслен и всё пронизано не поддающимся описанию чувством? Или её попросту нет? Только ради Бога, никакой мистики. Будем довольствоваться как рабочей гипотезой презумпцией её существования. Будем считать, что мы имеем дело лишь с ролями – матери, любовницы, куртизанки, – которые она разыгрывает перед зрительным залом мужчин. Романист, сказал он себе, может лишь подражать женщине, как артист на женских ролях, как ловчий свистит голосами птиц.

Он вспомнил первое в его жизни столкновение с этой загадкой: то была девушка в бокале шампанского. Поразительно, что она сразу явилась тебе во всём своём естестве. Нагота не должна была оставить никаких секретов. На самом деле – теперь он это хорошо понимает – она-то и захлопнула перед ним врата тайны. «Comment la trouvez-vous, cette peinture?» Как тебе нравится эта картина? Что он мог ответить? Впервые она заставила мальчика почувствовать, что здесь «что-то не то». Другими словами, почувствовать себя – до всякого вожделения – мужчиной.

Ему пришло в голову, что если при каждой встрече с незнакомой женщиной его мозг мгновенно, как при вспышке магния, фотографировал сцену обладания, то смысл этого обладания можно переписать иначе: он искал поселиться в ней. То, что именовалось жилплощадью, во имя которой сражались всю жизнь, было не чем иным, как женщиной! И расплатой за право жительство был он сам, точнее, фаллос, его единственное богатство. Ему вспомнилось, как, бездомный и бесправный, в лагерном одеянии, он явился на старую квартиру, и его встретила Валентина. Вспомнилось и тёмное осеннее утро в тот день, когда им предстояло отправиться на поклон к всемогущему Алексею Фомичу, и как, нежась в постели, она жадно разглядывала этот предмет, эту его суть, играла с ним, словно кошка с мышью перед тем, как насладиться своей добычей. Значит, любовь – это кража? Его подруге хотелось в буквальном смысле слова похитить его член, сделать так, чтобы он навеки остался в ней, и наслаждение плоти, наслаждение властью хозяйки своих хором, собственницы и госпожи, не прерывалось бы никогда.

Любил ли он её в самом деле? На первый взгляд, то же повторилось и с Машей. Он был из тех мужчин, которые ищут убежища. Каким счастьем, блаженным концом блужданий казалось – войти с мороза, захлопнуть тяжёлую дверь, сбросить своё рубище и лечь, и накрыться с головой, и обнять любимую женщину, единственную, наконец-то обрётённую, и поселиться с ней в тёплой, тёмной избе, и забыть всё на свете!

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## LII Вне всякого сомнения новые времена

16 мая 1991

В одно прекрасное, нежно-перламутровое утро летописец отправился на вокзал встретить поезд, прибывающий с северо-востока. Отворились двери вагонов, усталые пассажиры запрудили перрон. Его толкали. Он покорно двинулся вслед за толпой.

О, теперь-то мы понимаем, как опасны посягательства на суверенность памяти, попытки диктовать ей, исправлять её ошибки. Обновлять прошлое? Какая это, в сущности, неаппетитная процедура – выволакивать мертвеца из могилы, с его фанерным чемоданом, в рыжих лагерных валенках, оставляющих мокрый след, – вон он, единственный среди живых: там, на вокзальной площади, протягивает трёшницу таксисту, чтобы тот не сомневался. Четверть часа комфортабельной езды по пустынному в этот час Садовому кольцу, и – и что же? На каждом шагу он уличал свою память в подделках и подтасовках: вошёл в подъезд, но это был не тот подъезд, нажал на кнопку звонка и услышал чужой, незнакомый звук.

Сколько лет прошло с тех пор... Всё изменилось. Многим кажется – наступила новая эпоха. И, однако, он выбрал всё тот же Курский вокзал, повинуюсь таинственному зову, который влечёт преступника на место преступления. Он ознакомился с расписанием пригородных поездов. Покинув вокзал, он высадился на станции метро «Кировская», и пожалуйста: название это доживает последние дни. Он свернул в переулок Мархлевского, там, где улица Кирова делает перегиб (в нашем городе прямых улиц не бывает), отыскал нужную вывеску и, войдя, спросил: кто такой Мархлевский? На что последовал лаконичный ответ: *х... его знает!*

Да, время обновилось. Время, как старый пиджак, перелицовано. Возлагал ли старый писатель на своё предприятие серьёзные надежды? Приходится признать: да, возлагал. Кто подал ему эту замечательную мысль? Не мог же он сам сообразить. Клиент извлёк из портфеля пухлый манускрипт. Пять экземпляров (для начала хватит). Нет, лучше восемь. Он получил восемь ксерокопий, вышло довольно дорого. Теперь в переплётную мастерскую.

На другой день он опять стоял у выхода на перрон, и опять это наваждение, поезд из Котласа, пассажиры выбирались из тесных вагонов, вытаскивали багаж; *опять, как в годы золотые*,<sup>5</sup> беспаспортный путешественник в национальном одеянии – ватном бушлате, вислых ватных штанах, рыжих валенках, ушанка на стриженной голове, – влачил перевязанный верёвкой чемодан, и бравый милиционер выудил его из толпы.

После чего аппарат остановился, и катушки завертели в обратную сторону, время поехало вспять, толпа отшатнулась, и он с ней, пятась, поднялся по ступенькам вагона, протискивался задом наперёд с чемоданом к своему месту, состав, толкаемый сзади локомотивом, набирал скорость. Пассажир лежал, качаясь, под потолком, на третьей, багажной полке, и оттуда показывал контролёру свою справку: *видом на жительство не служит, при утере не возобновляется*, и фотография каторжника, и лихие росчерки начальств. Кинематограф памяти негромко жужжал, крутились бобины, стрелки вращались на циферблате века, время уехало прочь, туда, откуда прибыл поезд; тёмным утром в бараке догорает тусклая лампочка над столом дневального, стриженные головы поднимаются на нарах, нарядчик

<sup>5</sup> Блок.

с доской учёта стоит в дверях, и загробный голос на столбе вещает о том, что Великий Ус отдал концы.

Усмехаясь, писатель-фантаст перешёл через подземный туннель на платформу пригородных поездов. О да, старый проектор века выброшен на свалку, историю спустили в сортир. Что бы мы делали, не будь этих канализационных труб, по которым, невидимые, плывут и пузырятся нечистоты прошлого! Не стало больше ни бушлата, ни валенок бе-у: на тебе была шляпа, что само по себе говорит о многом. В пиджаке и несколько криво повязанном галстуке писатель был похож на отставного бухгалтера, на бывшего актёра из провинции, пожалуй, и на исписавшегося литератора. До Орехова-Зуева меньше двух часов; он думал воротиться в послеобеденные часы.

Занял место у окна в последнем вагоне. По утрам народ едет по большей части в город, а не из города, он надеялся начать поход в полупустом поезде, но из вокзального помещения повалил народ. Предприниматель ждал, когда рассосётся толпа, электричка неслась, оставляя позади пригородные платформы и полустанки, вереница пассажиров всё ещё тянулась между скамьями из вагона в другой вагон. Писатель стоял с сумкой через плечо у передней скамьи. Ну-с... — он прочистил горло. «Уважаемые граждане!» — начал он срывающимся от волнения голосом, доставая из сумки товар.

«Уважаемые пассажиры...»

Взять себя в руки. Смелее. Оптимистичней.

«Вашему вниманию предлагается новая книга, роман известного современного автора... — он назвал своё имя, — пока ещё не изданный. Эпохальное произведение о нашем трудном переходном времени».

Писатель вознёс над головой своё изделие. Пассажиры, уже привыкшие к вагонной коммерции, казалось, не слышали его речь. Лишь кто-то сидевший близко от входа, повернув голову, спросил: «Самиздат, что ль?»

«Зачем же самиздат? — сказал писатель. — Эти времена прошли».

«Ну это ещё как сказать, — откликнулся голос. — А ну, покажь».

Вот уже и первый покупатель.

«Остросужетный роман, действие происходит в широком диапазоне времени... Читается захватывающе...»

Колёса стучали, неслись голые поля.

«Почём?»

«Что почём?»

«Сколько, говорю, хочешь за свой роман?»

Писатель, стесняясь, назвал цену.

«Ишь ты, — заметил пассажир, листая самодельную книгу. — Больно уж много вас тут...»

«Кого?»

«Много вас, говорю, развелось, — сказал пассажир. — Держи». Он вернул книгу и отвернулся к окну.

Продавец двинулся между скамьями, размахивал книжкой, выкрикивал: «Широкая панорама истории нашей страны! Увлекательное чтение!» Кто-то окликнул его: «Папаш! А чего-нибудь повеселее у тебя нет?» Писатель возразил, что это труд всей жизни. «Агата Кристи есть?» Писатель никогда не слышал это имя. Нет, сказал он. «Ну и хрен с тобой». Так он прошёл всю электричку, пассажиры вставали, сходили, вместо них входили и усаживались другие; усталый, он присел на свободное место, сумка с нераспроданным товаром стояла у его ног.

Прогремел мост через реку, поезд замедлил ход. Остановились у пустынной платформы. Взглянув рассеянно в окно, он увидел табличку с названием остановки. Похоже, он был единственным, кто выбежал из вагона. Поезд мягко тронулся и покотился, поблескивая стёклами вагонов.

### LIII Князь и девушка

16 мая, около полудня

Бор за эти годы изрядно поредел, погрязнул, окурки, жестянки, грязный целлофан валялись там и сям вдоль дороги. Посёлок разросся, и всё же писателю показалось, что тут мало что изменилось; он сказал себе, что это симптом старости, капитуляция перед прошлым; думаешь, что бредёшь по пустырям нового времени, а на самом деле это была всё та же оптика воспоминаний, нечто подобное обратной перспективе: отступая, прошлое становилось всё назойливей. Стало тепло, путник обмахивался шляпой. Наконец, он отыскал дачу.

*Знакомые, печальные места... Вот мельница. Она уж развалилась.*

Жалкое зрелище являл собой дом покойного Олега Двугривенного, окна заколочены посеребрившими досками, крыльцо сгнило и обрушилось, кровля в ржавых заплатах. От штакетника мало что уцелело, и кругом всё заросло крапивой.

*Стал жёрнов – видно, умер и старик.*

Как вдруг показался кто-то, хозяин вышел из-за угла.

«Здорово, мельник!» – смеясь сказал приезжий.

«Какой я мельник! Я ворон здешний!» – отвечал знаменитый литературный критик, но времена изменились. Теперь он был в длинной и неопрятной, сивой бороде, лыс, морщинист, в замызганной, с продранными локтями толстовке, коротковатых портах и разбитых ботинках.

«А ты – кто такой будешь?»

Писатель назвал себя. Бывший Олег Двугривенный изобразил напряжённую думу.

«Не помню. Зачем пожаловал?»

«Дедушка, мы ведь знакомы. Я у тебя был».

«Это когда же?».

«Я ещё роман свой приносил... помнишь?»

«Чего это ты меня на «ты» называешь?»

«Да ведь мы оба старики. Стало быть, не помните?»

«Может, помню, а может, не помню. Много вас тут было... Чего надо? Зачем пришёл?»

«Да, собственно, ни за чем».

«Ну и вали отсюда».

Разговор в этом роде продолжался некоторое время, после чего хозяин дачи сделал вид, что узнал, наконец, гостя, а может быть, и в самом деле вспомнил. Обогнув дом, пробрались с задней стороны в сени, писатель узнал деревянную лестницу, с потолочной балки свисал канат. Хозяин сбросил обувь и с непостижимой ловкостью вскарабкался наверх, ухватившись за канат, перебирая по ненадёжным ступенькам грязными ступнями с когтями вместо ногтей. Следом за ним полез приезжий.

«Прошу в кабинет».

Здесь по-прежнему стоял письменный стол и висел портрет. С этой стороны окна не были заколочены, пыльный солнечный свет прокрался в комнату. Гость окинул горестным взглядом весьма пострадавшую библиотеку.

Олег Михайлович пробормотал:

«Растащили всё, гады...»

«Кто?» – спросил писатель.

«Да мало ли кто. Я и сам кое-что продал. Жить-то надо... Вот, – сказал старец, показывая на бумаги под слоем пыли. – Работаю, пишу мемуары... А ты вроде бы тоже... писатель?»

«Вроде бы».

«Ну и как?»

«Да никак». Гость сидел на диване, поставив между ногами свою сумку.

«Написал чего-нибудь?»

«Чего-нибудь написал».

«Новый роман?»

«Не совсем. Вернее, всё тот же».

«Автор одного произведения. Хвалю».

Громко сопя, он занялся своей бородой, гладил, схватил в кулак, спросил:

«По вагонам ходишь?»

«Откуда вы знаете?»

«Многие ходят. Кто торгует, а кто и просто побирается. До чего мы докатились.

Это надо же. Какую Россию потеряли!»

«Какую?» – спросил гость.

Критик насупился.

«Великую, вот какую. Великую державу. И великую литературу... Что там у тебя?»

Писатель расстёгивал сумку.

«А-а, – сказал критик разочарованно. – Я думал, пожрать что-нибудь...»

«Может, сходить купить что-нибудь?»

«Куда?»

«Я видел магазин на станции».

«Х-ха. В этом магазине – шаром покати. Как и повсюду, впрочем. Докатились».

«Как же вы питаетесь?»

«А? Как питаюсь. Да вот так и питаюсь. Дочка обо мне заботится. Я продал мельницу чертям запечным. А денежки отдал на сохраненье...»

«Кому?» – спросил писатель.

«Дочке, кому же. Это чьи же творения, твои, что ль?»

«Я вам когда-то показывал...»

«Когда это? А, ну да. Ещё до всей этой заварушки?»

«Вы, как Фирс», – сказал писатель, продолжая литературный разговор.

«А? Кто?...»

«Фирс, у Чехова».

«Ну и что».

«Фирс говорит: перед несчастьем. Перед каким же это несчастьем? А он отвечает: перед волей».

«Подавиться бы им всем этой волей... Как же, помню, помню. Это ты тогда ко мне приходил? Ко мне многие ходили. Нужен был, вот и ходили... Какая-то автобиография, что ли?»

«Роман».

«А, ну да. И что же, пристроил его куда-нибудь?»

«Да вот он, – терпеливо сказал писатель. – Я его с тех пор переписал... кое-что добавил»

«Это как же так получается. Это, выходит, всю жизнь потратил, писал свою книгу, а теперь никто и читать не хочет!»

«Выходит, так».

«Вот до чего дело дошло. В рот их туда-сюда. Всё просрали! Ещё Розанов писал: не осталось царства, не осталось церкви, что ж осталось-то? Ничего! А кто виноват?»

«Не знаю. Никто».

«А вот я тебе скажу. Они! Они всё и порушили. Либералы проклятые. Ведь это надо же! Была великая страна, весь мир нас уважал. Извини, – сказал старик, – я это, как бы сказать, поиздержался. Не одолжишь ли мне... заимообразно...»

«Мы сейчас быстренько организуем, – бормотал Олег Михайлович, засовывая денежную бумажку глубоко в карман штанов, наклонился и вытащил откуда-то бу-

тылку. – Там ещё маленько осталось... – Явились и стаканы. – Только вот закусывать придётся, хе-хе, мануфактурой...»

«Ну-с, со свиданьем!» – сказал Олег Михайлович.

Выпили какую-то гадость.

«Ты не смотри, – продолжал он, – что я выгляжу не больно шикарно. Я тебе могу оказать содействие. У меня есть связи. Есть ещё порох в пороховницах. Знаешь что. Я за тебя похлопочу в нашем союзе».

Писатель спросил, что это за союз.

«Союз русских литераторов. Неужели не слыхал?»

Писатель сказал, что он один раз в жизни состоял в союзе. Вернее, в поэтической студии. Давно дело было.

«А! ты, значит, ещё и поэт!»

Гость покачал головой.

«Мы издаём журнал, – сказал Олег Двугривенный. – Хороший журнал, солидный. Патриотический журнал. То есть пока ещё не издаём, но дело на мази. У нас самые лучшие силы, те, кто болеет за державу. Большие русские писатели».

«Например?»

«Например... Какие ещё тебе нужны примеры! Потерпи малость. Дай срок. Мы ещё своё возьмём. Всю эту сволочь поганую – под ноготь! Вот так! Под ноготь! Ну, давай ещё по одной».

«Что это за напиток?» – спросил гость.

«Хороший напиток, не волнуйся. Только им и живу».

Волшебное зелье было, по всей вероятности, плохо очищенным самогоном.

Возвращаясь, писатель сбился с пути. За деревьями блестела вода. Оказывается, здесь был пруд. Он раздвинул кустарник, спустился к берегу. Это было большое озеро.

Подул ветер, и закачались камыши. Рябь бежала по воде. Кто-то купался в озере. Пошли круги, вынырнула мокрая девическая голова, показались худенькие плечи, ключицы, тёмные соски, она встала по пояс. Девушка из бокала. Путешественник разинул рот. Почти непроизвольно, повинувшись действию любовного напитка, он двинулся к воде и тотчас провалился в прибрежный ил.

*Откуда ты, прекрасное дитя?..*

#### **LIV Урок политической экономии. Главное – оставаться оптимистом**

16 мая

Зуево, ху...во, думал он, выходя. Народ спешил мимо. Коммерсант стоял с сумкой за плечами на опустевшем перроне. Его окликнули:

«Гражданин писатель!»

Услыжав такое обращение, ты невольно поёжился. Некто спешит навстречу, словно поджидал тебя.

«Гражданин писатель... можно вас на минутку?»

В чём дело, спросил приезжий.

«Вы, как я слышал, продаёте сочинения».

«У меня только одно сочинение, – возразил писатель, – хотите купить?»

«Мы вернёмся к этому вопросу», – ответил человек уклончиво. Он попросил разрешения представиться, осторожно осведомился: а вас как?

Романист смотрел на диск вокзальных часов. Обратный поезд уже стоял на соседнем пути. Как, воскликнул человек по имени Яков, – можно просто Яша, пояснил он, – вы уже возвращаетесь; по-моему, не стоит торопиться.

«А я думаю, стоит. Следующий будет только через два часа».



«Орехово-Зуево очень интересный город, – сказал Яша. – Красивый город».

«Орехово-Зуево меня не интересует», – сухо сказал писатель.

«Жаль. Я всё же попросил бы вас задержаться... ненадолго. Есть небольшой разговор. – Он добавил: – На коммерческие темы».

Писатель поплёлся следом за человеком к зданию вокзала. Вы, наверное, здесь никогда не были, говорил Яша, между прочим, этому городу не то триста, не то четыреста лет. Тут когда-то жил фабрикант Савва Морозов, слышали про такого? Они вошли, но не через главный вход, а в дверь за углом, где в небольшой комнате на двух скамьях ожидала компания, человек пять. Писатель попятился.

«Ну что вы, – сказал Яша, – вас никто не тронет. Поверьте, мы не грабители. Мы все здесь такие же, как вы... Присаживайтесь».

Писателя познакомили с Натальей Викторовной, попросту тётей Наташей, породной дамой, на вид не меньше сорока, не больше шестидесяти, в вязаной кофте болотного цвета и просторной тёмной юбке.

«Ты бы сбегал за...» – отнеслась она к Якову.

«Яволь. Айн момент», – сказал Яша по-немецки и явился через несколько минут с харчами и пивом.

Две скамьи были сдвинуты навстречу друг другу, на одной разложили бумагу с докторской колбасой, нарезали толстыми ломтями батоны, открыли две банки бычков в томате, расставили бутылки и картонные стаканчики. Тётя Наташа как старшая уселась подле импровизированного угощения, тут же посадили писателя, остальные расположились на другой скамейке.

Отворилась дверь, показалась блинообразная милицейская фуражка с новеньким латунным орлом.

«Афанасий Ильич, вы в самый раз, – промолвила тётя Наташа, – выпейте с нами за компанию».

Афанасий Ильич постоял, помолчал. Затем, приосанившись, принял из её рук полный стакан пенящегося напитка. Бодро опорожнил, прожевал ломоть хлеба, щедро нагруженный колбасой, утёр усы, напомнил:

«Распитие спиртных напитков в помещении вокзала строго воспрещается».

«Яволь», – откликнулся Яша, и милиционер удалился. Пир продолжался, руководила тётя Наташа, как выяснилось, актриса.

«Бывшая», – уточнила она.

«Вы больше не играете?» – спросил писатель.

«В некотором смысле нет, в некотором смысле да. У нас, знаете ли, всё стало театром. А вы, значит, посвятили себя литературе?»

В некотором смысле, отвечал писатель.

«Можно взглянуть?.. Хм, – проговорила она, – я думаю, это вам дорого обошлось. В смысле, бумага и прочее. Перепечатка тоже, наверно, недёшево стоила».

«У меня своя машинка».

«Вот как. Я вижу, вы состоятельный человек».

«Да какое там».

Тётя Наташа выразила понимание.

«Ксерокс, переплёт – кто вам всё это делал?»

«На улице Мархлевского... может, знаете».

«Слыхали».

«Жутко дерут», – заметил кто-то.

Наталья Викторовна проговорила:

«Как всё-таки всё изменилось. Ведь ещё совсем недавно, копировальный аппарат, Господи Боже! Всё было за семью замками».

«Запросто срок можно было схватить», – подхватил кто-то.

«Да, мы, можно сказать, свидетели великих событий... Извините за нескромный вопрос. Окупить расходы вам, по крайней мере, удалось?»

Писатель покачал головой.

«Ничего удивительного. Ведь правда?» – она оглядела коллег. Компания помалкивала, сосредоточенно доедала яства, допивала питьё.

«Вы, как я понимаю, новичок».

«В литературе?» – спросил писатель.

«При чём тут литература – я имею в виду торговлю».

Романист сделал неопределённый жест.

«Не буду вас мучать загадками. Мы тут все торговцы. По разным причинам – вы меня понимаете – оказалось, что добывать таким способом средства на пропитание всё ж таки легче, чем по своей специальности, а у многих ещё к тому же семья... Я вот, например, двадцать лет проработала в разных театрах, и в провинции, и в Москве, здесь, между прочим, в зуевском районном театре, начинала. Уже и ампула успела два раза сменить. Пока мне не пришла в голову, как говорится, счастливая идея. Вам, очевидно, тоже».

«Мне посоветовали», – сказал писатель.

«Поздновато, пожалуй... Вам не кажется?»

«Пожалуй».

«Вы, опять же прошу прощения, женаты? Дети, внуки?»

Он отвечал, что живёт один.

«Ваше счастье. А мне сына надо устраивать в институт, а то ещё, не дай Бог, в армию загремит. И дочку поднимать надо. Я одна обоих растила... Но зато мне моя профессия очень помогла. Коммерсант, я вам скажу, должен быть актёром, иначе дело не пойдёт... И людей удалось подобрать, я хочу сказать: коллег по общему делу. Они на меня не в обиде, ведь правда?»

Компания дружно закивала. Яша сказал:

«На вас, тётя Наташа, можно сказать, всё держится».

«Ну, не всё, но как-то дело идёт. Кое-какие связи удалось завязать. Без связей, дорогой мой, тут и трёх дней не выдержишься...»

«Вы тоже продаёте литературу?»

Наталья Викторовна обвела компанию ироническим взором. Кто-то хихикнул.

«Так вот, если вернуться к нашему разговору... У вас довольно толстое произведение. Почему вы его не опубликовали обычным способом, как все?»

«Не все».

«В конце концов, у нас сейчас свобода, пиши что хочешь».

«Я всегда писал что хотел».

«А, понимаю. У меня был один знакомый, всю жизнь писал в стол...»

«А теперь?»

«Теперь? Он умер, не дождался... Короче говоря, что я хочу сказать. Напечатают или не напечатают, это ещё бабушка надвое сказала, ведь правда? А если ещё к тому же ваш роман не обещает прибыли...»

«Не обещает».

«Вот видите. Ну что ж, – сказала она, подумав немного и переходя на ты, – давай, куплю у тебя, пусть это будет твой первый проданный экземпляр. Не знаю, конечно, может, и не стоит читать, а? Сам-то ты, кажется, не очень уверен... Сколько с меня?»

Писатель робко назвал цену. Мне советовали, объяснил он.

Тётя Наташа усмехнулась.

«Кто это тебе советовал? – Она отсчитала бумажки, романист сунул выручку в карман. – За такую цену вряд ли у тебя найдутся покупатели. Ты о конъюнктуре хоть какое-то представление имеешь? Это же рынок».

«Я тоже подумал, может быть, надо...»

«Рынок, дорогой мой! Не фунт изюма. Будущее покажет, если, конечно, ты здесь удержишься. Так вот, собственно говоря, об этом мы и хотели с тобой по-

толковать... Ты человек интеллигентный, мои люди сразу это заметили, не хам, не рвач. И, конечно, извини за резкость, полный идиот... Так что придётся тебе объяснить азбуку нашего дела. Коммерция есть коммерция».

«Это верно», — уныло сказал романист.

«Ты слушай, что тебе говорят... В одиночку, дорогуша, работать никак невозможно. У нас теперь, конечно, капитализм, каждый может делать что хочет. Только вот не каждому позволено. Если тебя сегодня не ссадила с поезда милиция, то это твоё счастье. Торговля в поездах, да будет тебе известно, считается незаконной. Штраф как минимум. А можно и срок схлопотать».

«А как же тогда...»

«Прошу не перебивать. Да, штраф. Да ещё и по шеям надают. А другой раз попадёшься — под суд. Но это пусть тебя не беспокоит. Ты мента этого видел, Афоню нашего, Ильича? Я ему скажу пару слов. А он поговорит с кем надо. Это не главное. Ты об уголовном мире имеешь представление?»

«Я вообще-то сидел», — объявил неожиданно приезжий.

«По бытовой статье?»

«Нет, пятьдесят восьмая. Давно было дело».

«Ну, всё равно. Я что хочу сказать? Ведь тебя же моментально наколют. Сегодня сошло, завтра сошло, а потом подойдёт к тебе такое рыло — конечно, не в вагоне — поговорить — и никуда не денешься! Отнимут товар, отнимут выручку, это ещё самое безобидное... Чуешь, к чему я клоню? Нужна профессиональная солидарность».

Она взяла бутылку, встряхнула.

«Допивай. Нехорошо оставлять. У нас тут, — тётя Наташа показала на коллег, — пока что, слава Богу, всё в порядке. Ты платишь мне, я расплачиваюсь с бандитами. Только уговор: ничего не утаивать. Идёт?»

«А если ничего не продам?»

«Значит, и платить нечем. Очень просто. А вообще, если появятся какие-нибудь вопросы, обращаться к Якову. Он у нас доцент, бывший завкафедрой — в Челябинске, если не ошибаюсь?»

«В Свердловске», — сказал Яша.

«Ты, я тебе скажу, — продолжала Наталья Викторовна, — ты не тушуйся. Коммерция — это такое дело, это как погода. Начинаешь, вроде бы ничего не получается, неходовой товар. Но представь себе, что вдруг твои книжки начнут хорошо раскупаться. Один купит, другой, смотришь — всю торбу распродал. Уверяю тебя: недели не пройдёт, как появятся конкуренты. И не печатным материалом начнут торговать, а вот именно таким, как у тебя, самодельным. Твои же книги будут продавать, да ещё выдавать за свои. Книжная торговля, вообще говоря, на Горьковской дороге не новость. Да и на Октябрьской вроде бы кто-то уже промышляет... Но товар надо уметь раскрутить. Как говорится, сесть на позицию».

Помолчали, после чего тётя Наташа похлопала писателя-коммерсанта по колену.

«Вот так, друг любезный... Ты меня понял».

## LV Академик Курганов

26 августа 1991

Бывший Олег Двугривенный имел в виду собрания в доме Игоря Валериановича Курганова. Ещё одному лицу давно пора появиться на этих страницах. Последний представитель некогда славной московской школы математиков, автор известных работ по аналитической теории чисел, член-корреспондент Академии наук

и почётный член иностранных академий, Герой социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий и, как говорили, без пяти минут нобелевский лауреат, – таков этот муж, *out of thy star*<sup>6</sup>, как говорит Полоний, дотянуться до него и во сне не могло бы присниться. Спасибо Олегу Михайловичу: он представил тебя великому человеку.

Вот он стоит у окна своего кабинета, обозревая с высоты десятого этажа мост и скучные дома на другом берегу. Медленно влачатся мутно-зеленоватые воды. Приходится признать, легендарный основатель нашего города выбрал место, по тем временам, может быть, и выгодное – холм над излучиной, – но для будущей столицы полумира всё же мало подходящее: слишком уж неказистая речка оmyвает её гранит.

Существует взгляд, по которому с возвышением Москвы, подмявшей под себя прочие княжества, история будто бы совершила промах. Ложный взгляд! Именно Москва – а не Тверь, не Ярославль, не торгашеский и поддавшийся западному влиянию Новгород – стала достойным преемником одряхлевшей Византии, именно этот выбор позволил нам стряхнуть с себя монгольское иго, расширить границы, создать могучее национальное государство.

Да и вредная идея, ибо сеет сомнение в богоизбранности России.

Эти мысли прервал колокольчик в прихожей; мрачно-гнусавым боем отозвались на явление первого гостя часы в гостиной.

Жилплощадь Игоря Валериановича отвечает его званиям и заслугам. Дом ответственных работников, квартира – просторные, старомодно-темноватые хоромы с большой и малой столовой, рабочим кабинетом, спальнями и так далее. Свой путь в науке Курганов избрал ещё школьником. Математический гений расцветает рано. Доказательство правильности гипотезы Римана о нулях дзета-функции, одной из семи проблем тысячелетия, было найдено Игорем Валериановичем в 23 года.

Дальнейшее восхождение происходило уже не столько по учёной лестнице, сколько по административной и партийной. Поездки с делегациями за границу, борьба за мир, председательствование на конференциях, сидение в президиуме торжественных заседаний образовали важнейшую часть его многогранной деятельности. На склоне лет он стал депутатом Верховного Совета и членом ЦК. Важно, однако, отметить, что Игоря Валериановича отличала широта интересов. Теперь, когда развал государства, упадок Академии (одно время дело дошло до того, что перестали вовремя выплачивать оклад) и общее гибельное направление так называемой перестройки потрясли самые основы народного и национального бытия, он обратился к отечественной истории. В смутные годы выкристаллизовалось его мировоззрение как философа и патриота, сложилось стройное учение, в котором строгость мышления, воспитанного в школе точных наук, соединилась с метафизическим взглядом, логика с интуицией, научная методология с православной верой.

Общеизвестны попытки построить единую концепцию исторического процесса. Шпенглер и Маркс равно потерпели позорный крах. Лишь Курганову удалось разгадать загадку истории, разоблачить ту скрытую демоническую силу, которая стоит за событиями, манипулирует политиками и народами. Как пример можно указать на тайные пружины Февральской революции 1917 года и последующего большевистского переворота. Установление этого факта по праву считается вторым после доказательства римановой теоремы крупнейшим достижением академика Курганова.

Изменился и круг друзей. Теперь за большим столом в гостиной, под пыльной люстрой собирались писатели, публицисты, лица духовного звания. Поздние от-

<sup>6</sup> не тебе чета («Гамлет», 2, 2).

прыски царской семьи порой украшали общество, как украшают грудь состарившейся дивы фальшивые брильянты. Здесь царило благолепие. Ощущалась особая теплота. Здесь изъяснялись на особом языке, смеси дореволюционного с простонародным. Здесь говорили «не токмо» вместо не только, «потому как» вместо потому что, «ежели» вместо если; здесь был любим высокий штиль, употреблялись такие слова, как державность, духовность и соборность.

Два слова о домашней жизни И. В., дабы завершить это краткое введение. Быт пожилых супругов был подчинён заведённому порядку. Об изменах не могло быть и речи. Сусанна Ароновна, некогда бывшая ученицей Игоря Валериановича, настолько же невзрачная и щупленькая, суетливая и тихая, как мышка, насколько мастит, осанист, величествен, крупно-благообразен был 75-летний патриарх, принадлежала к числу тех умных женщин, которые понимают необходимость периодически, не дожидаясь, пока взорвётся котёл, выпускать пар, и прочно держала в руках контроль. Барышни, посещавшие дом, являлись по очереди, раз в неделю, ритм, признаваемый наиболее целесообразным для здоровья и с точки зрения приличий. Первая, совсем молоденькая, вертлявая и смешливая, приезжала рано утром, выпархивала из такси, вбегала в подъезд и, не здороваясь со сторожихой, исчезала в кабине лифта. Войдя в опочивальню, сбрасывала длинное пальто, под которым не было ничего, кроме узорчатых паутинных чулок с лазеревыми подвязками, отшвыривала тувельки на шпильках и, приподняв шёлковое китайское одеяло, будила спящего академика поцелуем. Некоторое время проходило в играх, в более или менее успешных объятьях, после чего Игорь Валерианович вновь дремал, эфирная гостья скучала, мечтала, глядя в потолок; пробуждаясь, он нежно целовал её на прощанье, иногда отечески журил: «Небось, к Кубышкину тоже ходишь». – «Папочка, ты у меня один». – «А вот мне Фёкла Даниловна докладывала». (Та самая сторожиха-консьержка). – «Да врёт она!» – «А вот давеча тебя видели». – «Да ведь он еле ползает, куда ему...» – «Козёл вонючий, сколько он тебе платит?» Девушка хныкала, клялась в верности и теребила золотой крестик между миниатюрных грудей. «Больше не будешь? – притворно-грозно спрашивал академик. – А то разлюблю».

Нельзя думать, будто финансируемая любовь исключает человеческую сторону отношений. Вторая посетительница была женщина зрелой комплекции, с круглым мягким лицом и вся мягкая, не жадная до денег, чем выгодно отличалась от феи в пальто, добрая, сострадательная, умевшая по-матерински приласкать и обогреть у большой груди, расчесать бороду, уложить седые кудри, исцелить душевные раны (у кого их нет?). Приходила по вечерам и, когда хозяин засыпал, пила чай на кухне с хозяйкой.

## LVI Пир витязей в шатре над речной излучиной

26 августа

«Благослови, Господи, сей дом, и хозяев его, и трапезу».

Окончен краткий спич духовного лица, взметнулся, помавая семо и овамо, просторный рукав чёрной шёлковой рясы.

Пауза.

«Ну-с, государи мои... – промолвил Игорь Валерианович, и общество, оторвавшись от созерцания пиршественного стола, обратило взоры к хозяину, – кх-гхм! Не будем омрачать этот маленький праздник последними новостями, вы, наверное, уже прочли речь этого, как его, так называемого президента... ужас, ужас, ничего другого не скажешь...»

Он вздохнул, и все вздохнули.

«Позвольте мне поднять этот бокал за...»

Все схватились за рюмки. Так некогда на крутом берегу Днепра княжеская дружина вздымала кубки с пенным напитком и дружно чокалась.

«Ах, хороша!»

«Отлично пошла!»

«За вас, за вас, Игорь Валерьяныч! И где это вы такую достаёте, поделитесь секретом!»

«Как там сказано, отец Савватий? Его же и монаси приемлют.»

«Так точно-с». Тотчас налили по второй. Вилки пирующих тянулись к селёдке, к свежему хлебу, к грибок, ножи зюлингенской стали смело нарушили девственность ароматного сливочного масла. Ложечками из ваз загребалась икра, из овальных судков щедро накладывались на тарелки паштеты и винегреты.

«Позвольте огласить, – хозяин постучал вилкой о бокал, – повестку дня. Хотелось бы – как и обещал – ознакомить вас с новой моей работой, некоторыми новыми мыслями... буду весьма признателен за деловую критику. Это первое. Вторых, высокочтимый Олег Михайлович (кивок в сторону принаряженного Олега Двугривенного) доложит о проекте журнала. Дело, как вы понимаете, чрезвычайно ответственное. Думается, – здесь академик Курганов употребил привычный партийный оборот, – думается, что назрела необходимость».

«Мы обязаны дать отпор», – вставил Олег Двугривенный.

Игорь Валерианович несколько начальственно покосился на критику, помолчал, провёл холёной рукой по голубым усам и погладил раздвоенную бороду.

«М-да. Вот именно... Но прежде отдадим должное благам земным. Впрочем, прошу не слишком налегать на закуски, предстоит нечто более существенное...»

В эту минуту в углу из стоячего дубового гроба вновь пробили часы. Хозяйка дома выглянула из дверей. Немного погодя, ведомый Сусанной Ароновой, в сопровождении двух помощниц в кружевных наколках и передничках, въехал на колёсиках столик с большой эмалированной кастрюлей. И когда под изумлённый ропот публики была поднята крышка, густой пар, дивный дух шибанул, разнёсся по всему чертогу – это были пельмени, они самые, из тончайшего теста, сваренные в бульоне из костей, с начинкой из нескольких мяс, при этом лук и чеснок для фарша обязательно рубится ножом, никаких мясорубок! Хо-хо!

«Хе-хе...»

«Ничего себе, скажу вам...»

Сусанна Аронова, в хлопотах вокруг стола:

«Вот сметана, вот уксус, перчик... маринованные грибочки. Масло, кто желает».

«Мать честная... а это что?»

«Толчёный орех с баклажанами, в лимонном соусе, прошу...»

«О! а там что? – Бархатный баритон: – Господа, позвольте выпить».

Игорь Валерианович, с кубком в руке, со слезами на глазах, воздвигся над пиршественным столом.

«Ваше императорское высочество, высокочтимый отец Савватий, дорогие друзья... Извините, не могу более сдерживать свои чувства... Не могу выразить, до чего я тронут. До чего счастлив встретить скромный мой юбилей посреди стольких милых мне лиц!»

Шум поздравлений перекрыл его спич. Встали с мест. Кто-то приблизился особенно чокнуться и облобызать именинника.

«Право, не ждал, что мне, в мои преклонные годы придётся пережить то, что все мы сейчас переживаем. В самые страшные, в самые опасные моменты нашей истории, которая совершалась на наших глазах, в минуту войны, не было такого мрака, такого, я бы сказал, позора!..»

Старик опустил кудлатую голову и, казалось, раздумал пить.

«Господа, – кто-то робко подал голос. – Да что же это такое – пельмени остывают!»

«Но дайте же договорить Игорю Валерьянычу! Игорь Валерьяныч, просим».

«Совершенно справедливо, – горько усмехнулся хозяин, – остывают, чтоб им ни дна ни покрышки! Выпьем, друзья мои, за то, чтобы весь этот морок, вся эта чёрная туча над небом отечества рассеялась...»

Звон бокалов, стук вилок покрыли его слова. Рассеялось впечатление от горестного тоста. Отчество академика приняло удобопроизносимый вид.

«Мастерица, надо сказать, ваша супруга, Игорь Вальян-ч... Отродясь не вкушал...»

«Истинная правда, Олег Михал-ч. Совершенно с вами согласен».

«А как насчёт того-этого?..»

«Юные пионеры, будьте готовы».

«Всегда готовы! Ах, хороша!»

«Где там у нас грибочки... Подать их сюда! Нет, до чего дело дошло, а? Намедни открываю “Литературную газету” и читаю...»

«А кто автор? Ну, ясное дело».

«Козёл вонючий...»

«Ничего не поделаешь, я вчера получил гороскоп, вы, прошу прощения, имете представление о звездословии?»

«Чего? Понятия не имею».

«Печальная, надо сказать, картина. Аспект планет сугубо неблагоприятен. Юпитер... известно вам, какую роль играет Юпитер?»

«Понятия не имею. Патиссончики ничего...»

«Покровительствует нашему отечеству, к вашему сведению. Так вот, представьте, повреждён соседством Сатурна».

«Это как же понимать?»

«А вот так и понимайте».

«Бредни всё это...»

«Не-ет-с. Не совсем. Нет, он всё-таки прав. Необходимо сплотить все патриотические силы. Дать отпор».

«Эх... семь бед, один ответ. Положите-ка мне ещё...»

«Битте-дритте!»

«Как живёте-можете, ваше императорское высочество?»

«Вашими молитвами... вашими молитвами».

«Если я правильно вижу сложившееся положение... шансы на восстановление законной монархии...»

«Возможно. Возможно».

«Да ведь в том-то и заковыка, кого считать законным».

«Великая княгиня Леонида...»

«Да какая она великая княгиня...»

«Из грузинского царского рода».

«Да какой там царский. Седьмая вода на киселе».

«Ну, не скажите».

«У них там все князья. Если уж говорить, нам нужен наш, русский монарх».

«Где ж его возьмёшь? Коли вся династия перебита».

«Паштет, скажу я вам, что надо!»

«Ожидается высочайший визит».

«Это кто ж такой?»

«Государь-наследник цесаревич и великий князь Георгий Михайлович, к нам, в Россию...»

«Откуда?»

«Хрен его знает...»

«Я попросил бы всё-таки не выражаться. Всё-таки, знаете...»

«Да, но как быть с дворянством».

«С каким это дворянством, никакого дворянства больше нет».

«Как это нет».

«А вот так. Дворянство везде исчезло или исчезает. Только в других странах оно оставило наследника, а у нас...»

«Вы что же, считаете, что русский народ брошен, так сказать, на произвол судьбы?»

«Да-с, считаю».

«Это что ж такое, а? Братцы! Жомини да Жомини, а об водке ни полслова!»

Глохнут, сливаются в общий гул голоса, алеют потные лица, пир вступил в заключительную фазу.

«Между прочим, совершенно неопровержимые данные. Игорь Вальян-ч, вы слышали? Ельцин-то, оказывается, еврей! – На одну четверть, это известно. – Не на одну, а на три! – Ну и что? – Как это, ну и что. – Бредни всё это. – Ну, не скажи. – Братцы! Жомини да Жомини... – Вася! Я ведь её любил. А она... – Отец Кирилл, позвольте с вами чокнуться, так сказать, индивидуально... – Вот вы говорите, дворянство... – Слушай-ка, а кто это там, никак Двугривенный? – Да ведь ты с ним уже здоровался. – Что-то не припомню... – Трёхкопеечный. – Вот сука, и он здесь. – Повреждён Сатурном... – Нет, до чего дело дошло... – Господа! (Стук вилкой о стакан). Господа, Игорь Валерианович просит всех в кабинет».

## **LVII Русская рапсодия**

26 августа, на закате солнца

Окончен пир, затихли песни, обессиленная дружина лежит вокруг шатра на зелёном взгорье. Сколько-то времени ушло на рассаживание, преодоление послеобеденной сонливости, размешивание сахара в чашечках чёрного, как совесть злодея, кофе. Наступило молчание. Воцарился тот особый, пепельно-мглистый предгрозово сумрак, за которым должен последовать громовой разряд.

Слышался шелест бумаги, лёгкий удар стопкой страниц о письменный стол. Щёлкнул выключатель настольной лампы. Полоска света пробилась из-под двери. И голос мужа из кабинета достиг чуткого уха Сусанны Ароновны.

*В данной работе...*

Теперь вся она превратилась в слух.

*...проанализированы с православных позиций ход и направление истории России в XX веке перед лицом надвигающегося нового мирового порядка. Позволим себе утверждать, что этот новый порядок однозначно расшифровывается как грядущее царство Антихриста.*

Слышалось:

*Силы, стоящие за ним, рассматривают Россию как главное препятствие для осуществления своих целей. Ибо они понимают, что только Россия...*

Доносилось:

*Русский патриотизм есть великий мистический, метафизический, геополитический, исторический, державный и эсхатологический Проект, доверенный избранному народу великороссов... Русский патриотизм напрямую связан с таинством пространства как отражения вечности в имманентном мире...*

Робкие хлопки на миг прервали чтение. Тишина, и снова:

*Русский язык является языком потустороннего, он непереволим на другие языки. На русский язык можно сделать только плохие переводы с других языков, ибо мелочность содержания других языков...*



Шелестит переворачиваемая страница.

*Наше национальное положение в сегодняшнем мире требует от нас соборного обновления Русской Доктрины. Нас, русских, хотят загнать в угол, пользуясь нашей незлобностью, нашей сосредоточенностью на духовном...*

Слышалось:

*Осознание причин и смысла нашей нынешней национальной катастрофы, установление конкретных носителей исторической вины...*

Кто-то всхлипнул. Смущённое сморкание. Мгновение тишины. Мягкий академический баритон, натренированный в выступлениях, так хорошо идущий (подумала Сусанна Ароновна) к голубовато-седым кудрям и усам Игоря Валериановича:

*Целый ряд исторических фактов... Как подчёркивает наш современник, выдающийся русский историк Михаил Назаров... Нас, совопросников мира сего, обвиняют в клевете. Хочется спросить: на кого? Не может быть клеветой то, что является правдой... Сражение с чёрными силами... Царство Антихриста...*

Голос окреп, посуровел.

*Необходимость выработки ответственного, национального отношения к феномену еврейства...*

*Проблематика крови...*

*Еврейско-большевицкий переворот 1917 года как предпосылка красного террора и голодоморов и безуспешность попыток ассимилировать евреев, этот как исторически, так и биологически абсолютно чужеродный паразитический элемент.*

Часы из гроба:

«Дон!.. Бом!..»

Слушательница нехотя поднялась со стула. Привычное восхищение мужем, его умом и эрудицией подхватило её, как на крыльях. Не так уж важно было, о чём вещал Игорь Валерианович: голос мужа погрузил Сусанну Ароновну в эротический экстаз. Домашние заботы призывали. Как вдруг приоткрылась дверь кабинета.

Некто с тоскливо-страдальческой миной вышел, извините, пробормотал он, где у вас?.. Сусанна Ароновна гневно взглянула на покинувшего собрание, молча, презрительно показала пальцем, куда идти. Несчастный писатель едва сумел добрести до заветной дверцы, еле успел дрожащей рукой задвинуть дверную задвижку, расцепить и спустить штаны. Кафельные стены уборной потряс взрыв. Это был рецидив старинного недуга. Режущая боль в животе вновь вынудила страдальца покинуть нары. Он заковылял в тамбур, в умывальню между двумя барачными секциями, к помосту с круглыми дырами. *И пайка, и место на нарах, и в хладном сортире очко*, – как сказал псалмопевец, лагерный рапсод. Никуда они не делись – ждут тебя.

Не пропал в тумане времён дом бабуси Швабры Анисимовны, сто первый километр, там тоже всё скучает по тебе. Долой хронологию – калейдоскоп поворачивается как вздумается, так и сяк. Писатель выбрался из своей комнатки со щелястым полом, вышел в огород. В сумерках зашлёпал к дощатому домику-скворешнику, корчась от спазмов, усёлся там на корточках, орлом, как это называется.

## **LVIII Интервью. Последнее приключение автора «Вчерашней вечности»**

1992, точная дата отсутствует.

Около этого времени происходит нечто невероятное, чудо телефонии: неожиданный звонок повергает в тревогу соседей и приводит в боевую готовность никогда не дремлющий инстинкт бдительности.

А впрочем, ничего особенного – звонит телефон в коридоре; но звонок необыкновенный – громкий и продолжительный. Подошёл кто-то из жильцов. Через минуту снова звонок, голос телефонистки.

Сосед постучался: «Тебя, что ли».

Писатель взял трубку.

Таинственный дальний голос на неведомом наречии, словно звонят с Сатурна. «Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais parler à M...»<sup>7</sup>

Это был женский голос.

«Je vous écoute. – Там продолжали говорить. – Un instant, s'il vous plaît»<sup>8</sup>, – сказал писатель, поглядывая на соседа, который уже опаздывал на работу, но всё ещё торчал в дверях своей комнаты. Писатель попросил перезвонить через полчаса.

Сосед: «Кто это тебе звонил?»

«Понятия не имею».

«Небось знаешь, коли ответил».

Когда ровно через полчаса снова раздался звонок, приоткрылась другая дверь – бывшая жилплощадь Анны Яковлевны и сгинувшей бесследно Валентины, – и высунулась кривая физиономия. Теперь прислушивалась вся квартира. Ожила мифология призрачных спецслужб. Писатель отвечал на загадочном языке, и это мог быть только язык врага. Разговор был недолгим.

Неизвестно, сколько времени протекло, прежде чем, поднявшись с раскладушки, на которой он проводил теперь почти весь день, автор этой хроники привёл себя в относительный порядок. Он вышел из дома. География города меняется по мере того, как мы стареем: некогда просторный мир детства сжался, как шагреновая кожа. Не стало железных ворот, запиравшихся на ночь, и можно было видеть мимоходом, что двор как-то странно сморщился. Переулок стал короче и грязней. Привычным путём из Большого Козловского он свернул в Большой Харитоньевский к Чистым прудам. Бывший бульвар являл хватающее за сердце зрелище запустения. Вокруг остатков детской песочницы на поломанных скамьях разместилась община пожилых алкоголиков и бомжей. Не доходя до Покровских ворот, спиной к дому с барельефами сказочных зверей, – писателю чудилось, вот-вот покажется рядом с подъездом вывеска доктора Кацеленбогена, – на скамейке сидела женщина лет тридцати, темноглазая и темноволосая, неброско одетая. Он приблизился. Дама проворковала:

«C'est moi. Vous êtes surpris?»<sup>9</sup>

В руках у неё книжка в белом бумажном переплёте, опознавательный знак. Решив уделить этой встрече отдельную главу, сочинитель поймал себя на мысли, что и он, вслед за жильцами-соседями, всегда готовыми наступать, попался в сети государственной бдительности. Провокация, пронеслось в голове, они её подослали. Ничего не знаю. Уйти в глухую несознанку. Понятия не имею, чего эта иностранка от меня хочет, кто она такая. Он посмотрел направо, посмотрел налево.

«Спрячьте», – быстро сказал он.

«Боже мой, эти времена прошли! Неужели вы думаете, что я решилась бы...»

«Прошли? – спросил он. – Может быть».

«В чём же дело, почему вы так испугались?»

«Рефлекс».

Поколебавшись, он сел рядом.

«Вы читаете по-русски?»

---

<sup>7</sup> Простите, можно поговорить с г-ном...? (фр.).

<sup>8</sup> Я вас слушаю. – Одну минуту (фр.).

<sup>9</sup> Это я. Вы удивлены? (фр.).

«К великому сожалению, нет. Взяла с собой на всякий случай. – Она улыбнулась. – Как доказательство».

«Дела давно минувших дней, – заметил писатель. – Всё это уже устарело».

«Настоящая литература не устаревает».

«Спасибо. Вы в этом уверены?»

«В том, что ваша проза не устарела?»

«Нет. В том, что это настоящая литература».

Дама снова улыбнулась прелестной улыбкой.

«Вы, однако, порядочная кокетка. Пожалуй, я должна сделать вам ещё один комплимент. Откуда у вас такой прекрасный...? Вы не пробовали писать по-французски?»

Продолжая говорить, она отщёлкнула сумочку, протянула визитную карточку, мы, сказала она, предполагаем начать новую серию. Что-то вроде библиотеки новейшей русской литературы».

«Вот как. Кто это – мы?». Он разглядывал карточку, название издательства ничего ему не говорило.

«Если вы, конечно, не возражаете».

«Мадам Роллан...» – проговорил писатель.

«Можно просто Жюли. А вас – можно мне называть вас по имени? По секрету скажу вам, что я уже подыскала переводчика».

«Я там кое-что переделал. По сравнению с этим. – Он кивнул на её сумочку, где лежала заграничная книжка в белом переплёте. – Написал кое-что заново...»

«Мы это обсудим. Хотя должна заметить, что времени осталось немного. Роман должен выйти не позднее начала марта... Вы имеете представление о парижском Salon du livre?»<sup>10</sup>

«Ни малейшего».

«О, тем лучше! Вас ждёт много интересного».

«Меня?»

«Мы хотели бы вас пригласить».

«Пригласить, куда?» Писатель воззрился на даму.

Она возразила:

«Я понимаю, вы стеснены в средствах... Финансовую сторону вашего визита издательство, естественно, берёт на себя».

Поразительно. Они никогда это не поймут, думал он. Что значит жить всю жизнь в наглухо законопаченной стране. Это было всё равно как если бы он получил приглашение с другой планеты.

«У вас не будет никаких забот».

«Не в этом дело», – сказал он.

«А в чём же?»

Вот дура. Не могу же я объяснять, что все разговоры прослушиваются.

Некто приближается издали.

«Вот видите, – сказал писатель, показывая глазами на нищего. – Помолчим немного. Un homme averti en vaut deux»<sup>11</sup>.

Человек в лохмотьях, бормоча, протянул руку. Мадам Роллан поспешно рылась в сумочке. Писатель сказал:

«Вали отсюда».

Собиратель удаляется в сторону Покровки.

«Почему вы так резко обошлись с ним? И что вы хотели этим сказать – un homme averti? Он показался вам подозрительным?»

«На водку собирает. Это в лучшем случае».

<sup>10</sup> Ежегодная весенняя книжная ярмарка.

<sup>11</sup> Бережёного Бог бережёт (фр.).

«А в худшем?»

«Жюли, – сказал писатель, – я отравленный человек».

«Да, но ситуация в России изменилась!»

«Возможно. Но я уже сказал вам: я отравленный человек. – Он прищурился. – Принюхайтесь. Разве вы не чувствуете?»

«Вы хотите сказать, в Москве плохой воздух? Уверяю вас, в Париже не чище...»

«В Москве всегда был плохой воздух. Я не об этом. Испарения лагерей. Вся Россия отравлена. – Она не знала, что ответить, он продолжал: – А что касается вашего предложения, спасибо, конечно...»

«Вы бывали в Париже?»

«Нет, разумеется. Меня туда не пустят».

Она спросила, почему.

«Я не член Союза. Следовательно, не писатель. Кроме того, как вы знаете, за мной всюду идёт моё дело».

«Но, если я не ошибаюсь...»

«Удивляюсь вашей осведомлённости. Формально я реабилитирован. Это ничего не значит. Мне не дадут визу».

«Издательство вышлет вам официальное приглашение».

«Не поможет».

«Откуда вы знаете?»

«Откуда... Я живу в этой стране, вот откуда».

Эх, не надо было так говорить. Вообще не надо было об этом. Ну, всё равно, семь бед – один ответ.

«Я всё-таки не понимаю... – пробормотала она. – Хорошо, отложим эту тему. Я бы хотела взять у вас интервью».

«Интервью, о чём?»

«О вас, о вашем романе. Немного поговорить с вами».

«Прямо здесь?»

«Нет, здесь шумно. К тому же я не взяла с собой аппарат. Не согласитесь ли вы поехать со мной в гостиницу...»

«Не о чем разговаривать».

«А всё-таки».

«Послушайте, – сказал писатель. – За мной следят».

«Дорогой мой, это уже становится смешно. Кто это за вами следит – посмотрите вокруг. Здесь никого нет! Или вы думаете, что вас окружают невидимки?»

«Да, думаю. Один сидит рядом с нами. А другой прогуливается по дорожке. Слышите, как хрустит песок?»

«Замечательно. Превосходный сюжет. Напишите об этом рассказ... Как вы думаете, – спросила она, поднимаясь, – где-нибудь поблизости найдётся стоянка такси?»

## LIX Интервью, окончание

Тот же день

Войдя в номер, писатель хлопнул в ладоши. Должен быть отзвук, объяснил он. Жюли, в коротком светло-коричневом платье с пояском, опустилась перед шкафчиком, который в гостиницах называется баром. Её колени блестели, обтянутые шёлком. Какой отзвук, спросила она.

«Если слышится эхо, значит, комната прослушивается. Вон там, – он показал вверх, – должен быть микрофон».

«Я вижу, вы опытный конспиратор. Ну и как?»

Вздыхнув, она подняла на гостя тёмно-блестящий взгляд. Писатель криво усмехнулся, пожал плечами.

«Вроде нет», – и в его голосе звучало почти разочарование.

Жюли выставила бутылку, за ней ещё одну поменьше, явились миксер, лёд в металлическом лотке и два высоких стакана. Устроились на диване перед столиком с магнитофоном. Оба сделали по глотку, она взглянула вопросительно на гостя. Подходяще, промолвил писатель.

«Вы готовы?»

Она прочистила голос. Ей показалось, что аппарат не в порядке, она остановила крутящиеся бобины, нажала на другую клавишу, катушки послушно завертелись в обратную сторону. Остановила, снова включила, поднесла к устам микрофон.

«Для начала я хотела бы задать такой вопрос. О чём, собственно...»

Молчание, крутятся катушки. Ясный день за окнами. Конец века.

Её палец с длинным розовым ногтем нажимает на стоп. Мсье такой-то. Я, кажется, вас о чём-то спросила, сказала она вкрадчиво.

Писатель держит в руках чашечку микрофона, как Гамлет – череп шута.

«О чём этот роман? – переспросил он сдавленным, не своим каким-то голосом. Что ей ответить? – Не знаю. Может быть, о преодолении хаоса».

Нет, возразила мадам Роллан, и катушки остановились, говорите естественной, расслабьтесь; ближе ко рту; пожалуйста; ещё раз.

«Тема моей книги – преодоление хаоса».

Вот это другое дело.

«Что вы подразумеваете под хаосом? Вашу собственную жизнь?»

«Отчасти, да».

«Значит, это автобиография».

«Нет. Условие писательства – самоотчуждение».

«Что это значит?»

«Это значит, что надо стать чужим себе самому. Использовать свою жизнь как материал. Не больше, чем материал, с которым можно работать».

«Вы говорите о хаосе».

«Да. Жизнь – это хаос случайностей. Нужно отыскать в нём какой-то смысл».

«Но вы как будто в этом сомневаетесь...»

«Очень может быть, что это иллюзия».

«Вы говорите – преодолеть хаос».

«Существует очарование беспорядка. Соблазн хаоса. Хаос тянет в него погрузиться. Освобождает от дисциплины и традиции, поощряет своеволие...»

Писатель потянулся к стакану, к остаткам мужества.

«Понимаете, – сказал он, – надо сопротивляться».

«Сопrotивляться – чему?»

«Всему. Всему этому гнусному миру. Омерзительному веку, в котором нас угрозило родиться...»

Собеседница остановила плёнку, передохните, сказала она, у вас такой вид, словно вас ведут на казнь... Разве вам неприятно, что о вас узнают во Франции?

Зачем мне всё это, хотел он возразить.

Отлично, продолжим. Она нажала на клавишу.

«Вы – бывший узник Гулага».

Он поморщился.

«Кажется, вам не очень приятно говорить об этом?»

«Узник... слишком громкие слова. Да и название неверное. Гулаг – это ведь всего лишь контора. Главное управление лагерей».

«Вам не кажется, что в вашем романе слишком уж большое внимание уделено концлагерям?»

«Может быть. Но Россия этого века немыслима без лагерей. Вся страна была покрыта лагерями. Даром это не проходит. Мы по-прежнему живём в лагерном мире. Мы усвоили психологию лагеря. Она стала общенародной психологией. Лагерный образ жизни впечатался в русский национальный характер».

Нет, пожалуй, он слишком уж разговорился.

«Я вас слушаю», – её голос напомнил о себе.

«Я не касаюсь вопроса, насколько лагерь отвечал традициям государства, где классическое крепостное право было отменено каких-нибудь сто сорок лет тому назад... У Толстого говорится: солдат, раненный в деле, думает, что и вся кампания проиграна. Вы скажете, что человек, отведавший лагеря, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Между прочим, в лагерях так и думали, что на воле будто бы никого уже не осталось. И всё-таки лагерь – это не аберрация, не искажение, лагерь – это ядро истории нашего века».

«Я бы хотела вернуться к роману. Если не ошибаюсь, у вас его отняли? – Писатель кивнул. – Но вы сумели его восстановить, это требует большого мужества. Внутреннего мужества».

«Ну и что».

Палец госпожи Роллан остановил магнитофон. Умоляю, простонала она, говорите громче!

Писатель отхлебнул из стакана.

«Ну и что, у меня всё равно нет читателей».

«Поверьте мне, во Франции...»

«А, бросьте...»

«При том, что роман носит несколько странный характер. Да ещё этот эпиграф из Августина... Вы, – она запнулась, – vous êtes donc catholique?»

«Bien sûr que non».

«Alors qui êtes-vous?»

«Personne».

«Que voulez-vous dire?»

«Rien. Personne c'est personne. En Russie cela arrive assez souvent qu'une personne découvre qu'elle n'est personne.<sup>12</sup> Мне кажется, – проговорил он, – по-французски всё это как-то не очень ловко выходит, но ничего не могу поделывать».

«Нет, отчего же, я вас прекрасно поняла. Скажите мне это ещё раз по-русски. Или вообще что-нибудь».

«Но вы же не поймёте»

«N'importe<sup>13</sup>. Я хочу услышать, как звучит русская речь. Это очень мелодичный язык. Итак, некто оказался никем. Бедняжка! Впрочем, я должна сказать, это сейчас довольно популярный тезис. Смерть автора. Если не ошибаюсь, об этом говорил Ролан Барт... Вы хотите сказать, что вы потонули, исчезли в своей книге?...»

Пауза.

«Название. Что вы скажете о названии?»

«Толкуйте его как вам угодно».

«Я бы хотела услышать ваше объяснение».

«Память превращает вчерашний день в вечность».

«Замечательно».

«Память уничтожает время...»

«Ещё лучше. Но, кажется, вы собирались увековечить не только ваше собственное прошлое».

---

<sup>12</sup> Разве вы католик? – Нет, конечно. – А кто же вы? – Никто. – Как это понимать? – Как хотите. Никто – это никто. В России довольно частое явление. Когда некто оказывается никем (фр.).

<sup>13</sup> Неважно (фр.).

«Неудачное слово, всё равно что восславить. Никакого славного прошлого нет». «Странно. Все русские гордятся прошлым своей страны. Или, по крайней мере, не стыдятся его».

«Я не горжусь и не стыжусь».

«Но вы же только сказали: гнусное время».

«Я живу в нём».

«В прошлом, а не в настоящем?»

«В вечности».

«Громко звучит!»

«Это принудительная вечность».

«Навязанная память, хотите вы сказать?»

«Пожалуй. Во всяком случае, не память Пруста. Жюли! – сказал он и сам остановил бобины. – Жюли, чем вы меня напоили?»

«Обыкновенный виски с тоником. Вы сказали, что вам нравится...»

Она поднялась с дивана.

«Открою вам маленький секрет. Вы спросили, бывала ли я в Москве...»

«По-моему, я об этом не спрашивал...»

«В самом деле?» Она прохаживается по комнате. Магнитофон на столе не подаёт признаков жизни – обиженный собеседник, которому дали понять, что он больше не участвует в разговоре.

«Мне вообще кажется... не могу точно выразиться. Все координаты как будто смещаются».

«Это ваш стиль. Вы ведь постоянно сбиваете с толку читателя. Да, мне приходилось бывать в Москве, но когда не знаешь языка... Русский очень трудный язык. К тому же я слишком тупа. Но я приехала не с пустыми руками. Переводчик подготовил rapport de lecture<sup>14</sup>. Так что кое-какое представление о книге я всё-таки получила. А теперь познакомилась и с автором. Ба! ваш бокал пуст».

Она снова сидит на корточках перед баром. Платье обтягивает её фигуру. Жюли поднимается.

«A votre santé! На-здховья! Чокнемся, по русскому обычаю».

«Будем считать, что интервью закончено?»

«По-моему, получилось неплохо. Нет, – сказала она, – не буду вам раскрывать тайну. Подождём, пока подействует...»

«Вы имеете в виду это... – он держал перед собой стакан. – Вы туда что-то добавили? Это и есть ваш секрет?»

Страшная мысль осеняет писателя, вернее, должна была осенить, всё ясно, говорил он себе, так я и знал! Попал в ловушку, дурацкое интервью, мнимое приглашение в Париж – всё подстроено. Ну-ка признавайся, чуть было не сказал он, тебя ведь подослали, ты, может быть, вовсе и не французенка!

А она бы артистически расхоталась: кто же я, по-твоему?

Он как будто даже старался убедить себя, что поддался на провокацию. Но удивительным образом не испытывал никакого волнения.

А! не всё ли равно.

Он почувствовал желание говорить.

«Не знаю, как будет выглядеть французский перевод, в любом случае мой роман безнадежен. Он безнадежен уже потому, что противостоит нынешнему состоянию русского языка. Я, – сказал сочинитель, – верю в язык».

«Un instant<sup>15</sup>, я хочу включить...»

«Зачем? А впрочем, всё равно. Пожалуйста, если вам так хочется».

<sup>14</sup> краткий пересказ содержания (фр.).

<sup>15</sup> Минуточку (фр.).

Она сменила плёнку. Затеплился зелёный огонёк индикатора, вновь завертелись катушки.

«Да, я верю в язык. Моя вера простирается до уверенности, – да, я в этом убеждён! – что язык есть движущее начало истории. Судьбу нации предопределяет судьба её языка. Вы улыбаетесь?»

«О, я слушаю вас внимательно».

«И этот провокатор тоже». Писатель покосился на магнитофон.

«Будем считать, – сказала Жюли, – что это наш общий провокатор».

Он продолжал:

«Великие эпохи языка внушают веру в историю. И наоборот. Это не новость. Крушение Рима было следствием деградации латинского языка. Она началась задолго до нашествия варваров... Готы и вандалы застали этот язык уже тяжело больным. Упадок языка парализовал сопротивление, ничто уже не могло помочь, ни сто семьдесят легионов, ни стена вокруг Города...»

«Это ваша собственная теория?»

«Это не теория, а факт. И вот теперь Россия. Русский язык болен, уважаемая. Болезнь сопровождается приступами лихорадки, за которыми следует прострация, полный упадок сил... И это тоже началось не вчера...»

Достаточно взглянуть на засохшие извержения языка 20-х годов, на эти пятна рвоты. Прочсть речи вождей, словопрения идеологов, газетные статьи. Перед вами – клинические документы. Вы видите эти скачущие температурные кривые, эти безжалостные анализы крови. Все симптомы того, что врачи называют пиемией, гноекровием».

«О!» – сказала она.

«В чём дело?»

«Восхищена вашим красноречием».

«Если бы это было только красноречием... Вам бы наши заботы, дорогая! Следствием болезни языка была цепь катастроф, постигших нашу страну. Это процесс, против которого не попрёшь. А теперь взгляните на нынешнюю ситуацию. Впрочем, взглянуть вы не можете, вы не знаете язык. И слава Богу...»

Он умолк, хлебнул из стакана.

«Будьте добры, – прохрипел он, – вырубите эту машину...» И катушки остановились. Женщина искоса поглядывала на гостя.

«К чертям весь этот монолог. Вам всё равно придётся сокращать...»

«Вы правы, – проворковала она, – должна вам признаться: напиток не совсем обычный... Вы молчите. Вы, может быть, подумали Бог знает что... Хорошо, тогда я договарю, ведь я ещё не всё сказала...»

«Я понимаю, вы не можете доверять случайным знакомствам, – продолжала она. – Но я вас не обманываю. Больше того... В вашем романе есть главный герой, но нет – опять-таки насколько я могу судить – нет героини! Нельзя же назвать героиней эту старую дворянку...»

«Почему?»

«Должна ли я объяснять? Ваш герой любит её не той любовью, какой мужчина любит женщину. В романе нет большой любви! Да, да, – поспешно прибавила она, – вы скажете, эта крестьянка. С которой он сошёлся в лагере... Не будем спорить. Писатель! – сказала мадам Роллан. – У меня есть предложение. Пусть оно вас не смущает, в конце концов мы оба находимся под действием этого питья... Я хочу быть героиней вашей книги».

«Вы? Ты?..»

«Да, я. Ты находишь в этом предложении что-то странное?»

«Я тебя совершенно не знаю. Откуда ты, кто ты?»

Она рассмеялась.



«Тем лучше! Ты сочинишь мне биографию. Выпьем за это. За мою новую жизнь в твоём произведении. Писатель, я хочу переселиться в твою книгу».

«Ты уже переселилась», – пробормотал он.

«Милый мой, в этом и состоит творчество. Вытеснить реальную жизнь властью воображения».

Смеясь, оба опорожнили свои чаши.

«Но всё-таки. Всякое воображение имеет свои границы. Ты француженка. Ты первая живая француженка, которую я вижу в своей жизни».

«Mon Dieu, я столько слышала о том, что русская интеллигенция молится на Францию. Chacun de nous a deux patrie, la nôtre et la France<sup>16</sup>, кто это сказал?»

«Франклин, кажется».

«Я думала, кто-то из русских. Но разве вы не сказали бы то же самое о себе?»

«Дела давно минувших дней, это были другие русские... Как же я могу писать о тебе, если я о тебе ничего не знаю?»

«О, мысленно ты уже пишешь. Ты вставишь главу, где будет рассказано, как мы встретились. Как я позвонила твоему герою... О котором, между прочим, так и неизвестно до сих пор, не он ли сидит сейчас передо мной!»

Она прошлась по комнате, где уже стало сумеречно.

Это был довольно просторный номер, состоявший из гостиной и спальни, с несколько вычурной мебелью, с люстрой, которую обитательница предпочла не зажигать, и трюмо в спальне.

Задумавшись, сочинитель сидел за столом перед умершим магнитофоном. Из спальни падал свет. Голос Жюли послышался оттуда.

«Вы живы?»

Он пробормотал:

«Я жив. Я всё ещё жив... Но я стар. Как-то незаметно я стал стариком».

Она что-то возразила, гость не расслышал.

«Ты хотел, – теперь её голос звучал отчётливей, должно быть, она отвернулась от зеркала, – чтобы я тебе рассказала о себе. Но ты забыл, писатель, что для того, чтобы узнать женщину, не надо её слушать. Или, слушая, делать противоположное заключение. Женщину надо видеть, потому что тело не обманывает».

Послышался шорох, стук туфель, она продолжала:

«Ты упоминаешь одну картину – там есть описание. C'est une nudité<sup>17</sup>... Как можно догадаться, весьма посредственный художник, но картина почему-то играет в жизни героя какую-то особенную роль... опиши меня, как ты описываешь действующих лиц».

«Забавная игра, – отвечал писатель, входя в спальню. – Зачем играть в литературу. Литература сама есть игра».

«Смотря как подойти к вопросу, – возразила она. – Ты готов? Где твой стилум? Где восковые таблички? Гусиное перо? Пишущая машинка?»

Она стояла спиной к писателю.

«Я вижу тебя в зеркале. Ты невысокого роста. Это оттого, что у тебя коротковатые ноги. Но это не портит твою красоту. У тебя прекрасно сформированные бёдра, плотные белые ягодички. Впрочем, я не могу описывать женщину, которая повернулся ко мне задом...»

«Старый ловелас! Начни со спины».

Писатель обнимает женщину, по-прежнему глядя в зеркало, её груди лежат, как в чашах, в его ладонях.

«Это что, часть сюжета?»

<sup>16</sup> Господи. (...) У каждого из нас две родины: наша собственная и Франция (фр.).

<sup>17</sup> Обнажённая натура (фр.).

## **LX Ремонт отечественной истории. Не надо искать женщину – она отыщет вас**

10 июля 1997

Господа, дело идёт к концу; сколько лет вы не были в городе? Небось соскучились. Москва изменилась – это вам скажет каждый. Прямо тут же, из автомата на улице, можно позвонить за границу. В киосках продаются иностранные газеты. В книжных магазинах бывшая крамольная литература. В булочных хлеб по нормальной, выше прежнего, цене. Никаких благов, никаких дефицитов, всё всем доступно – разумеется, кроме тех, которым недоступно. Всё сыты – кроме голодных. Мирно, бок-о-бок с кремлевскими звёздами сверкают новенькие двуглавые орлы. Веют трёхцветные флаги. В подъездах не пахнет мочой.

Стало ещё тесней, ещё шумнее... да, пожалуй, и веселей! То есть не то чтобы, но всё же. Если вас не пугает давка в метро, не смущает толчея на тротуарах, не оглушает грохот транспорта, выкроите полчаса, чтобы прогуляться по городу. Поезжайте до станции с восстановленным историческим названием, поднимитесь наружу, на площадь, где ещё недавно стоял на круглом постаменте суровый муж в долгополой шинели, где доньине высится славная цитадель – с некоторых пор её украшает мемориальная доска в честь безвременно ушедшего шефа Государственной безопасности. Здание охраняется, и нет возможности забросать фекалиями эту скрижаль. Бог с ней. – Высоко над рядами мертвенно отсвечивающих окон, кабинетами владык, над стенами прогулочных дворов для заключённых на крыше, в бледно-голубом небе плещется трёхцветный стяг самодержавия, православия и народности.

Ещё немного пешочком куда глаза глядят: перед вами сквер с памятником Первопечатнику Ивану Фёдорову. Перед вами заново отделанная Иверская. Три четверти века ожидала она ремонта, подобно тому как вся наша, порядком износившаяся, отечественная история давно и настоятельно требовала капитального ремонта.

Работы, впрочем, предпринимались не раз. Но всякий раз неудачно. Только было замажут трещины, оштукатурят, покрасят так быстро, наведут марафет – опять всё валится. Будем надеяться, что теперь яркие краски нашей истории не поухнут на другой день, позолота не облупится.

Итак, стало быть, Иверские ворота... За двумя арками видна великолепная, блестящая от солнца площадь с далёким Василием Блаженным и несколько портящей перспективу глыбой гостиницы «Россия». Между арками, у подножья вновь отстроенной игрушечной церкви удобно расположился представитель вольной профессии. Он немолод, лыс, в сивой нечёсаной бороде и железных очках на носу, из которого торчат седые волоски. Ноги в портках, видавших виды, в башмаках загодочной судьбы, лежат на земле, между ногами молчаливо взывает к милосердию древняя фетровая шляпа.

Ага! Женщины всё ещё не оставляют его вниманием. Стройная, юная, светловолосая, в платье неувовимо-нежного цвета, который, если не ошибаемся, называется палевым и который рискуют носить только такие, прекрасно сохранившиеся, дамы, простучав каблучками, совсем было скрылась в толпе, но остановилась, обернулась, приблизилась. Она стоит перед собирателем подаяний. Бывают совпадения, словно пересекаются диагонали судьбы.

Сиделец пробормотал свою формулу.

Она стоит как вкопанная.

«Чего надо?» – проскрипел он.

«Вот так встреча, – очнувшись, проговорила она. – Вот это да. Писатель!»

Увы, это был он.

«Чего? – спросил он. – Ты кто такая?»

«Та самая! – улыбаясь, отвечала дама, опустила на корточки, платье красиво обтянуло её бедра. – Писатель! Где мой роман?»

Ничего не образовилось на лице нищего, он сумрачно оглядел её:

«Вали отсюда...»

«Ро-о-оман, – пропела она, – вы обещали, если я буду вести себя хорошо, посвятить мне свой роман».

Она поднялась. Насупившись, он спросил:

«Когда это я обещал?»

«Тогда! И, пожалуйста, не делайте вид, что вы меня забыли!»

Она протянула руку старцу. «Сам, сам...» – бормотал писатель, встал, подтянул штаны – жест, возвращающий мужчине самоуважение. Дама отряхнула и подала шляпу.

«Ничего не помню», – сказал он строго. Несколько времени они шагали рядом.

Не помню, не знаю, повторял он мысленно, ни тебя, ни вашего городка, ни комнату с топчаном и дощатым полом, ни старуху-хозяйку, и катитесь вы все по-дальше.

«Ты её внучка?» – спросил он.

Вошли в сквер и уселись на скамейке перед Первопечатником.

«Та-ак, значит... – пробормотал он. – Это самое... – И что-то ещё невнятное.

– Сколько же это лет прошло... сто лет?»

«Почти».

«Я жил у Швабры... как её? Андреевна?»

«Анисимовна».

*Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer<sup>18</sup>.*

«Я была девочкой. Я была в тебя влюблена, писатель».

«Этого не может быть».

Вероятно, он имел в виду встречу. Она истолковала его слова иначе.

«Ты просто не заметил. Мужчины невнимательны. Ты и сейчас меня не узнал...

А я, между прочим, вспоминала о тебе. Писатель, я всё та же».

«Та же. Угу. Только я не тот».

«Ты не выполнил своё обещание. Где книга?»

Нищий молчал, мутно поглядывал из-под косматых бровей.

«Я жду», – сказала она холодно.

«Чего ты ждёшь?»

«Чего я жду... о, Господи. Вот уж никогда бы не подумала. Так опуститься... Где ты живёшь? Как ты вообще существуешь?»

«Существую...»

«У тебя есть какое-нибудь жильё?.. Ты пойдёшь со мной, – сказала она. – Будешь жить у меня... А эти лохмотья – вон, вон...»

«Не смей меня оскорблять».

«О, я бы тебе ещё и не то сказала... Писатель, где мой роман?»

«Путаешь меня с кем-то».

«Я? путаю?»

«Нет его. И меня нет».

«Это как же надо понимать?» – спросила она, нахмурившись.

«Нет больше никаких романов! – крикнул он. – Конец, finita... Сколько можно?»

«Куда ты его дел. Куда ты его дел? Я спрашиваю».

«Тебе говорят – нет. В сортир спустил... – Усмехнувшись: – Вместе с тобой».

«Со мной?!»

«Ну да. Ты ведь тоже была – как это называется – действующее лицо».

<sup>18</sup> Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его – напрасный труд. (Пруст).

Нищий взглянул на позеленевшего человека в кудрях, повязанных ремешком. Он опирается на печатную доску, в другой руке держит типографский лист. Со своего постаменты Иван Фёдоров сверлил бродягу укоряющим взором. Пора бы и его туда же. Взорвать к чертям...

«Неправда. Я не верю. Мы его разыщем. Или ты напишешь заново».

«Держи карман шире».

Помолчав, он добавил:

«Ни к чему. Не вижу необходимости. Нет смысла».

«Мы поговорим об этом после; пошли».

«Куда это?»

«Есть смысл или нет смысла, не нам судить. Поднимайся, у меня мало времени».

«Зато у меня, хе-хе, сколько угодно!»

Светило яркое летнее солнце. Шумел город, вдруг оказалось, что в Москве очень много машин. Писатель сказал:

«Мне нехорошо. Лучше проводи меня».

«Куда?» – спросила девочка. Он сидел за дощатым столом в комнатке с низким окошком, со щелястым полом, кто-то царапался в дверь, она вошла, держа в руках ломоть хлеба с повидлом. Бдительность, сказал жилец, подняв палец, бдительность прежде всего, и принялся перебирать исписанные листы. Оба стали есть и слизывать повидло с пальцев.

«У нас большая квартира, – сказала она, – мой сын предприниматель. Мы ни в чём не нуждаемся... У тебя будет своя комната. Все условия для работы... Ты всё вспомнишь, торопиться некуда. Напишешь ещё лучше, чем было. А потом мы издадим книгу за свой счёт, в самом лучшем издательстве. Писатель. Я требую. Ты обещал!»

«Там есть столовая, бесплатная... Проводи меня».

«Никаких столовых! Мы едем к нам».

«К вам. Угу. Куда же это? Девочка моя...» – проговорил он, глядя мимо бородастого Первопечатника, мимо Иверских ворот. Шум столицы, водопад времени заглупил его бормотанье.

«Девочка... Я понимаю, надо было сопротивляться... Надо было твердить своё... Как-то оправдать».

«Что оправдать?»

«Всё. Историю. Литературу. Свою собственную жизнь. Кто мы такие, зачем живём на свете. Жизнь бессмысленна. Надо внести смысл. Литература вносит смысл, так? Ничего не вышло».

«Но есть Бог», – сказал Первопечатник.

Писатель поднял голову.

«Ты так думаешь?» – спросил он.

Рядом с ним женщина, уже не казавшаяся такой моложавой, сжала виски ладонями, да, да, говорила она, есть Бог, и он всё видит и всё понимает; он и тебя ведёт, и не зря мы с тобой повстречались.

«Это судьба. Я верую, верую... Ты начнёшь всё сначала. Ты напишешь новый роман о пути к Богу...»

Писатель промолвил:

«Может, он и есть. Только не про нас».

«Что ты такое говоришь! Теперь другие времена. Это так нужно! Всем нужно! Ты современную литературу читаешь?»

«Зачем она мне...»

«Послушай... – Она встала, взглянула на ручные часики. – Мне надо торопиться. Ты тут посиди... Я скоро вернусь».

Он покачал головой.

«Можешь не возвращаться. Минутку... Что я хочу тебе сказать. Ты говоришь, другие времена. Будь на моём месте человек в десять раз талантливей, всё равно

ничего бы не получилось. Что это за времена, что это за эпоха, когда какого-то Элвиса Пресли боготворят десятки, сотни миллионов... О чём тут толковать... Пресли отменил Бетховена. Телевизор обесценил Пруста, обесценил Толстого... Прости, я заговорился... Не об этом речь. Что я хочу сказать... Мне сегодня как-то нехорошо, надо бы лечь. Я, пожалуй, пойду... Моя милая... Я счастлив, что повидал тебя, что у тебя всё в порядке... Всё в порядке...» – бормотал он, не замечая, что рядом никого уже нет.

## LXI Глас народа

10 июля

К нему подошли.

Он поднял голову.

«Отдыхаем, папаша?»

Их было трое, в кожаных куртках с металлическими застёжками.

«Ну-к, подвинься...»

Нищий молчал и не двигался.

«Подвинься, ё...ный в рот!»

Один из них плюхнулся на скамью и начал его оттеснять, так что он чуть не слетел на землю. В чём дело, спросил он, вставая. Сучий потрох, блядина, ответили ему. Доставай, что ты там насобирали.

Он взглянул на одного, взглянул на другого. Сейчас, сказал он. Прихлопнул на голове старую шляпу. Сунул руку в штаны и выхватил финку.

«Вот что, отцы... – Он стоял, расставив ноги, держа нож у живота лезвием вперёд. – Гребите отсюда. Пока хуже не будет».

Он не желал им зла.

«Эва, какой шустрый...» – они переглянулись. Один стал заходить сзади, писатель косился на него. Он рассчитывал, бросившись на главного, расчистить себе путь к отступлению. Его опередили. Оружие было выбито у него из рук молниеносным ударом ногой, другой удар сзади свалил его наземь.

Его обступили. Кованым сапогом – под ребрину.

«Канючить милостыню. На святом месте. Господа Бога гневить, Родину нашу позорить, с-сука!»

«Ребята, – бормотал нищий, – я же не знал...»

«Будешь знать! Васёк, поучи-ка его маленько».

Васёк поучил.

«Ещё раз тебя тут увижу, – зловеще сказал главный, – пеняй на себя».

И голос свыше, как эхо, прогремел:

«Пеняй на себя!»

Vox populi, vox Dei<sup>19</sup>.

## LXII Глава без названия

Ночь с 10 на 11 июля 1997

Выйдя из метро, он поплёлся по Боярскому переулку и увидел, что его ждут. Наконец-то! Оба вошли в подъезд; писатель открыл дверь своим ключом. Было уже поздно, квартира спала.

<sup>19</sup> Глас народа – глас Божий (лат.).

Он повалился на раскладушку. Юноша в чёрном молча сидел у его ног. Некоторое время они поглядывали друг на друга, хозяин о чём-то мечтал, потом спросил: «Может, выпьешь со мной?»

Гость покачал головой. «И тебе не советую», – сказал он.

Ещё помолчали.

«Болит?»

«Всё тело. Особенно здесь. Может, ребро сломали?»

«Я надеюсь, – сказал пришелец, – что этот прискорбный случай не был причиной твоего решения».

«Тебя всё не было».

«А что же тогда, осмелюсь спросить, тебя побуждает?..»

Писатель не удостоил гостя ответом.

*Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит.*

«Как бы то ни было, – заметил гость, – решение правильное».

Кряхтя, писатель слез со своего ложа. Налил себе водки, нацелился было на стакан гостя. Чёрный юноша накрыл свой стакан ладонью. Ну, как хочешь, пробормотал писатель. Поднял чашу с напитком жизни и смерти. Но передумал и поставил на место.

«Хочешь оставить записку?»

«Некому».

«А это?» – гость показал на бумаги, которые пришлось свалить на пол.

Писатель махнул рукой. Гость пожал плечами. Снова наступило молчание. Посетитель поднялся.

«Ты уходишь?»

«До следующего раза».

«Нет, нет, – испуганно сказал писатель, – подожди!»

«Но ты, кажется, передумал».

«Помоги мне».

«Ты победил», – сказал гость.

«Как это?» – спросил писатель.

«Ты победил, – прошептал, склонившись над ним, ангел. – Поэтому ты должен умереть...»

В старых квартирах высокие потолки. Гость стоял у стола для подстраховки. Писатель поставил на стол табуретку. Морщась от боли в боку, взобрался наверх и прилаживал верёвку к крюку для люстры родителей, которую унесли временные жильцы вместе с мебелью. Слез со стола. Они обнялись.

Гость сказал:

«Это будет длиться меньше одной секунды. А о том, что наступит дальше, ты уже не напишешь».

И он исчез.

Писатель снова вскарабкался на табуретку, надел на шею петлю и оттолкнул ногой опору. Табуретка с грохотом упала на пол, следом за ней рухнул самоубийца. Ему показалось, что он сломал второе ребро.

## ЭПИЛОГ Апофеоз и последнее бегство

Конец XX века

В те времена, если кто помнит, много говорилось о *дороге к Храму*. Под этим подразумевалось нечто метафизическое, но судьбе было угодно превратить метафору в реальность. Рассказ об открытии самого величественного сооружения наших дней был, возможно, последним произведением автора, о котором здесь так много говорилось. Собственно, оно и должно было стать заключительной

главой хроники, но включение этого фрагмента в основной корпус несостоявшегося романа может быть оспорено, по меньшей мере, по двум соображениям. Во-первых, в сохранившихся бумагах нет на этот счёт никаких указаний. Во-вторых, и это главное, выпененный тон повествования – в своей чрезмерности, пожалуй, даже несколько оскорбительный – мало подходит для хронографа. Правда, автор не раз высказывал своё скептическое отношение к истории. В самом деле, текст (приводимый здесь с сокращениями), по первому впечатлению, представляет собой обычный для беллетристов гибрид правды, которая кажется вымыслом, и вымысла, выдаваемого за правду.

Свой рассказ автор начинает с экскурса в прошлое. С самого начала тень мрачного пророчества нависла над дворцом-собором, воздвигнутым во исполнение воли покойного императора Александра Благословенного в благодарность за избавление России от нашествия двенадцати языков. Некая монашка предсказала, что хранилище простоит не дольше полувека. Так и случилось. После первого взрыва собор устоял, второй взрыв разрушил его до основания. Вместе с тем истёк и срок насланного свыше проклятья. И ныне Храм-дворец вознёсся вновь, дабы возблагодарить Всевышнего не только за победу над французами, но и за спасение от тевтонов, и от большевиков, и от язвы либерализма.

И не только о благодарности шла речь. Не все, быть может, отдавали себе отчет в смысле и назначении торжественного акта. К исходу столетия ощутилась, настоятельно дала себя знать потребность в обновлении национальной Идеи. Пришло время великого примирения с прошлым. История, этот апокалиптический зверь, была усмирена, приручена и вышагивала, словно учёный медведь, на задних лапах, с бантом на шее, под бряцанье бубна, под возгласы поводыря-дрессировщика.

Десять тысяч военнослужащих оцепили квартал. Тысяча восемьсот сотрудников милиции заняли наблюдательные посты в подъездах, подворотнях, на балконах и чердаках близлежащих зданий. Грузовики перегородили главные улицы, до трёхсот конных милиционеров охраняли перекрёстки. Патрули народных добровольцев с нарукавными повязками прогуливались по тротуарам. Силы государственной безопасности, агенты в штатском обеспечили необходимую меру энтузиазма.

Ждали прибытия державного начальства, представителей церкви, чужеземных гостей. Представители чуть ли всех государств, во фраках и цилиндрах, в африканских тогах, в арабских бурнуссах, в просторных шёлковых штанах и мантиях Дальнего Востока, в тихоокеанских колпаках и шкурах диких зверей заполнили гостевые трибуны. Вокруг теснился народ. Состоялись молебен и освящение, румяные, длиннокудрые и пышнобородые иереи в золотых фелонях и бледнолицые послушники в скуфьях и рясах обошли кругом огромный дворец, орошая стены и публику святой водой. А далее перед зрителями предстало изумительное зрелище. На площади перед порталом появились как бы из тьмы веков древнерусские ратники под предводительством вещего князя Олега, высоко поднявшего свой щит, дабы приколотить его к вратам покорённого Царьграда. Грянул гимн в исполнении сводного оркестра Министерства обороны и Государственного академического Большого театра. За русичами, соблюдая строй, промаршировала новгородская дружина, впереди под княжеским стягом, в багряном плаще и золотом остроконечном шлеме покачивался в седле святой благоверный князь Александр Невский. Следом вели на верёвке поникших, униженных тевтонских рыцарей. Зазвучала музыка композитора Прокофьева. На большом, в половину фасада, полотняном экране осветились кадры Ледового побоища из эпохального фильма режиссёра Эйзенштейна. Площадь опустела, и минуту спустя появился царь-надёжа Иван Грозный, он вёл войска на Казань (на экране – пролом в стене казанского кремля, верный Малюта Скуратов, с разверстым бородатым ртом, зовёт сподвижников на приступ). Оркестр исполнил «Как во городе было во Казани». Дружными апло-

дисментами, криками восхищения, весёлым смехом встретила публика фельдмаршала Кутузова с повязкой на глазу и согбенного Наполеона, удирающего из России под звуки разудалой «Камаринской», музыка композитора Глинки.

И так далее, и так далее.

Но вот, наконец, дошла очередь до главного номера, наступил кульминационный момент праздника, знаменующий кульминацию всей отечественной истории. Гром оваций, гудение колоколов потрясли цитадель и площадь. Огибая дворец, со стороны набережной, на высоком постаменте, под скрип задрапированных колёс, слегка покачиваясь, ехал семиметровый писанный красками Вождь – победитель Германии, в прямых несгибаемых брюках с алыми лампасами, в белом мундире с золотыми погонами генералиссимуса, в литых, слегка седеющих усах, с бриллиантовой Звездой Победы между углами затканного позументом воротника. А тем временем на экране хищно-радостный, нарумяненный и напудренный Геловани сходил с самолётного трапа в Берлине, приветствовал полки. Оркестр рявкнул: «Славься», объединённый соборный и оперный хор грянул: «Союз нерушимый республик свободных» на слова выдающегося поэта Сергея Михалкова.

Толпа растеклась по улицам и переулкам. Не стало верховой стражи на перекрёстках, милиционеры слезли с коней, с крыш и чердаков, грузовики разъехались. Торжественный декор, фанера и шёлк были припрятаны до следующего праздника. Артисты сдали в костюмерные знамёна и плащи, картонные латы, золотые остроконечные шлемы из папье-маше, древнерусские холщёвые порты, лосины времён Отечественной войны 1812 года, лапти и краснозвёздные шлемы Гражданской войны, галифе и гимнастёрки Великой Отечественной войны. Дворники сгребали окурки, жестяные банки, картонки из-под мороженого, огрызки яблок, куриные кости, скорлупу орехов, комья промасленной бумаги из-под жареных цыплят, все свидетельства нового благополучия. Водоструйные машины проехали по площади. Начался новый век.

Сочинитель выбрался из толпы. Он прошёл пешком через центр. День клонился к закату, точнее, было то неопределённое время дня, когда, если не знаешь, который час, невозможно отличить предвечерние сумерки от начинающегося рассвета. Над сумрачным, серокаменным городом простёрлось ярко-серебряное небо, темно отсвечивала слюда окон. Кое-где уже тлели и вздрагивали лиловые и малиновые газосветные вывески. Видимо, это был всё же конец дня; две ночи поднимались навстречу друг другу – одна на Западе, другая на Востоке; странник шёл и шёл, и чем дальше он углублялся в лабиринт улочек и тупиков, тем реже попадались ему встречные пешеходы. Он запомнил, какое сегодня число. И уже почти стемнело. Не уверенный, правильно ли он идёт, он дошёл до угла, свернул и доплёлся до следующего поворота и, наконец, узнал свой переулок, на каменной тумбе сидела учёная птица, повела воронёным клювом, показывая дорогу. Он шагал по Большому Козловскому, дошёл до того места, где переулок раздваивался. У подъезда, напротив бывшего чехословацкого посольства, в конусе света стоял экипаж, бородатый возница дремал на козлах. Писатель вошёл в подъезд, в темноте нашарил кнопку звонка, и шаги Анны Яковлевны зашелестели по коридору.

*FINIS*

### **2007 год, постскрипtum**

Мои друзья просили меня сопроводить только что законченную книгу кратким объяснением.



Её название больше подошло бы к мемуарам. Тем не менее (как писал вымышленный издатель «Опасных связей»), «есть основания думать, что это всего лишь роман». Однако я предвижу трудности, которые помешают воспринимать книгу как чисто романическое повествование.

Обыкновенно, когда заходит речь о прозе, спрашивают: о чём это? Ответить нетрудно: эпизоды из жизни некоего персонажа, принадлежащего к поколению сверстников автора. Жизнь эта протекает на фоне истории только что минувшего века с её главными событиями: войной, победой, лагерем, крушением режимов, полагавших себя вечными. Позади нас – век злодеяний и заблуждений, масштаб которых заставляет усомниться в том, что когда-то именовалось историческим разумом. Можно называть по-разному иррационализм истории: Промысел или Абсурд; выяснилось, что это одно и то же.

Два вождя – С. и Г. – суть две персонификации этого абсурда.

Говорить о том, что герой романа противостоит мировой бессмыслице, смешно: мутный поток истории сбивает его с ног. Он словно прыгает по камням в надежде перебраться на другой берег. Но берега нет. Человек ищет цельности и какого-то оправдания. Он жаждет восстановить целостность своей разломанной жизни и целостность калейдоскопической истории. Надеется вернуть ценность своему сугубо частному существованию и найти оправдание злодейской человекоядной истории. Как? Написать роман.

Трудность чтения книги состоит в том, что это одновременно и рассказ о жизни, и рассказ о том, как сочиняется роман о жизни. Точка зрения, с которой обзревается романный мир, двоится. Субъект повествования расщеплён, он существует в разных временах и в нескольких лицах: влачит свою земную жизнь, и живёт в собственном романе, и вместе с тем размышляет, как ему написать роман.

Литература предстаёт перед ним как последняя надежда, как единственный оставшийся у него способ обрести утраченный смысл. Удастся ли? Вопрос.

Б.Х.

# РАЯ & ААД

ПОВЕСТЬ

## Часть I. МЕДЛЕННОЕ ХАРАКИРИ ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

(письменные показания Первого брачного свидетеля)

### 1

В лагере для беженцев она значилась как вдова украинского оппозиционера. Детальной версия звучала так: *вдова украинского оппозиционера, зверски растерзанного верными приспешниками антидемократического режима.*

Между Киевом – и этим нидерландским лагерем рядом с деревней Маасланд – тайной занозой саднила её память Великая Британия, которая была явлена ей, месяц назад, в виде такого же лагеря, только значительно меньше и грязней, – Великая Британия, где зацепиться ей так и не удалось. А ведь родители продали последнее, залезли пожизненно в долги, чтобы выпихнуть её, старшую из трёх дочерей, в Европу. Теперь надо было драться насмерть.

Сложность состояла не в том, что она прибыла в лагерь девственницей. Люди, бравшие у неё *интервью* (то есть допрашивавшие её с переводчиком и заполнявшие какие-то бумаги), как ни странно, не стали требовать никаких дополнительных доказательств имевшего место брака, то есть остались вполне удовлетворены документом, купленным её мамашей на Подоле. И, судя по всему, запрашивающие вряд ли собирались сопоставлять юридическую мощь этой бумаги с результатами, скажем так, деликатного медицинского обследования «молодой вдовы». (А ведь она именно этого, то есть «обследования», больше всего и ужасалась. Потому что в лагере не прекращались упорные слухи, что *такие дела, конечно же, проверяют.* Например: назвался гомиком – так побудь *гномиком*, постой *домиком.* *Продемонстрируй*, стало быть, – ну и так далее.)

Однако же неувязка заключалась не только в том, что она, объявив себя безутешной вдовой, являлась анатомически безупречной девственницей. В конце концов, при желании, можно было бы (ссылаясь на исторические, а также доисторические источники) напомнить «проверяющим» лицам, что человечество знало сколько угодно платонических браков – которые были таковыми из принципа, из вредности характеров, из социального эпатажа, из особенностей артистического имиджа – или по немочи одного из супругов. Да что далеко ходить! – а родители Иисуса Иосифовича?

На случай страшной проверки в загарнике был припасен и другой изворот: можно было бы загодя разделаться с этой уликой (в смысле: с досадным анатомическим рудиментом) собственноручно – как это делают (она вычитала это из женского журнала) в некоторых полинезийских, что ли, племенах.

Но неувязка заключалась, повторяем, не только в этом. Тем более, что и длилась она недолго: на третью же лагерную ночь слаженно действующая четвёрка марокканцев – этот телесный дефект ей живёхонько устранила. Без гамлетовских коле-

баний со своей стороны – и, главное, без заблаговременного оповещения стороны противоположной. Делов-то. То есть четверо верных друзей привели, наконец, её гендерную оснастку в полное соответствие с возрастным стандартом.

Вдова политического оппозиционера, она проплакала потом месяца полтора: венерические хворобы или залёт – это было бы в её положении полной катастрофой. Однако – судьба помиловала.

Далее. Закавыка усугублялась даже не тем, что она, двадцатидвухлетняя ширококостная деваха, напрочь не обнаруживала в своём поведении неуловимых, но одновременно неоспоримых черт, которые с головой выдают заматерелую тётку, вдосталь хлебавшую матримониального счастья.

Главная сложность состояла в ином. Конкретная (то есть политическая) мотивация бегства, выбранная ею вместе с родителями – так любовно, продуманно, взвешенно и, как им всем казалось, так дальновидно, – данная мотивация к этому времени перестала работать. Железная занавесочка – стыдливо, но непреклонно – опустилась в одностороннем порядке. Лагерным мытарям (из коллапсировавших в одночасье царств-государств Восточной Европы), уповавшим на безотказно действовавшую до того магическую статью, всё чаще стали говорить: *ваша страна уверенно движется по пути построения демократического, правового, экономически и культурно развитого общества*. Так что, типа того, срочно езжайте назад, дабы, в полном объёме, насладиться такими достижениями вашего социума, каковые нашему не выдывались даже и в психоделических грёзах.

В итоге иммиграционная процедура закончилась для неё отказом, и она оказалась – ну да, на улице.

## 2

В том же регионе, относительно недалеко от лагеря, а именно: в индустриальном, денно и ночью грохочущем городе-порте – ей удалось обнаружить необычную протестантскую кирху. Означенный *Domus Dei* (занимаясь, главным образом, виноторговыми операциями с одной из стран беспокойной Колхиды) предоставляла временный приют некоторым «ограниченным контингентам и отдельным группам лиц».

А именно: на первом этаже этой кирхи располагались местные наркоманы (не самые образцовые подданные королевы Беатрикс, но не оставленные, тем не менее, её неусыпной заботой – равно как и милостью дальновидно-лояльного общества), на втором – кантовались такие, как она, международные бродяжки – с негативно завершённой иммиграционной процедурой – и вполне естественным нежеланием умереть, будучи заключёнными в пенитенциарные и любые прочие объятия родины-мамы.

Жёстким условием постоя для непризнанных беженцев являлся их нежный, надёжный, регулярный уход за наркодоходягами – остроумно продуманный цикл безотходно-богоугодного, почти самокупаемого производства (с соответствующими дотациями от конфессиональных партнёров). Однако главный («имплицитный») навар приносила руководству кирхи отлаженная спекуляция *нектарами кахетинских богов*.

О, этот *нектар* образовывал в акватории кирхи очень густую дельту, куда впадала: «Кахети», «Эрети», «Алазанская долина», «Цинандали», «Саперави», а также «Киндзмараули», «Напереули», «Ахашени», «Хванчкара», «Оджалеш», «Пиросмани»... Ничего не забыли?

Перспектив у Раи, получившей это странное прибежище, не было никаких. И не потому, что уют этого крова (где снова сшиблись лоб в лоб, нож в нож – непримиримо враждебные этносы, именно друг от друга-то и пустившиеся врассыпную с матери-родины), – не потому у Раи не было перспектив, что уют этого кро-

ва был куда менее зыбким, чем обетованное совместное благоденствие агнца и льва. Главная незадача состояла в том, что филантропическое предоставление крыши над головой являлось, по сути, аналогом укорачивания собачьего хвоста – в смысле: укорачивания по кусочкам – то есть лишь отдаляя, но не устраняя жуткий день депортации. Иногда призрачные постояльцы второго этажа, нарушая заведенный ход событий, присоединялись к потусторонним постояльцам первого – и где-то, в альтернативной инобытийности, заедино склеивали коньки от милосердной overdose.

Для тех, кто ещё цеплялся за жизнь, не оставалось ничего, кроме чуда.

В случае Раи оно сработало.

### 3

Она умела услужливо – как бы «лучезарно» – улыбаться. Раздольно, румяно, белозубо. И это умение (церковной администрации нравилось сияющее подтверждение её богоугодных дел) оказалось для смекалистой киевлянки индивидуальным билетиком в следующий круг забурного рая.

А именно: невестка пастора, включённая в семейный бизнес, взялась познакомиться её с молодым человеком, своим дальним родственником, который, произнося «О, Tolstoy!» – или «О, Dostoeffsky!», молитвенно закатывал глаза и словно бы впадал в транс.

Знакомство состоялось. Они, вдвоём, сидели в синих бархатных креслах за изящным буковым столиком, то есть находились именно с *правильной стороны* кафе «England» (на внешней стороне витрины которого значилось: «You are from the wrong side of the glass!»<sup>1</sup>), и, почти не слыша небрежно-элегантного брэнчания белоснежного фортепьяно – джазового, обманчиво-разболтанного, мощно подхлёстывающего адреналин, – довольно напряжённо цедили уже по четвёртой чашечке кофе.

Встреча завершилась с неравным счётом.

Рая влюбилась – по уши, адски, смертельно; Аад же, сравнив её поочерёдно с Наташей Ростовой, Настасьей Филипповной, Соней-проституткой и Соней-приживалкой (семьи Ростовых), – довольно-таки опечаленный несходством Раи ни с одним из притягательных образцов, – заключил: «Ты – хорошая, сильная, трудолюбивая девушка. Наша королева будет рада такой новой подданной. Я женюсь на тебе фиктивно».

### 4

В этом месте её биографии чётко просматривается точка *выбора*. (Ну, это для тех, кто в данную категорию верит.) Иными словами, с этой самой минуты оказался вполне возможным такой вариант её судьбы (схематично рисуем цепочку): формальный брак – легализация – натурализация – европейский паспорт – европейское образование – перспективная специальность – высокооплачиваемая должность – постоянное развитие всех способностей. А соблазненный обилием чар фиктивный муж (вариант: бывший фиктивный муж) – некая изюминка этой вынужденно-прагматичной цепочки – выполняет функции весьма нетривиального любовника. Этакий Жерар Депардьё из фильма «Les Valseuses».

Красивая картинка, правда? Нам кажется, да. Как сказал классик: *ветвь, полная цветов и листьев*.

Но...

Она выбрала иную ветвь.

---

<sup>1</sup> Вы находитесь не с той (с неправильной) стороны стекла (англ.).

Опять же – *она выбрала* – это для тех, кто в такие заклинания верит: свобода выбора, воли и т. д. На наш взгляд, иная ветвь выбрала её сама.

В период, предшествовавший *подаче документов* (на регистрацию злокачественного новообразования), жених продолжал жить по-прежнему. Тому доказательствами были (хотя он, собственно, ничего и не скрывал) оплывшие свечи в бутылках, полная раковина немытой посуды (с явным преобладанием рюмок), книга «*Misdaad en straf*»<sup>2</sup> на диване, окурки на полу – и, на письменном столе, забытые (а то и оставленные на память) кружевные женские трусики.

Она же, благословенная и отчасти даже *непорочная невеста* (если принять во внимание аспект сугубо онтологический), продолжала пребывать в среде международных бомжей и местных наркоманов, а именно: в закутке два метра квадратных, принципиально не разговаривая с напарницей по койке – и бурно всхлипывая по ночам в грязноватую подушку. Почему всхлипывая? А как вам нравится этот антураж – этот, с позволения сказать, *пейзаж после битвы* – оплывшие свечи в бутылках, полная раковина немытой посуды (с явным преобладанием рюмок) и, главное, – забытые (а то и оставленные на память) кружевные женские трусики?

И вот – звонки к маменьке в далёкий Киев, рыдания в трубку. А маменьке – нет бы напомнить дочери о фиктивной сущности её будущего брачного договора, нет бы поговорить о сияющих перспективах новой жизни на новой земле, нет бы сориентировать дочь по части образования и, кстати сказать, самоуважения – нет: красавица-мама, на свою и дочкину беду, выросла-вызрела под зловещей сенью литературы *для народа*, а в той изящной словесности образ женщины, *жены из народа* (с кем наша героиня должна была бы себя идентифицировать), – оказался надолго закреплённым в таковых картинках:

...«Красная от водки, езды и солнцепёка Дарья выскочила на крыльцо, обрушилась на бежавшую из стряпки Дуняшку:

– Где Петро?..

– Не видала.

– К попу надо бечь, а он, проклятый, запропал.

Петро, через меру хлебнувший водки, лежал на арбе, снятой с передка, и стол. Дарья вцепилась в него коршуном.

– Нахра-а-ался, идолюка! К попу надо бечь!.. Вставай!

– Пошла ты! Не признаю! Ты что за начальство? – резонно заметил тот, шаря по земле руками, сгребая в кучу куриный помёт и объедья соломы.

Дарья, плача, просунула два пальца, придавила болтавший несуразное язык, помогла облегчиться. Ошалелому от неожиданности, вылила Петру на голову цебарку колодезной воды, досуха вытерла подвернувшейся под руку попоной, проводила к попу».

Мораль сей басни, пересказанной мамашей *своими словами*, состояла не в том, что надо-де уметь пособлять жениху/мужу облегчаться (*во всех отношениях*, ты меня поняла, доча?), – оставаясь при том молодой, красивой, нарядной. Эссенциальный состав родительского назидания заключался совсем не в том – тем более, что нидерландский жених – мамаша представляла себе это слабо – вовсе не пил, притом не будучи даже зашитым. То есть если пил, то бишь пригублял – например, на всяких там корпоративных сабантуйчиках, – то уж всяко не на известный мамаше манер, а как именно – замучаешься объяснять. (Раиса и не объясняла.)

Соль мамашиногo назидания состояла, однако, в следующем: дочь, посмотри на себя! Конечно, у мужика по всему дому кружевные трусики валяться будут! Вот ты утром и вечером регулярные пробежки вокруг парка делаешь?! Нет. У тебя ведь три килограмма лишнего веса!! А творог по утрам на лицо ложишь? Нет. И

<sup>2</sup> Преступление и наказание (*нидерл.*).

не забудь, что у тебя одна грудь больше другой – ты за бюстгальтером-то следишь? вату, где надо, подкладываешь?.. А что у тебя большая стопа – помнишь? Такая ножища – ой-ёй-ёй! – и с этим ничего уже не поделать! Думаешь, мужчине приятно смотреть на такую ножищу от женщины? А уши? У тебя ж такие огромные уши, что боже мой! Полностью за своим папашкой взяла! Ты хоть волосами-то их прикрываешь? А массаж лица? А фруктово-ягодные маски? А брови не забываешь подправлять? А там – ты аккуратно броешь?.. А под мышечками, доча?.. А ноги?.. А спираль ты уже вставила – или хочешь у мужа своего на нервах играть?..

Ну и так далее.

И вот – дочь рьяно бросается воплощать в жизнь материнские заветы. А наивный жених, сознавая себя стопроцентно фиктивным (и потому – занебесный эльф! – даже не подозревая, какие на него расставляют силки), укладывает в чемодан «три килограмма презервативов» (констатация уязвлённой невесты) – и безоблачно отбывает в Италию на вакаци.

Рая же, воспользовавшись *дополнительным временем*, просит, что называется, помощи Клуба.

Что это за Клуб?

## 5

Это печально известная – точнее, пресловутая самодеятельная организация жён, происходящих из *давших дуба* (точнее, *гигнувшихся*) царств-государств, скажем так, Варшавского пакта. Называется клуб «Русские Присоски».

Обидно, правда? Вот и каталонцам обидно, когда, например, эрзистезус, по старинке, зовут *каталонской болезнью*, хотя каждый каталонец, даже самый дебильный, с малолетства твёрдо знает, что болезнь эта итальянская или испанская, в крайнем случае – арабская.

Составляют этот клуб, в большинстве (тут квоты соблюдаются естественным путём), соответственно, российские жёны. Точнее: российские жёны заарканенных и стреноженных, главным образом, при помощи Интернет-Сети, забургорных мужей. Настаиваем: малопочётная роль сводника (в этом скрытом геноциде) принадлежит именно Международной Сети – на то она и сеть, чтобы ловить-заарканивать. А уж демоны плотского очарования, наповал разящие не клёванных жареным петухом западных разинь, а также магические сказания-былины about the enigmatic Slavic soul, доводящие указанный контингент до клинического слабоумия, довершают дело.

Ну, «Русские Присоски» – это, конечно, неофициальное название Клуба. Официальными его наименованиями в разные года были: «Полёт», «Рапсодия», «Лунная соната», «Лебединая верность» (ну-ну!) – и какие-то ещё кондитерские распрерасности из арсенала романтически романтизирующих домохозяек «с запросами». Филиалы этого клуба существуют в любом, даже самом заштатном, населённом пункте нашего «небесного тела». (Да уж! «Небесного»!)

У всякого клуба есть *девиз*. Есть он и у клуба «Русские Присоски».

Дамы, истерзавшие в хлам служащих брачных контор, искогтившие в кровь сайты брачных знакомств, измочалившие Интернет до дыр – дамы, с неустанным трудолюбием раздвигавшие ноги «в реале» – под каждым из выуженных Международной Сетью «женихов» – с любых, какие ни есть, континентов, – дамы, раздвигавшие под каждым из них свои ноги – с тем тупым, упрямым старанием, с каким неискренний отличник, вздохнув, раздвигает ножки циркуля, – эти дамы определили три минимальных предмета, без которых их блистательная международная деятельность стала бы абсолютно невозможной.

Названия этих священных предметов и стали девизом Клуба.

Звучит этот девиз так:

## ЧЕМОДАН, ПИЗДА И ПАСПОРТ!

Оценим ритмически безупречную в своём изяществе комбинацию анапеста – с ямбической, а затем амфибрахической стопой (или двумя ямбическими полными и усечённой третьей), где трогательно-нарядное, парящее в воздухе женское окончание слово алчет поймать рифму («бастард»? «транспорт»?).

Однако же позволим себе искренне усомниться в необходимости первого и последнего составляющих этой драгоценной формулы (самой жизни!), где семантический акцент падает, конечно же, на её центральный, опорно-несущий член, а оба крайних (обрамляющих – мы бы даже сказали, факультативных) возникают, так сказать, *в процессе*.

Правда, в вопросе дешифровки данного девиза (хоть это и сфера специалистов геральдики, но позволим себе краткий любительский экскурс) – итак, в вопросе дешифровки данного девиза не исключён и другой подход. Возможно, здесь назван не сам краеугольный трёхчлен, необходимый для перехода из одного социального состояния в другое, но, как в письменах крайне скрытных ацтеков, закодирована инструкция (manual), а именно: *последовательность действий* в технологическом процессе (этого самого перехода).

Тогда эту инструкцию следует прочитывать так:

1. Взять в руки первый член формулы (чемодан).
2. Максимально активизировать второй член, придав ему коэффициент полезного действия, приближающийся к ста процентам.
3. Через три года можно запрашивать третий, «целевой» член формулы.

Флаг Клуба представляет собой шёлковое прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней – поросячье-розового и нижней – белоснежно-белого цвета. Отношение ширины флага к его длине – два к трём.

Поросячье-розовый цвет символизирует непреходящий оптимизм, свежесть и бьющую фонтаном сексуальность.

Белоснежно-белый цвет символизирует нерушимое целомудрие тела, души и высоких помыслов.

В центральной части полотна, на границе цветов, сусальным золотом вышит девиз Клуба (см. выше). В самой верхней части полотнища, по горизонтали, вышиты три золотых фигуры. Это триединая HIRUDINA (по-русски говоря, пиявка) с эротической грацией изогнувшаяся в виде следующих символов:

£ \$ €

Помимо девиза и флага, в Клубе есть *ритуальное приветствие*. Завидев друг друга, дамы, т. е. члены Клуба, троекратно выкрикивают громовое: «ЖОНП! ЖОНП!! ЖОНП!!!» («Жизнелюбие! Оптимизм! Напор! Позитифф!») – и, указательными пальцами, с силой, растягивают в стороны углы своих всегда влажных, свеженапомаженных ротовых отверстий.

От этого ритуального приветствия и образовалось неформальное название его членов, а именно: ЖОНП'ы – или просто *жонпы*. Отдельно взятый член Клуба называется *жонпа*. (Было бы в корне ошибочным полагать, что здесь просматривается семантико-фонетическая коннотация с той частью тела, которая, придавая туловищу в положении сидя известную устойчивость, отвечает за написание больших объёмов прозы. Нет, нет и нет – это просто курьёзное совпадение.)

В этом Клубе есть, конечно, и свой *гимн*. Он имеет ритм походной строевой песни. У него громадное количество куплетов, охватывающих своим смыслом все более-менее важные (в стратегическом значении) повадки, привычки и психофизиологические особенности мужчин различных этнических групп, а припев там такой:

Стрено-жить мужи-ка!  
При помощи трёх «ка»!

- Кюхе!
- Ать-два!
- Койка!!
- Ать-два!!
- Киндер!!!

В клуб «Русские Присоски» входит зоологический отряд дам, предшественниц которых мы не советуем иностранцам искать среди классических образцов классической русской литературы. Почему? Да просто потому, что этих дам там нет.

Описания этого зоологического отряда, тем более, нет в литературе для (про) донских казаков, казахов-стахановцев, акынов, слагающих песни о девочке Мамлакат Наханговой; нет их описания и в литературе для (про) холмогорских поморов, успешно наладивших массовый выпуск Платонов-Невтонов на собственной сырьевой базе, – и вообще: в обгорелых свитках-рукописях, принадлежащих к эпохе Полного Расцвета Гангрены, – описание этого зоотряда, конечно, отсутствует. Опять же: почему? Да потому, что эволюционно-исторически он ещё не сформировался, хотя базисные предпосылки уже, безусловно, имелись.

Два десятилетия назад эти предпосылки наконец созрели. Так что нынче жонпы, по-сестрински выручая, загрызая, лаская и подсиживая друг друга, проходят конкурсную отбраковку во всех точках нашего «небесного тела». (Охо-хо!..)

Их, в охотку, трахают франки, галлы, норманны, бургундцы;  
их лениво пилят англы, саксы, фризы, юты;  
их всласть дерут алеманны, бавары, лангобарды;  
их, словно самцов, барают готы и швабы;  
их пылко плят каталонцы, галисийцы и баски;  
их трудолюбиво долбят оски, умбры, пицены;  
их, в очередь, гобзят ёты и свеи;  
их злобно жарят батавы;  
их задумчиво ставят на четыре кости ханьцы,  
им небрежно бросают палку ачаны;  
их печально трут лаху, наси, лису, чан;  
их старательно дрючат пуми, дино, мэньба, ну;  
их угрюмо пердолят чжуаны;  
их, с песней, натягивают кхаси и маратхи;  
их целенаправленно рвут монпа и раджпуты;  
их умело штопают сефарды и ашкеназы;  
их жадно употребляют дайцы и шуйцы;  
их рассеянно факают маонани;  
их грозно отхаривают дауры и баоань;  
их без продыху шворят гэлао, ли, мяо, ва, ту;  
их нон-стоп шмарят аканские народы;  
их, в такт, тараканят дунгане, байи, народы туцзя;  
их круглосуточно употребляют бушмены, берберы;  
их, в два смычка, отделявают лемтуны, гараманты;  
им, смеясь, задувают хэчжэ и гаошань;  
их, между делом, имают нгони, хадза, хехе, хугу.

Ебомое мясо.

Бедное ебомое мясо.

Описание этого зоотряда вы вряд ли сможете обнаружить даже и в «постисторической» изящной словесности. Правда, отдельно взятые тени этой – гениталоголовой, прущей напролом протоплазмы – там всё же иногда колобродят-мелькают, но сам *уровень обобщения*, как бы это сказать... только сбивает читателей с толку. Единственное пространство литературы, где данная категория найдёт пол-



ное своё отражение, – это наша печальная повесть. А потому – оставайтесь с нами!

## Систематика жонп (даётся впервые: 2008).

### Семейства

Зоологический отряд жонп делится на *три семейства*:

1. Подкаблучные.
2. Подкаблучницы.
3. Выкаблучницы.

### Роды

Каждое семейство включает в свой состав множество женских родов. Например, только *семейство подкаблучных* делится на следующие роды: бирюлёвские, скобские, бухаловские, попковские, подсосные, пьянковские, козюлинские, опухликовские, дрочеевские, задовские, сопляковские, лоховско-марюковские и т. д. Всего – несколько десятков тысяч наименований.

### Виды

Рассмотрим деление на виды рода *жонпы бухаловские*. Здесь известно до сотен тысяч наименований. Например: бессяжковые, вилохвостые, зораперы, бубончиковые, ногохвостки, уховёртки – и т. д.

Рассмотрим деление на виды рода *жонпы дрочеевские*. Здесь насчитывается всего несколько десятков наименований: листоблошки, тляшки кровяные, тифии, пифии, пшикалки шипоногие, ларры анафемские – и т. д. NB! Это самый малочисленный из известных видов жонп.

Рассмотрим деление на виды рода *жонпы козюлинские*: долгоносики, трухлячки, скосарки, жужжалки, златки узкотелые, жужельки пчельные, мертвоедки – и т. д. Всего – несколько сотен наименований.

Рассмотрим деление на виды рода *жонпы подсосные*: хрущачки медовые, журчалки ручьёвые, хрилозодии, мокрецы. Всего – несколько тысяч наименований.

### Подвиды

По определению известного энтомолога (лепидоптеролога) В. Н., вид есть совокупность (кишение) подвидов. Однако жонпы, как и человек, имеют, разумеется, единственный подвид: жонпа разумная (*zhonpa sapienta*). Да и кто бы взялся оспаривать этот научный факт?

### Морфология жонп

Всего у каждой из жонп обнаруживается по две присоски: верхняя (головная) и нижняя (генитально-анальная). Обе расположены на брюшной (вентральной) стороне тела. Внутри верхней присоски находится ротовое отверстие. Оттого кажется, что жонпа, вцепившись в забугорную мужежертву, совершает отсосы именно этой присоской, но в действительности это не так: жонпа использует присоску исключительно для прикрепления, а все отсосы совершает ртом. В ротовой полости жонпы расположены 3 (три) челюсти с хитиновыми зубчиками, а по краям челюстей открываются протоки наркотических желёз. Их секреторная жидкость оказывает усыпляюще-эйфорическое воздействие на забугорную мужежертву. Внутренняя воронкообразная поверхность верхней присоски образует так называемую ротовую впадину.

В целом тело жонпы удлинённое, но не хлыстообразное. Головной конец сужен в сравнении с задним. Как и у большинства жонп, на спинной (дорзальной) стороне головного конца, по его краю, располагаются 5 (пять) пар глаз. Поверхность

тела жонпы не гладкая, а кольчатая: она иссечена поперечными бороздками, отделёнными друг от друга приблизительно равными промежутками.

Тело обыкновенной жонпы состоит из 102-х (ста двух) колец. Со спинной стороны указанные кольца покрыты множеством мелких сосочков. На брюшной стороне сосочков гораздо меньше – и они менее заметны.

На теле жонпы имеется большое количество отверстий. Вместе с ротовым их число составляет 38 (тридцать восемь). Заднепроходное отверстие жонпы, или порошица, находится на спинной стороне тела, близ генитально-анальной присоски. Два половых отверстия жонпы расположены на брюшной стороне тела, ближе к головному концу.

Наружные покровы жонпы носят название кожицы. Она состоит из одного слоя печатковидных клеток, формирующих особую ткань под названием эпидермис. Снаружи эпидермальный слой покрыт прозрачной кутикулой. Она выполняет защитную функцию и непрерывно растёт, периодически обновляясь в процессе линьки.

### Физиология жонп

Миграционно-копулятивный выход жонп зачастую носит массовый характер. При этом можно наблюдать роение этих организмов, во время которого происходит встреча полов. В этой ситуации жонпы даже «летают». Массовый «полёт» жонп состоит из однообразно повторяющихся движений. Быстро махая псевдокрыльями, которые выпростываются у них из присосок (и являются их придатками), жонпы чуть-чуть взмывают вверх, затем «таинственно» замирают и, благодаря большой поверхности упомянутых псевдокрыльев, кокетливо планируя, спускаются вниз – как правило, на навозные кучи. Такой «танец» совершают жонпы непосредственно в период размножения. Самец, забугорная мужежертва, подлетает к жонпе – и тут же, в воздухе, снизу, – прицепляет свои иностранные сперматофоры к её половым отверстиям. После спаривания мужежертвы в конвульсиях погибают, а жонпы откладывают яйца в их гнёзда. Встречаются также живородящие жонпы.

Жонпы обладают поразительной способностью к *регенерации*. Этим своим качеством они превосходят всех известных нам представителей современной фауны, включая любимицу Левенгука кишечно-полостную гидру. Жонпы способны восстанавливать свою девственность – по сути, бессчётное количество раз. Здесь речь не идёт о восстановлении самой *hymen* (девственной плевы), что при текущем состоянии пластической хирургии – дело плёвое. Можно, по заказу клиента, установить хоть две или три плевы кряду. (Здесь напрашивается прямая аналогия с установкой бронированных, пуленепробиваемых дверей в помещения с бог весть каким тайным богатством... Аналогия во многом сомнительная...) Но, тем не менее, речь не идёт о косметологическом вмешательстве в область промежности и паховых складок.

Речь идёт о материях более тонкой природы. И, соответственно, более тонких манипуляциях. Вот, скажем, кишечно-полостная или головоногая кралечка *раза четыре* (чем она, конечно, гордится) побывала в официальных объятиях Гименей – то есть прошла боевой путь от бракозакрывающего заявления в загсе до искового бракоразводного заявления в суде; эта дама, до мозга костей, пропала порохом, гарью, феназепамом, палёной водкой, липким потом случайных и неслучайных случаев с ней самцов, ладила-врезала новый замок (или наоборот – взламывала дверь – ловчась на арапа, незаконно то бишь, проникнуть в защищённое новым замком помещение бывшего супруга), прилаживалась уж было, маникюрными ножничками, ненароком взрезать спящему супругу сонную его артерию, ну, всякие там слежки-обыски-сцены-подставы опускаем (как входящие в прејскурант этих диалектических процессов по умолчанию), а шантаж-сплетни-афёры-инсинуации – как общие места.

Но ударяется эта потасканная кралечка о забугорную землю – и в тот же миг предстаёт пред детскими очами желающей быть сожранной мужежертвы – девицей-лебедицей, целкой-отроковицей, сладкоголосой птицей юности. (Ну и, разумеется, целомудренной-целомудренной розой: почище шри-ланкийской богини непорочности Паттинн.)

Такая жонпа (ибо всё перечисленное есть процесс вхождения жонпы в самую силу), произведя до того две дюжины аборт, а иногда гуманно уравнив их сданными в приют детьми, разрешает забугорной мужежертве целовать себя только в лобик, в ладошку, иногда – в щёчку, а в губки – в губки нет: этого она долго-долго стесняется.

### *Особенности алиментации жонп в различных биоценозах*

Мужежертвы и клиентура платят некоторым из жонп не только собственной жизнью и здоровьем, но и, например, *эфиопскими бырами*; некоторые жонпы базируют своё хозяйство на *хорватских кунах*, некоторые как-то изворачиваются (и даже становятся православными прихожанками) на *бангладешских таках*, иные строят здоровую тайландскую семью на *тайландских батах*. А есть даже и такие жонпы, что не отвергают ни *таджикские сомони*, ни *узбекские сумы*, равные всего-то ста *тыйинам*.

У жонп с заурядной телесной оснасткой высоко котируется *новый румынский лей*. Что же до знаменитых *монгольских тугриков*, то здесь статистических данных у нас, увы, недостаточно. Зато бойко идёт среди жонп твёрдый-твёрдый и очень длинный, несопоставимо длиннее рубля, *нигерийский найр*. В Лагосе за один поцелуй хрущачки медовой дают три *нигерийских найра*.

А некоторые жонпы, как в законном браке, так и вне брака, получают много-много *малавийских квач*. У них на чёрный день, который, как они считают, ещё не наступил, припасены тазы, ведра и оцинкованные корыта, полные *малавийских квач*. Мы располагаем некоторыми неопровержимыми данными, что особо фартовые жонпы умеют раскрутиться даже и до уровня *замбийских квач*. Одна журчалка ручьёвая, пишут, построила в своей родной деревне православный храм – держится он без единого гвоздя, только на *замбийских квачах*. Но в зарубежной печати проскальзывали опровержения: из Боливии писали, что храм держится на *боливийских боливиано*, а из Венесуэлы – что на *венесуэльских боливарах*.

Да и чёрт с ними со всеми.

## 6

Аад вернулся из отпуска с эффектной – и отнюдь не фиктивной – любовницей. Вернулся он с ней, скажем так, *в своём сердце*, ибо физически она жила в сопредельной стране. Что, конечно, только укрепляло – своим романтическим флёром – такого рода зыбкие отношения, которые, в отсутствие оно, возвращают Ромео и Джульетту к нехитрым пестикам-тычинкам секс-шопа и самодостаточным онаническим фантазиям.

Любовники встречались довольно регулярно.

У сопредельной принцессы было, суммарно, четыре неоспоримых достоинства: наличие мужа и троих детей. И не то чтобы Аад был так уж чадолюбив, скорее даже наоборот, а поэтому, безошибочным чутьём бывшего страхового агента, он сходу усёк, что с такой женщиной можно резвиться по полной программе – нимало не опасаясь ни истерик («хочу ребёночка»), ни фрустраций («очень-очень хочу ребёночка»), ни «задержек» («у нас, возможно, будет ребёночек»), ни бессердечных подножек («буду рожать»).

Между тем подошёл день (назначенный самим Аадом, а слово он держал) – подавать заявление на бракорегистрацию. Рая, наведавшись к Ааду накануне того, обнаружила кое-что похуже забытых (или подаренных) кружевных женских

трусиков, а именно: она увидела идеальный порядок, наведённый более-менее стационарной женской рукой. Эпицентром же былого беспорядка оставалось развороченное двуспальное ложе, служившее (причём, судя по свежеразодранному пододеяльнику и громадным жёлтым пятнам на простынях, – совсем недавно) ристалищем жесточайших, самых нескромных схваток.

Ведомая знаниями, добытыми в Клубе, Рая нырнула своей большой, вмиг всплывшей ладонью между томиком Фихте и томиком Ницше, затем – между томиком Шеллинга и томиком Гегеля, затем – между томиком Леонгарда и томиком Шлейермахера, где наконец и обнаружила искомое: фотографию конкурентки. Патлатая стервоза возлживала, как ни в чём не бывало, на этом – да: именно на этом! – стократно обесщещенном ложе – в костюме Евы, с бесстыжими, вольно разброшанными ляжками похотливой кобылы, – пребывая, судя по всему, в самом лучшем, то есть только что убогоулучшенном расположении порочных своих телес. Рая тайно сделала копию этой порнухи – копию, которая затем поочерёдно демонстрировалась ею наиболее опытным членам Клуба (и, переходя из опытных рук в руки наипытнейшие, была сопровождаема сиплым вопросом Раисы: ну?! и кто же из нас двоих лучше?!). Не дожидаясь ответа, Рая начинала истошно вопить: да чтобы я теперь!!.. да когда-нибудь!!.. да на эту кровать!!.. где он!!.. где она!!.. где они, сволочи, кувыркались!!.. да никогда в жизни!!!

И чем громче Рая вопила (хотя, что самое существенное, её в эту кровать никто и не приглашал), тем яснее становилось – даже случайно это слышащим детям – даже тем из них, которые совсем плохо успевали в школе: она к этой самой кровати – той, что вскоре будет узаконена местной мэрией как её, Раино, брачное ложе, – не то что проползёт – ринется по головам.

Включая собственную.

А что? В этом мире побеждает небрезгливый. Хотя – что же считать «победой»? Собственное поражение? Как-то совсем по-оруэлловски тогда получается. Сформулируем конкретней: наибольший человеческий приплод приносят наименее прихотливые, наименее взыскательные, наименее брезгливые самки. Что же тогда говорить о человеческом генофонде в целом?

В Клубе русских жонгл, за день до регистрации брака, Рая раздражалась также и другой инвективой. Словесный её состав (смысловой там отсутствовал) был примерно таков: а вот я завтра на него посмотрю!! я посмотрю, как он заявление на регистрацию подавать будет!! я ему ничего не скажу, я только в глаза ему загляну!! интересно, а он-то как в мои поглядит?! И т. п.

Высокоцитимые дамы, т. е. члены Клуба, скорее всего, не знали, что данный брак заранее был оговорен как фиктивный. Создавалось такое впечатление, что это немаловажное примечание напрочь упускала из виду сама невеста.

## 7

На следующий день Рая и Аад подали заявление (о роковом поединке их взоров нам ничего не известно), а через два месяца они уже смущённо топтались на малиновом коврик перед суконным ликом брачующего их чиновника. Рая ослепительно сияла во взятом напрокат (клуб «Русские Присоски») бархатном платье цвета варёной свёклы, удачно дополненным кучерявой синтетической розой, которая хищно чернела у Раиного широкого, как коромысло, плеча; голову её – устрашающе блестя лаком и гелем – венчала бабетта Бабилонской возвышенности (отчего и сама Рая возвышалась над Аадом на высоту этой баснословной бабетты); нагота Аада была прикрыта бурой тишорткой с малопонятной канареечной надписью «NIC IACET...»<sup>3</sup> и клюквенно-красными джинсами; очень нарядно выглядели

<sup>3</sup> Здесь покоится... (лат.) – надгробная надпись (прим. автора).

новые, огуречного цвета, пластмассовые шлёпанцы на босу ногу. Над чиновником, в золочёной раме, радуясь доброкачественности новой подданной – ах! – почти что помавая ей рукой! – поощрительно улыбалась королева Беатрикс, словно взявшая на себя вдохновляющие функции Флоры, римской богини плодородия. А по обе стороны от новобрачных стояли мы – два свидетеля: моя компаньонка и я.

Нам трудно было там стоять. Становилось совершенно очевидным, что мы присутствуем на сеансе заглывания кролика удавом. Это становилось очевидным как дважды два. Картина усложнялась однако же тем, что не было до конца понятно, кто же кролик и кто удав, – и если можно представить кошмарную картину в духе, скажем, Алана Гоббслея, где каждый является и кроликом и удавом одновременно, то это было самое то.

Пикантность ситуации заключалась также и в том, что Рая, питавшая свою духовную субстанцию животворными советами дам из «Русских Присосок», тем не менее, не решилась пригласить в качестве свидетельниц ни одну из них: она опасалась, что, неволью позавидовав её, Раиному, лучезарному счастью, жонпы её непременно сглазят.

## 8

Выскочив из мэрии как ошпаренный, Аад сразу же перебежал на другую сторону улицы. На другую – по отношению к той, по которой, сияя, зашагала его законная фиктивная супруга. Поволоклись и мы, свидетельницы, – в качестве свадебного – или похоронного – то ли шлейфа, то ли кортежа. Ещё вылетая из холла, Аад, тем не менее, остановился, потребовал наши (мои – и второй свидетельницы) прокомпостированные транспортные билеты, внимательно взглянул на них, затем на свои часы – и сказал, что, поскольку час с момента компостирования ещё не истёк, мы можем ехать на трамвае, ура, не производя дополнительного компостирования.

(Русский человек уловил бы в этом высказывании адресованный ему намёк убираться к той самой матери, праматери всех матерей, но мы с компаньонкой были уже тёртыми калачами и отлично понимали, что человек нидерландский, автоматически, проявил здесь единственно свою мифологическую *бережливость* – назовём это так – и соответствующую ей шкалу ценностей.)

Когда мы дошли до трамвайной остановки, Аад снова перебежал дорогу, на сей раз нам навстречу, словно присоединившись на миг к нашей зачумлённой тройце, но вскочил в иной вагон по отношению к тому, куда водрузила телеса его законная фиктивная жена – и мы, ошалелые *свидетельницы* («преступления, совершённого в особенно циничной форме»).

Впрочем, Рая продолжала сиять. А что? В этой жизни побеждает невозмутимый. Побеждает – кого? Ну, это уже другой вопрос.

Вторая свидетельница, забившись на заднее сидение, *как бы* смотрела в окно. Сидя с очень прямой спиной, она демонстрировала проходим редкий цирковой аттракцион: обильное увлажнение лица слезами – без какого-либо участия мимических мышц.

В таком составе и в таком настроении мы вышли возле дома Аада. Мы вышли там потому, что у него на этот день была назначена встреча с двумя музыкантами, которых познакомила с ним именно я, – поэтому он меня, а заодно и компаньонку, заранее пригласил. Не знаю, приглашал ли он Раю. Что-то даёт мне основание в этом сомневаться. Но она тоже направилась к его двери – вместе со всеми, как ни в чём не бывало. В это время, вприпрыжку, как раз подошли музыканты.

Увеличение поголовья компании на две единицы естественным образом разрядило обстановку. Это была уже именно *компания*, даже *компашка*, а никакой не свадебный кортеж. О том, что произошло пятнадцать минут назад, знали не

все, а только две трети присутствующих. И поскольку в квартире каждый из вошедших сразу же занялся своим делом – разматыванием проводов, настройкой гитар, подключением усилителей, а также сосредоточенным рытьём в книгах (в последние были углублены, конечно, вторая свидетельница и я), то Рая как бы естественно (естественно для неё самой) – но, на всякий случай, не по-наглуму, а именно что тихой сапой – вступила под своды святая святых. Она вступила под своды Аадовой кухни – «хлопотать по хозяйству».

Вот этот момент следует подчеркнуть особо. Итак, NB: Рая хлопотала на Аадовой кухне не как залётная пташка, не как гостя – на равных правах с прочими – нет! Она хлопотала как *хозяйка дома*, и на это было страшно смотреть.

Тем более, что Аад не смотрел на неё вообще. Это Рая смотрела на всех – со своей сладкой-пресладкой улыбочкой («Без мыла в жопу залезет», – как экономно определяла это выражение её экс-напарница по церковной койке). Итак, Рая смотрела на всех нас с этим убийственным (для любых *свидетелей*) и при том нерасторжимым выражением животной угодливости – и животной же невозмутимости. Карамельно улыбаясь, тараща глазки, вздыбливая бровки, она пыталась шутить. Разрумяниваясь, алея, рдея, хорошея – она поржала с подносиком, словно шекспировский Дух Воздуха. Подавая, убирая – предлагала, угощала, нахваливала: бутербродики, тостики, салатики, печенницы, конфетки, фруктики. Она подливала воду, колу, напитки, ещё какую-то дребедень – и всё это выглядело тем более странным, что в доме Аада почти ничего не было, он ни к чему не готовился: будний день.

Это явилось, наверное, первым испытанием для свежезарегистрированной супруги в стихийном, организованном ею же самой, *обряде брачной инициации*: суп из топора Рая таки да, супчик сварила. Хотя, если быть совсем точными, она сварганила потрясающий супец – причём буквально из воздуха.

Более того: оказывается, колбасясь вчера вечером в церковной пристройке (меж смертно смердящих наркоманов), она даром времени не теряла, но, напротив того, умудрилась испечь настоящий “наполеон” – роскошный, пышный, сливочнопалевоый – ах! – вызывающе-белоснежный – одним словом, царственный, – который она, бережно разместив в коробке из-под своих свадебных туфель сорок второго размера, – по дороге на фиктивное бракосочетание спрятала за цветочной кадкой возле самых дверей Аада.

И вот сейчас “наполеон” был подан. Источая сладость и масляно улыбаясь, торт, казалось, предлагал сам себя – совсем как испекшая его претендентка на единовластное правление кухонно-прачечным парадизом.

Чем закончился для новобрачной этот день, мы – то есть вторая свидетельница и я – не знаем. У нас не выдержали нервишки: мы, «по-английски», свалили.

## 9

Через неделю у меня стали раздаваться регулярные телефонные звонки. Звонки были от Раи, но жила она уже в квартире Аада. Каким образом оказался возможным такой кульбит? (Ну, это – смотря что понимать под словом «жила». «Рабинович здесь проживает?» – «Нет». – «А разве Вы – не Рабинович?» – «А разве это – жизнь?»)

О, если у вас возник такой сугубо отвлечённый вопрос («жизнь – не жизнь»), значит вы попросту недооцениваете женскую целеустремлённость. Которая, найди она более достойное применение (чем поимка и порабощение очередного идиота-самца), давно бы уже дала человечеству возможность открыть лекарство от рака, секрет вечного двигателя, вечной молодости, вечного счастья – и, реализовав свою, заложенную природой, мощную территориальную экспансию, – даже обнаружить симпатичную, богатую кислородом планету где-нибудь недалеко от

Земли. (Возможно, опять же, – для насаждения там кухонь и спаленок, но это уже другой вопрос.)

Вот один из впечатляющих примеров вышесказанного – примеров, свидетельницей которого (о господи! снова – *свидетельницей!*) мне не посчастливилось быть. Петербургский актёр по имени Иван Григорьевич Барсуковский – и гримёрша-лимитчица Люда. Какая-то ерунда по закулисной пьянке: он шёл в нужник, уже расстегнул ширинку, а тут спотыкается об неё, о гримёршу, – и вот падение (во всех смыслах), залёт, вот тебе деньги на аборт, нет, буду рожать; рожаю. Следующий номер программы: что будем писать в графе «отец ребёнка»? Ну, тут уж наш актёр, обременённый (осчастливленный) третьей семьёй, диабетом, тромбозом и всяческими званиями, встаёт на дыбы – а вокруг себя, вставшего на дыбы, проворно закрепляет в земляном грунте архаические фортификационные сооружения в виде противотанковых надолбов.

Наивный! В науке побеждать, как говорил Суворов, только зацикленный дурак артачится на любовой атаке.

В зоологической бойне между мужчиной и женщиной (по утверждению Антиопы, Пентесилеи и Фалестры) – так же, как, в целом, в зоологической бойне между «я» и «они» (по утверждению Сенеки, Шопенгауэра и Сартра), побеждает тот, кто имеет лучшую сноровку в обходных манёврах.

Короче говоря, примерно через полгода гримёрша Люда поднесла к близоруким, поражённым вдобавок глаукомой, очам Ивана Григорьевича Барсуковского два документа. Одним был её паспорт, где, на страничке о заключении-расторжении брака, её законным супругом значился не кто иной, как Иван Григорьевич Барсуковский; другим документом было свидетельство о рождении сына, имя которому оказалось Григорий Иванович Барсуковский, а отцом его, как прочёл с нарастающим ужасом Иван Григорьевич Барсуковский, был записан не кто иной, как Иван Григорьевич Барсуковский.

Скромно потупив утяжелённые тушью глаза, Люда объясняла (за рюмкой портвейна, подругам), что в пятимиллионном городе Питере – культурном, промышленном и военно-стратегическом центре, а также колыбели трёх революций, – она вот, как видите, смогла найти человека именно с такими данными (прямотаки, отметим себе мы, в традициях петербургского двойничества) – то есть существо мужского пола, которое, кроме того, находилось в юридически приемлемой для брачных уз возрастной группе. (Злые языки, правда, скорректировали эту легенду сплетнями о самой банальной взятке в паспортном столе, но красота воплощённого замысла, на мой взгляд, нимало не пострадала от этих легенд о муках творческого процесса.)

## 10

Экспансионистская операция под названием «Вселение Раи к Ааду» (кодовое название: «Вторжение») осуществлялась следующим образом. После заполнения документа о заключении брака Рая немедленно показала имеющуюся в нём запись святому отцу. Узрев штамп-стигмат, святой отец вынес приговор: он не имеет более права держать в стенах вверенной ему кирхи полноценную половину полноценного автохтона. Таким образом, состоялось изгнание Раи из лона одной, отдельно взятой церкви. Рая оказалась *как бы* на улице.

Драма бездомности в данном случае была, прямо скажем, сильно раздута. Пастор, конечно, Раю не выгнал, он только имитировал изгнание из рая – и он, к его чести, ещё долго не отторгал бы Раю от неоскудевающих сосцов церкви, ведь это невестка именно его, пастора, подкупленная-ублажённая райскими улыбочками, исходившими от целеустремлённой беженки, познакомила её со своим дальним родичем, «хорошим человеком». И в том случае, если бы Рая собственно-ручно не подбивала бы пастора срочно лишить себя крова (а дождалась бы вида

на жительство, затем нашла бы работу и сняла бы себе независимое жильё), пастор, конечно, потерпел бы Раино присутствие ровно столько, сколько это нужно было бы самой Рае.

Но Рае нужно было совсем другое. И пастор, рудиментарным житейским чувством, вполне догадывался, что именно. Будучи на стороне Раи (её рахат-лукумные улыбки не просто сулили, но *воплощали* райское наслаждение – совсем как шоколадка «Баунти», то есть делали это куда предметней и убедительней, чем могла бы сделать проповедь самого же святого отца), пастор одной рукой *как бы выселил* её на улицу, а другой немедленно призвал к себе свою невестку – с тем расчётом, чтобы та взялась Ааду названивать – и его, Аада, увещевать.

Пастор вкупе со своим святым семейством уже был проинформирован, что данный брак Аад считает фиктивным и что именно фиктивность являлась базисным условием брачевания, но, видимо, святое семейство сочло: а чем чёрт не шутит? Тьфу, сатана, изыди, грех, грех – имелось в виду: чем только не одаривает нас всемогущий Господь?

Невестка пастора взялась внушать Ааду, что *всё это* – сугубо временно, временно, временно – и, в целом, смысл этого внушения не сильно расходился с проповедями святых отцов, где безустанно подчёркивалось, что и сама наша leven-лихomanка, со всеми её топотами-хлопотами, притопами-прихлопами и даже развесёлой присядкой – явление принципиально временное. Ну, скажем, как корь. Немножечко полечиться. Но, главным образом, перетерпеть.

И Аад, несмотря на свой природный и профессиональный скепсис (по образованию он был философом), как-то совсем по-детски попался. То есть пустил троянского коня (великоросского происхождения, малоросской дрессуры) непосредственно к себе в дом-крепость.

Остальное было делом техники.

## 11

Эта часть, которую мы целомудренно именуем «техникой», сработала, правду сказать, тоже не сразу. Ну, сразу-то – только что бывает? Вот именно. А тут речь о сакральном единении Иня с Янем, на чём и зиждется мир по опечатке Господа Бога.

Для начала Рая проспала целый год в кухне Аада на надувном матрасе для водных развлечений. Уже в середине ночи матрас, как правило, сдувался, сдавался – и превращался в плоскую прорезиненную тряпку. Но, благодаря этой тряпке, Рая спала не на голом полу.

Узнала я об этих интимных подробностях Раиного постоя – от неё же по телефону. Но и в вопросе эксплуатации телефона образовался своеобычный нюанс.

Аад запретил Рае отзывать на телефонные звонки. Ясное дело: эта приبلудная подселенка с легитимными документами фиктивной жены не должна была отпугивать и без того недружные ряды Аадовых поклонниц. (Таких дур было немало: Аад был смазлив – капризно-слащавой красотой оранжерейного нарцисса. Не будучи набобом, умеренным бабником он всё-таки был.) Тем более Рая не имела никакого права дать повод его главной пассии – трёхкратной мамочке из сопредельной страны – засомневаться в верности Аада.

Таким образом, когда я звонила Рае, процедура протекала следующим образом. Сначала раздавались 10 (десять) гудков, затем – словно кто-то спускал курок револьвера – слышался сухой щелчок, и вот тогда аппарат, скрипучим, врожденно-старческим голосом Аада (который как нельзя лучше соответствовал этой адской машинке), сообщал, что, да, дескать, говорит телефонный автоответчик Аада ван дер Браака. Затем звучала партита Баха, под которую Аад назидательно мелодекламировал какой-то стишок, – и только после этого раздавался освободительный



писк-сигнал записывающего устройства. Тогда наступала моя очередь заявить о себе. И я принималась во всю глотку орать: «Рая!! Рая!! Рая, это я!! Возьмите, пожалуйста, трубку!!!»

Поскольку орал не кто иной, как я, то есть женщина, которая уже не могла охладеть к Ааду больше того, чем была охлаждена изначально, да к тому же одна из *свидетельниц*, которых в мыслях он убирал (убивал) многократно, а в реальности – вот поди ж ты попробуй, – телефонную трубку Рае взять позволялось. (Такую категорию звонков Аад, конечно, предусмотрел.)

Но в пределах досягаемости Рая была далеко не всегда, поскольку активно моталась по чужим квартирам с целью драить унитазы, раковины, ванны и ванны, полы, окна, кухонные плиты, а также: пылесосить полы – ковры – лестницы, а также: ухаживать за растениями и домашними животными, а главное: выслушивать ужасающие в своём занудстве медико-фармакологические саги пенсионеров.

Но – ничего не поделать. Сладкая-пресладкая карамельная улыбочка Раи, которая лучезарилась на её физиономии незаказно, то есть застыла, словно приклеенная, отверзала уста даже обезьязычевшим паралитикам.

## 12

Примерно через год Аад повысил Раю в ранге. Причин этого факта я не знаю, но суть его состояла в том, что Рае *было уже позволено* брать телефонную трубку в случае *любых* звонков. Такое частичное восстановление в правах после полного в них поражения можно объяснить спорадическим обострением великодушия у того, кто был попросту взят измором, – почему нет?

Хотя не исключаю, что Рая, по совету наиболее продвинутых жён Клуба, на досуге нет-нет – да и зашёптывала куриное яйцо (семьсот семьдесят семь заклинаний ежедневно, в течение семи дней); крестообразно мазала его своей менструальной кровью третьего дня; посыпала пеплом срамных (лобковых) волос Аада, снова зашёптывала (см. выше); затем мочилась на него утренней мочой, орошала утренней же росой; затем, под первой звездой, натирала его голодной своей слюной, а также седьмой по счёту левосторонней слезой, – и, наконец, в пятницу, с вечерней зарёй, закапывала яйцо на кладбище, в семидесяти шагах на запад от крайней детской могилки.

В любом случае – прорыв произошёл немалый, согласитесь.

А вскоре я узнала (от неё же, по телефону), что восстановление в правах пошло даже шире, чем мне сообщалось первоначально.

Оказывается, Рая уже *спала* с Аадом. Ненавижу этот глагол в его *переносном значении* – звучит, на мой взгляд, ещё мерзопакостней, чем фраза «она в интересном положении», или «она облегчила свой нос», – но упомянутый глагол стоит здесь в своём наипервейшем значении: она именно что спала. По крайней мере, пыталась уснуть. Ещё конкретней: если Рая и пребывала в объятиях, то исключительно Морфея.

Бог весть, почему Аад позволил ей взойти на его королевское ложе. Возможно, Рая плодотворно поскулила, что на полу может застудить себе почки, придатки, гайморовы пазухи, межрёберные нервы – ну и так далее – или подобного рода медицинские прецеденты уже имели у неё место. (А платить по страховке – Ааду.)

Не исключаю также, что Аад как истинный философ, то есть индивид, довольно ленивый в области бытовых действий, не был чужд *квиетизма*, а потому, что называется, и *пошёл в Каноссу*: в конце концов, преследуемая целой сворой инстинктов осатаневшая женщина может атаковать спящего, беззащитного обладателя тестикул и с положения «лёжа на полу» (и это, согласитесь, не самый сложный для неё случай), – но если она будет лежать рядом (как неуклюже обманывал себя Аад), притяжение запретного плода значительно для неё ослабнет – не может, чёрт возьми, не ослабнуть – за счёт регулярной обыденности всех составляющих

(пижама, чистка зубов, спуск воды в туалете, позёвывание, почёсывание), входящих в узкофункциональный акт безбурного, бесполого отхода к супружескому сну.

Действительно: с переменной Раиной дислокации для неё, Раи, многое осложнилось.

Теперь, когда расстояние между противостоящими сторонами сократилось до минимума, возможность обходных маневров у Раи исчезла. Ей следовало резко сменить тактику. Поэтому, помимо фронтальной (штыковой, артиллерийской, танковой) атаки, Рая неоднократно применяла к противнику длительную пытку лишением сна (в виде «задушевных ночных разговоров», подпираемых целым рядом красочных примеров из Всемирной истории, напечатанной в отрывном календаре: Тристан и Изольда, Лейла и Меджун – ну, и ещё пара-тройка классических пар – вроде таких, как, скажем, Николай Рыбников – Алла Ларионова).

Выпускала Раиса и своих боевых слонов. Природа щедро оснастила её большой белой грудью, царственными ляжками – и обильными, пышными, сокрушающими мужской разум ягодицами.

Однако занявший твёрдую оборонительную позицию Аад – в случае тривиальных женских вождедений – оказался не таким безнадёжным ослом, каким он ярко проявил себя в филантропическом проекте интеграции «новой подданной королевы». А потому он, Аад, сразу же вломил Рае в лоб, что: 1. физически она ему не нравится, 2. романтически не вдохновляет, 3. эротически не возбуждает, 4. сексуально не интересует вообще, 5. а на предмет рождения детей – просто отпугивает. После чего он закамуфлировал органы зрения веками – и поглубже забрался в свой уютный, сооружённый из подушек и одеяла, индивидуальный бункер.

### 13

Все эти пункты, один за другим, Рая изложила мне в своём *вое по телефону* (обозначим таким образом эту разновидность устного народного жанра), чем полностью парализовала мою двигательную, а также мозговую активность.

Тогда она, с тем же *воем* (вот это были единственные минуты, когда карамель розовогубой улыбки всё же сходила с её лица), Рая приспособилась звонить в Киев – *настоящей женщине*, ушлой (хотя и подувядшей) красавице, мужней жене с пугающим стажем супружеской жизни («Столько не живут», – как шутила она сама последние лет десять), опытной хозяйке, а именно: своей кровной родительнице.

Мамаша Раисы оказалась нервами куда как покрепче меня, что нетрудно. Она тут же озвучила новые пункты *науки побеждать*: а за руками ты ухаживаешь?! Не думай, что руки – это второстепенная часть!! Это как раз первостепенная, да!! У женщины должны быть красивые руки! Питательный крем на них ложишь? Ногти свои укрепляешь? Подпиливаешь? Лаком-то мажешь? А волосы из носа выдёргиваешь? А массаж волосистой части головы – ты знаешь, что это? Да не себе! А мужу своему! Мужчины это все любят! (*Дробное нутряное кваканье.*) А гимнастику для бёдер? А хула-хуп крутишь? Сколько, кстати, у тебя сейчас сантиметров в талии? А педикюр делаешь?

Ну и так далее. Фрикативное «г» и прочие альтернативные фонетические единицы добавить по вкусу.

### 14

Не успела я ещё восстановиться от паралича, как Рая мне позвонила с *воем*, что у неё будет ребёнок. У меня еле хватило разума не уточнять, от Аада ли возникла сия завязь, когда я поняла: *вой* Раи относится не к самой беременности, а к тому факту, что *он*, то есть Аад, ни о каком деторождении и слышать не хочет.

Тогда Рая обратилась к потенциальным союзникам. О нет, это уже не были тёртые дамочки из «Русских Присосок». То были советники рангом повыше: пресноликие, воблообразные (в целом похожие на гибриды налоговых фининспекторов с автоматами для размена денег) сотрудники из службы социальной психологической помощи (СПП).

Можно сказать, что, обратившись к аборигенам, Рая открыла Второй фронт. Желая ударить по противнику объединёнными силами, Рая старательно выла в кабинетах СПП: и пускай!! и пускай!! я сделаю аборт!! – на что сотрудники СПП отработанно напускали на свои лица *сострадание и крайнюю озабоченность*: что вы! Что вы, что вы! Хорошо подумайте!! Ведь это ваша первая беременность! Вы замужем! ваш муж хорошо получает! Здесь снова вступала Рая (*ария героини*): так знайте ж: я поеду рожать на Украину! И останусь с ребёнком там, на Украине! И пусть мы там вместе погибнем от повышенного радиоактивного фона!! *Хор*: что вы говорите, Рая! Одумайтесь! Вы ещё так молоды! Ведь ваш муж будет очень опечален, если вы умрёте от радиации! А если погибнет от радиации ваш с ним ребёнок, ваш супруг опечалится ещё больше!

Короче, сотрудники СПП, несмотря на своё таинственное высшее образование, как-то не вполне уяснили, что Аад не хочет ребёнка принципиально – ни от кого – не только от Раи в частности, но, по его утверждению, даже от бельгийской принцессы.

Однако оставим бельгийскую принцессу безутешно плакать под дождём, возле парадного подъезда Аада, где она потеряла последнюю надежду на интракорпоральное (естественное) осеменение, – и вернёмся к сотрудникам СПП.

## 15

Их профессиональные умозаключения были таковы, что Аад на самом-то деле ребёнка как раз хочет, ещё как хочет, *ему просто так кажется, что он не хочет*: от запредельно сильного хотения он частично потерял ум – и потому даже сам не сознаёт, насколько же он всё-таки хочет ребёнка.

И вот – работники СПП вызывают к себе Аада. В этой истории, загадочной для меня от начала и до конца, одним из наиболее загадочных мест мне видится именно это: за каким лешим Аад к ним всё же повлётся?

Здесь лезут в голову самые неправдоподобные версии, начиная от целенаправленных заклятий Чёрного Полесья, аккуратно воспроизведённых Раисой по наушечию ушлой киевской мамы; цепочка логически длится мистическими обрядам вуду (благо среди самых разномастных подданных – у королей Оранских есть и такие) – и тянется аж до непреднамеренного сглаза Аада его же собственными сослуживцами. Разве не бывает? Конкуренция.

Кроме того, я вспоминаю описанную одним современным классиком гибель некоего частного лица на гражданском аэродроме. Внезапная эта гибель происходит, тем не менее, не сразу, а поэтапно, зловеще растянуто (главный ужас действия заключается именно в её растянутости), завлекая человека всё дальше и дальше к точке необратимости. Смерть словно играет с ним, забавляется им – ведь погибнуть человек может в любой из описанных точек, судите сами: ветром у него сдувает шляпу, он бежит по лёгкому полю, его чуть не сбивает грузовой автокарой (слово-то какое!); он увёртывается, поскальзывается, падает (сильно ударившись затылком об лёд), но это не всё: падая, он делает неловкое движение, выпускает из рук портфель – тот раскрывается, и из него выкатываются, в одну сторону – красное яблоко, в другую – фиолетовый флакончик дезодоранта; побеги человек за дезодорантом, остался бы жив, но бедолага бежит почему-то за яблоком, особенно красным на белом снегу: порывом ветра его, бегущего, толкает к находящемуся рядом допотопному самолётику «ЛИ-2», и лопасть включённого пропеллера наконец-то сносит человеку голову.

Аад стоит в кабинете СПП, а Рая в том кабинете лежит. Нет, поймите правильно: лежит она не в раздвижном комфортабельном кресле для пациентов, а прямо на полу, который ещё хранит грязноватые следы продавца из магазина детских игрушек, приходившего жаловаться на свою жизнь в целом и наркозависимость в частности. Рая лежит на полу у стены: где стояла, там и сползла, – внезапно ей сделалось дурно.

По законам куртуазного жанра, Аад (не этот, а лучший – в плаще, с розой и шпагой) должен бы ослабить, а то и вовсе расшнуровать ей тиски узорчатого корсета, затем изумиться прекрасным белым грудям (похожим на два сливочных пирожных – каждое с яркой клюквинкой посередине), затем потерять голову, а затем уже действовать по темпераменту: то ли опрыскать прекрасной синьоре лицо и грудь, – то ли, как писали поэты востока, *оросить розу нектаром любви*; второй вариант, конечно, предпочтительней (для заждавшихся зрителей).

Пока Аад втаскивает Раю в кресло, а работница СПП подаёт ей бумажный стаканчик, открывает окно и испуганно звонит в регистратуру, Рая тихо, но настойчиво воет: ойййй!.. чувствую, сейчас скину!.. ой... сейчас у меня здесь выкидыш будет... ойййй... матка уже сокращается... оййй... ойййй... Как бы теряя чувства и контроль над ними, Рая воет всё же по-нидерландски, помогая себе, в наиболее сложных местах, английским – а то, вой она на своём родном, кто же ей станет внимать? (Ключевые слова «выкидыш» и «матка сокращается» Рая предусмотрительно вызубрила на обоих языках.)

Работница СПП, обратив на это внимание особо, совсем не рада перспективе получения выкидыша здесь, в кабинете, где она только что скрупулёзно агитировала эту иммигрантку за здоровые роды. Чиновница смутно чувствует какую-то нестыковку в своей нелёгкой работе и потому старается выпроводить эту странную *steltje* (парочку) как можно быстрее. При этом она советует Ааду обращаться с женой помягче – по крайней мере, не поднимать тему аборта ещё недели две, пока риск самопроизвольного выкидыша («несущего опасность осложнений») достаточно велик.

Проходит две недели. Аад, искоса поглядывая на законную фиктивную супругу, отмечает объективное улучшение её состояния. Он открывает рот – и говорит то, что давно собирался сказать. Рая (с трогательным послушанием наложницы фараона) безропотно идёт туда, сама знает куда.

Вернувшись позже обычного, она ложится (с видом наказанной собаки) на надувной матрас.

То есть самостоятельно наказует себя, при том явно понижая в статусе.

– В чём дело? – встревоженно закуривает законный фиктивный супруг.

– Пропущен срок, – виновато заикается Рая. – Дело в том, что в самом начале его определили неправильно: сейчас у меня на самом деле уже больше, чем двенадцать недель.

Как легко догадается всякий, кроме Аада (несмотря на его, Аада, высокий IQ), срок беременности, и вот именно что с самого начала, был определён как раз правильно (причём самой Раей, с помощью тестера); отвлекающий манёвр в кабинете СПП был осуществлён с целью выиграть время.

Но Аад не сдаётся. Он выясняет, что аборт делают не только на таком, но даже и на большем сроке – по медицинским показаниям. Правда, Рая, *на его беду* (так думает он), здорова, как стадо лошадей. Поэтому остаётся три пути:

1. Подпольный аборт в любых условиях (Аад не спит ночь – и контраргументы либерального европейца побеждают).

2. Фиктивные данные о нездоровье Раи (за ними надо ехать, как минимум, в какую-нибудь Португалию, а то и в Румынию – кстати, там же лучше всего и довести дело до конца, но – money, money, money).

3. Есть такой волшебный кораблик-абортарий (Королевства Нидерландов), который, стоя на якоре в *нейтральных водах* (на расстоянии, как оговорено, не менее двенадцати миль от строгой и неприступной, неукоснительно католической Польши), делает для женщин, бегущим к нему по волнам, *всё необходимое*, что, по странному совпадению, запрещено польским законом.

То есть делает, конечно, не сам кораблик, а несколько работающих на его борту бригад – гинекологов, хирургов, анестезиологов и медсестёр. Следовательно, Раису надо будет тащить в Польшу (снова – money, money, money), затем добраться до соответствующего порта, а уж затем – как именно? лодочкой? яхтой? – преодолеть эти двенадцать миль до чудо-кораблика – о, сплошные убытки! – а на самом кораблике, украшенном, как Аад с ужасом видел в рекламе, китайскими фонариками и гирляндами живых цветов, надо будет заказывать каюту, операционное вмешательство (с каждым днём беременности элиминация эмбриона, конечно, дорожает), – не забыть вперёд оплатить послеоперационный уход и контроль, а ведь там, на кораблике, надо ещё и питаться – о! можно себе представить (точней, нельзя), какие на том гинекологическом плавсредстве цены! А вдруг там ещё и очередь?! Money, money, money... must be funny... in the rich man's world...

## 17

Долго ли, коротко ли, но через полгода телефонный голос Аада говорил следующее: «Здравствуйте. Говорит автоответчик семьи ван дер Браак. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение для Аада, Раисы или Йооста».

Я оценила посильное остроумие Аада. Но всё-таки я не смогла понять его расчёта: в корнелевской борьбе между долгом и сердцем – точнее сказать, в борьбе между жизнью и кошельком – победил, что не странно, кошелёк. Странно другое: видимо, Рая тотально зомбировала озабоченные (укреплением обороны) мозги Аада, если смогла провести и закрепить там мысль, что производство ребёнка на свет обойдётся куда дешевле, чем его уничтожение в материнском чреве.

«Дешевле» (goedkoper) – это, конечно, магическое (даже парализующее) сочетание букв для автохтонов Низких Земель. На это словцо их можно ловить – ну просто как тупорылых карпов на хлебный мякиш. Так что зачарованный Аад словно упустил из виду двухэтапность процедуры, где непосредственно роды – от первых схваток до плодоизгнания – занимают максимально восемнадцать-двадцать часов, а вот пестование-воспитание (именно эту часть проекта Аад как-то и не учёл!) – восемнадцать-двадцать лет.

Прикиньте. Причём это как минимум.

И то – исключительно в странах Первого мира.

А неизвестно, в какой по счёту мир может закинуть человека изобретательный рок.

Но – кто старое помянет, тому... обвинения, шишки на голову и приключения на его глупую задницу. Как сказал известный режиссёр, счастье – это хорошее здоровье и плохая память.

...Через четыре года они чинно-мирно шли из детского садика. Впереди семенял Йоост, с противным грохотом взяв на верёвочке игрушечную машинку. Чуть сзади него, как-то отдельно ото всех, неторопливо шёл Аад с мечтательно-отрешённым выражением по-семейному располневшего лица, которое, как водится в таких случаях, приобрело черты туповатой барственной вальяжности. Рядом с ним – затравленно, вся настороже, клала-выкладывала большие свои стопы верная Рая, с заботой кошки глядя на сына и с озабоченностью – на супруга. На лице Раи, как всегда, была чётко позиционирована её сахарно-карамельная лучезарность, которая, засахарившись под воздействием времени, воздуха и перепадов температур, словно окаменела.

Вот, отпускаю шпильки по поводу чьего-то беспамятства, а сама забыла такой яркий период Раиной жизни, как токсикоз первой половины беременности. С присущей ей «положительной установкой» на всё сразу – установкой, при которой любые явления жизни всеми правдами – и, главным образом, неправдами – подгоняются под единственный ответ задачника («Всё будет хорошо!.. всё будет хорошо!..»), Раиса, конечно, подтащила под свой токсикоз «позитивную» идейную базу: оказывается, её организм, прежде чем принять святой венец материнства, очищает свою карму от грехов прошлого. В том числе от грехов предков вплоть до Адама. То есть: чем сильнее выворачивает, тем лучше!

Грехами, в конкретном, сиюминутном выражении, были: гречневая каша, пельмени, солёные огурцы, халва, конфеты «Мишка на Севере», жареные семечки – всё то, что Рая с иступлённым упорством покупала в русском магазине «Озорные лапти» (особенность её токсикоза заключалась в том, что она была в состоянии потреть только русские продукты; данный медицинский, а может, и политологический казус обеспечил бы соответствующему учёному, полагаю я, Нобелевскую медаль). Все эти продукты были словно бы предметным воплощением Раиных грехов, потому что именно они, едва поглощённые, тут же, прежним путём, выходили наружу. Процесс очищения кармы проходил у Раи круглые сутки, с очень короткими перерывами на сон – перерывами настолько короткими, что Аад, который ни разу не оскоромил своих дланей, дабы внести свой вклад в семейное хозяйство, по ночам орал на беременную жену: что, корова?! что, раковая сука?! Опять тебя выворачивает?! Я же должен спать!! Мне же утром на службу!! Когда же, боже мой, это кончится?!!

И Рая снова перебралась на свою воздушную подстилку в кухне. Но на сей раз она дальновидно утеплала её разнообразным тряпьем, которое, в целях свивания ею гнезда, натаскали в хлопотливых клювах товарки по клубу «Русские Присоски».

Днём она разговаривала по телефону, к которому у неё уже был полностью свободный доступ (не сразу Москва строилась); телефонная трубка торчала из её шуйцы победно, как жезл; десницею придерживала она на коленях металлическую миску с горячими свиными пельменями; у стоп Раисы жертвенно ждал своей минуты пластмассовый тазик. Рая говорила по телефону, скажем, – здравствуйте, ой, сейчас только пельмень съем! – запихивала пельмень «прямо в пельку» (как любовно именовала это отверстие её мамаша); далее абонент вынужден был прослушать целую гастроэнтерологическую увертюру к ожидаемой алиментарной сюите – увертюру, состоящую из звуков пережёвывания пищи, её заглатывания, многосложной отрыжки, мощных рвотных спазмов, стонов, непосредственного плеска чего-то жидкого (абонент, к счастью для себя, не видел, что почти не изменённые кусочки пельменей выскакивали при этом у Раи даже через ноздри), после чего Рая громко, основательно чихала – с завершающим всхлюпом и всхлипом – затем сморкалась, утирала нос-рот, глубоко вдыхала, говорила: о, проклятый! Ишь, назад выскочил! а вот сейчас запихну другой!.. Добренький день ещё раз, Валентина Ивановна! Ну, как вы там поживаете? – запихивала *другой* (это было хорошо слышно), и – сложная музыкальная фраза повторялась.

Рождение ребёнка не изменило образа жизни, который вёл Аад. Имеем в виду: ни в малой степени не изменило его к худшему. Очевидно, таковым было его условие деторождения (причиной которого, деторождения то есть, стал, если подумать, совокупный комплекс социально-исторических обстоятельств, как то: коллапс Азиопской Империи, распад Варшавского блока, падение Берлинской стены, падение рубля и всех прочих местных валют Империи, грязевые потоки

восточноевропейских миграционных лавин, граничащая со слабоумием толерантность кальвинистов древней Батавии – и, конечно, спекуляция грузинскими винами, производимая одной, отдельно взятой, кирхой – для камуфляжа чего её духовный руководитель находчиво соорудил нетривиальную филантропическую ширмочку).

Красавчик Аад, вполне основательной фобией которого являлось интеллектуальное и духовное «опрошение» на сонных огородах Гименея (безграничных, монотонно расчерченных тыквенно-капустными грядками до самого горизонта), решил принять некоторые превентивные меры – с целью сохранения своей гармонично сбалансированной цельности.

Выглядели эти меры так. После работы Аад рассеянно заходил домой (здоровая пища, имевшая сущностью тщательно просчитанные Раей калории, единицы весонаблюдателей и витамины, – снедь, принимавшая формы изысканных салатов, овощей, свежайшей зелени, рыбы или лёгкой дичи, – эта однозначно полезная, изобретательно декорированная снедь, восторженно ждущая своего съедения в компании невесомых, а затем янтарно-тяжёлых бокалов, крахмальных салфеток, курчавых живых цветов и зажжённых свечей, – вся эта снедь подвергалась небрежно-элегантному анатомированию серебряными, сверкающими счастьем среднего достатка вилками-ножами). После чего Аад ложился на диван перед телевизором и отдыхал двадцать пять минут. Затем, в спешном порядке, производил собственную эвакуацию из своего же семейного (словно заминированного) дома-крепости: в понедельник – брать частные уроки фортепьяно, во вторник – учиться итальянскому языку, в среду – плавать и продуманно нырять, в четверг – грамотно накачивать мышцы, в пятницу – в меру фривольно вальсировать, чарльстонничать и фокстротничать, в субботу – общаться с эсперантистами (затем снова гнать на велосипеде в бассейн, а после – на курсы балльных танцев), в воскресенье – записывать лекции по истории средневекового искусства (а затем снова, подпрыгивая, бодро шагать в фитнес-клуб). Вот вам и семь дней в неделю.

А дома надо, соответственно, делать домашние задания. По всем предметам. Ну, разве что кроме плавания и ныряния.

## 20

Утверждение, что муж и жена – одна сатана, на мой взгляд, не бесспорно. Это, скорей, предрассудок, даже вредное заблуждение, наподобие того, каким является то, будто Бойль – Мариотт – это одно лицо («одна сатана»), в то время как они, вот именно, муж и жена. С позиций же духовной и прочей энергии логичней было бы припомнить, применительно к супругам, как раз закон Ломоносова – Лавуазье, и тогда мы бы поняли, почему происходило так, что чем больше Аад впитывал знаний и умений, накопленных человечеством, тем меньше в Рае оставалось сил, чтобы сопротивляться своей обвальской деградации.

Дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Да хоть бы и в сто тысяч ли.

Ещё будучи на сносях, с огнедышащим брюхом (таким, что Аад почти не врал, когда отказывался обнимать её, говоря, что у него руки короткие), похожая на предгрозовую баобаб, Рая перевезла Аада в другой (более «культурный и цивилизованный») город, на другую (более комфортабельную) квартиру.

Но и в той, другой, квартире, оказалось «много дела для умелых рук»: Рая затеяла обширный косметический ремонт.

С утра всё шло по графику: блинчики ждали Аада в магнетроне, кофейный аппарат французисто картавил и уютно булькал; Рая стояла уже высоко.

Она высилась под самым потолком, словно пролетарская кариатида. На паркет, покрытый прозрачной плёнкой, обильно летели мелкие снежные брызги. «Gospodi! Opiat' zdes' eta zhenscina s vedrom!», – Аад, на пути в ванную, проталкивал, сквозь части зевка, ритуальную свою шутку. (Он слышал, что у русских есть какой-то че-

ловек с ружьём, какая-то женщина с веслом – и приятель, переводчик, научил его сходной фразе.)

В этот момент Рая обычно делала начальное движение, чтобы слезть со стремянки и подать Ааду блинчики, но токсикоз, на сей раз уже второй половины беременности, проявлял свою жестокость к ней ревностью: тут же в глазах у Раи темнело, она в ужасе хваталась за верхнюю ступеньку стремянки, из Раиного зева начал обильно выхлёстывать разноцветный фонтан: теперь она становилась похожей на полнотелую, позолоченную, красиво подсвеченную – влагоизвергающую нимфу – в далёком, не виденном Раей никогда Петергофе. «Ну вот, опять! ты опять! – справедливо констатировал Аад. (При этом он держал жужжащую электробритву возле самого уха, словно желая заглушить исходящие от жены звуки.) – Мне же завтракать надо! Вот – теперь у меня! – из-за тебя!! – весь аппетит пропал!!.»

В это время, как правило, звонил телефон. Киевская родительница точно чувствовала, что именно сейчас, в этом сложном раунде, ей надлежит сыграть роль рефери. А ты каким дезодорантом пользуешься? Польский никогда не бери, это ж барахло! А волосы ты каждый день укладываешь? А полоскание для рта ты уже купила? А лозы ты интересные хоть знаешь? Муж из-за твоей беременности ни в коем случае не должен страдать, ты это запомни!..

На каждый вопрос родительницы Рая незамедлительно откликнулась рвотным спазмом.

## 21

Вернёмся однако к Ломоносову – Лавуазье. Их закон трудно было бы подвергнуть сомнению уже при первом визите в семью ван дер Браков.

Аад, как правило, заводил за столом «культурный разговор» – например, занудливо меня спрашивая, смотрела ли я то-то и то-то (называя несколько популярных в текущем сезоне кинематографических помоев)? Нет, я на такие фильмы не хожу, – я с удовольствием сосредотачиваясь на котлетах по-киевски. Так и я ведь не хожу! – радостно откликнулся Аад (в чём был вполне искренен), – вот Раечка меня только затаскивает... Сажает с собой рядышком... Да, Раечка?.. Ужасно. Выбегаю из зала уже через две минуты... Такой отстой! – После этого он, с гадливой улыбочкой, приобнимал жену за широкую, ещё больше раздавшуюся после родов спину, и заканчивал. – Зато нашей Раечке такое кино – нра-а-а-авится... Да, Раечка?.. Да, пусик?..

Создавшуюся неловкость гость ловко заедал котлетой, запивал прекрасным грузинским вином.

А Рая... Рая сидела с тем неопишеским выражением, какое бывает у одного из давно живущих вместе супругов, когда второй, в простоте душевной, сообщает обедающим гостям, что тот, первый-де, храпит, сопит и пукает во сне. Как из бочки! – обводя взглядом жующую аудиторию, поясняет скрупулёзный рассказчик. Самое занимательное, что, даже при этом неопишеском выражении, фирменная Раина улыбочка не сползала с её лица всё равно.

Это был такой – широкоформатный, карамельно-жемчужный – и всё равно – оскал... Словно посмертная маска непоколебимой, пуленепробиваемой позитивности... Застывшая эманация нервно-паралитического жизнелюбия...

## 22

Но не будем заикливаться на быте. Существовало же у Раи и социальное лицо, верно? Тем более, что не стал бы ведь Аад, в самом деле, держать жену на своём иждивении. С какой это стати?



То есть: коли Рая не околела с голоду и даже растила сына, это значит, что она где-то работала. Где же?

Увы. Работала она в той же самой кирхе, которая когда-то приютила её самое<sup>4</sup>. Правда, физически Рая находилась в другом районе города, а именно: в филиале.

Это было здание, втиснутое между секс-шопом и магазином религиозной литературы. Ещё за квартал можно было разглядеть крупную вывеску над дверями, которая выламывалась из общего ряда бесспорной пикантностью нездешних букв. Надпись была такая:

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!**

Но и здесь, как и в знаменитом романе уже упомянутого нами Оруэлла, смысл надписи следовало понимать прямо противоположно.

В это здание, с котомками в руках, сползались существа, рождённые людьми, от людей, – и людьми же превращённые в хлам. Конкретней говоря, это были представители того самого, временно пригретого кирхой контингента, чей срок пребывания в ней истёк. Скорее всего, истекал он по той причине, что пересмотр дела в Министерстве юстиции заканчивался снова отрицательно (при последней апелляции из возможных), – итак, из Министерства приходил окончательный отказ, а партнёров для вступления в счастливый брак эти несчастные обрести для себя не смогли. Они не находили даже партнёров для сожительства – однополого, двуполого, обоюполого, бесполого – сколько их бывает в природе? – не находили, и всё тут.

И теперь этим недотёпам следовало дать пинка под зад. То есть: полновесного депортационного пинка.

Таков был второй этап в технологическом цикле камуфляжа винной спекуляции. Но если первый этап (приём убогих – с распростёртыми объятиями) происходил непосредственно в теле церкви, то этап пинка под зад был от церкви – с целомудренной дальновидностью – отделён. И вот в этом самом филиале, имеющем функцией праведное христианское воздаяние, то есть низвержение грешников напрямиком в ад, восседала Рая.

Я видела, как к ней пришёл человек, – за десять минут до закрытия конторы. Точней говоря, он влетел – и рухнул на стул бездыханный. Он прибыл из какого-то лагеря, куда после филантропической кирхи, чудом, снова сумел приткнуться – теперь он пришёл к Рае, а до того ехал сюда полдня, с другого конца страны, со множеством пересадок, на последние центы, причём в пути случилась авария. Ему надо было спросить Раю о каком-то порядковом номере для своего ребёнка, выяснить какую-то категорию, или какую-то сумму – или просто забрать какую-то справку – этот вопрос, как он сказал, решался в полминуты.

И Рая не возражала. Она не возражала, что вопрос этот мог бы решиться в полминуты. Но она резко возражала против решения данного вопроса прямо сейчас. Она назначила посетителю новый визит через две недели. Тому предшествовали: долгая возня с настольным календарём, озабоченное хмыканье, пожевывание губами, насупливание бровей, задумчивые носовые звуки. Но к тому времени будет уже поздно! – взвыл полураздавленный проситель. Ничего не знаю, – давила его Рая. Но у Вас же ещё десять минут рабочего времени, ну пожалуйста! – прохрипел ходок. Ничего не знаю, – уютно, по-советски, пропела Раиса. И подняла лицо: чтобы клиенту лучше была видна её улыбка.

Видела я и харьковскую девушку, которая пришла к ней и молвила: а не могли бы вы меня здесь с хорошим мужчинкой познакомить? – А зачем тебе это? – иск-

<sup>4</sup> К сведению российских читателей: в странах Бенилюкса, даже в сравнении с другими странами Западной Европы, расстояния между населёнными пунктами очень невелики: соразмерны человеку. Следствием является то, что зачастую «бенилюксыцы» работают не в том городе, в каком проживают. Ничего сложного: дорога занимает в среднем от пятнадцати до тридцати минут (*прим. автора*).

ренне полюбоствовала Рая. (И правильно сделала. Где вы это видели, чтобы кошка съедала мышь, с нею не наигравшись?) А мне замуж надо, – сжато изложила свою программу харьковчанка. Вот поезжай домой, там и выходи, – прищурилась, улыбаясь, Рая.

23

Вообще-то доигралась Раиса. Бралась учиться – да где тут? То мальчик болеет, то на работе завал. Стали докатываться до работы слухи, что Аад уже поговаривает Раисе: ты кто? – ты никто! (То есть творчески переосмысляет минималистский диалог Улисса и Полифема.)

В итоге...

Рая (*после работы, одна*). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что на работу – всё равно. Да, что домой, что на работу!.. что на работу! На работе лучше... А о жизни и думать не хочется. И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду... (*Берёт хозяйственную сумку, идёт домой.*)

Однако утверждать, что Аад «не понимал своего счастья», то есть не мог по достоинству оценить всех удобств совместного своего бытования с Раисой – значило бы недооценить житейский и, скажем так, философский разум самого Аада. С нашей стороны это было бы серьёзной методологической ошибкой, поскольку оба упомянутые вида ума работали у Аада, скажем так, in cooperation, и, как говаривал классик, *скорее челюстью своей поднял бы солнце муравей*, чем было бы возможным вообразить, будто Аад, в конкретном его воплощении, упадёт, не постлавши прежде на жёсткую землю американский водный матрас с встроенным электронным подогревом. Но как же Аад в этом случае так вляпался со своей идиотской женитьбой? А ничего он не вляпался.

Его нарциссический, то есть обострённый, инстинкт самосохранения – во время первого же свидания с Раисой – внятно нашептал Ааду, что надо бы ему держаться поближе к этой мамочке (как Рая, уже в супружестве, научила себя называть) – к этой мамуле с широкой, по-крестьянски сильной спиной, надёжными плечами – и работающими, большими, как лопаты, руками. Инстинкт нашептал Ааду также, что, оставаясь в холостяках и будучи заваленным по макушку забытыми (а хоть бы и презентованными) женскими трусиками, он годам к сорока пяти пропадёт, захиреет (язва желудка, холецистит, остеохондроз, гипертония, брюшко) – и всё это на фоне разнообразных женских истерик, ложных и подлинных беременностей и непрерывной угрозы венерических неудобств – а там и коньки склеить недолго.

Аад никогда не планировал обзаводиться конкубиной, это было бы, разумеется, артефактом в системе его мировоззренческих построений, но, чтобы *цвели* (и даже плодоносили) *все цветы*, необходимо было какую-либо кухарку и домработницу, в надёжном тылу, всё же иметь – в общем, ничего оригинального.

На клевретах подобного «модуса вивенди» и мир стоит, хотя по мне, конечно, эстетически верней, если бы он, этот мир, сверзился в тартарары.

Однако, вплоть до появления Раи в кафе «Engels», Аад совершенно не представлял, каким образом разрешить подобную противоречивость. У него не создавалось в этом вопросе, так сказать, прецедентов. Но, когда наконец возникла Раиса... А вы что – и впрямь поверили, будто он, ценой собственного счастья, решил осчастливить королеву Беатрикс?

Трусость Аада являлась другим его неоспоримым достоинством. Эта была натуральная, природная трусость очень редкого, очень высокого качества, вдобавок

формально структурированная кальвинистскими принципами – и доведённая до своего логического совершенства социальным статусом университетского преподавателя.

Кстати сказать, в шаблонной системе подмен, взятой на вооружение изворотливым, хотя и не оригинально лгущим себе человеческим мозгом, эта густопсовая трусость именуется, конечно, не иначе как «трезвость», «здравомыслие», «взвешенность суждений и поступков» и даже – «философский склад ума».

В силу этого ценнейшего своего качества, Аад, желая быть удобно-захомутанным, – самостоятельно, то есть активно, в хомут не лез. Но будучи стреноженным работающей, железобетонно-стойкой, крайне неприхотливой и вдобавок бездомной (зависимой) Раисой, он, с облегчением, разыграл гамбит.

## 24

Уже через пару месяцев совместной жизни – то есть ещё в тот период, когда сегрегированная Рая упрочивала новую свою жизнь на плавательном надувном матрасе и не имела права подходить к телефону, Аад уже понял, что он недостаточно хорошо знает русскую литературу. После некоторых колебаний, он признал для себя, что, во время смотрин в кафе «Engels», методологически крайне неверным с его стороны было ограничение золотых эталонов (*русской женщины*) только Наташей Ростовой, её confidentкой Соней, Соней-проституткой и Настасьей Филипповной. Он с горечью осознал, что упустил из виду множество других канонизированных женских персонажей. Теперь же, через несколько месяцев, он, поумневший, глядел на Раю – и, сверяя свои впечатления с книгой (коей являлся сборник переводов на нидерландский русской классической поэзии), самодовольно отмечал: ну да –

Глаза, как небо, голубые,  
Улыбка, локоны льняные –

но! но при этом! – ах, дамы и господа! но при этом! –

И голод, и холод выносит,  
Всегда терпелива, ровна...  
Я видывал, как она косит:  
Что взмах – то готова копна!

Именно, – Аад с удовлетворением поглядывал на снующую по кухне Раю, – именно, что так! Absoluut!

В ней ясно и крепко сознание,  
Что всё их спасенье – в труде,  
И труд ей несет воздаянье:  
Семейство не бьётся в нужде...

Woowow! – мысленно восхищался Аад, – как это классик так ловко сформулировал то, о чём Аад, глядя на эту женщину, мог только смутно догадываться?.. На то он, впрочем, и классик...

Всегда у них тёплая хата,  
Хлеб выпечен, вкусен квасок,  
Здоровы и сыты ребята,  
На праздник есть лишний кусок.

Неплохие перспективы!.. Совсем даже неплохие!.. Раечка, а что такое «kvasok»? Понятно... А это не очень калорийно? Так-так-так... А исходные продукты – биологически доброкачественны? А-а-а. Ну, тогда хорошо...

Идёт эта баба к обедне  
Пред всею семьёй впереди:  
Сидит, как на стуле, двухлетний  
Ребёнок у ней на груди...

Да уж... Насчёт *стула* – это поэт... да... – Аад самодовольно хмыкнул. – В самую точку. Рая на этот самый *стульчик* не то что ребёнка, она и его, Аада, поудобней пристроит...

И, что самое главное... что самое главное... Классики-то описывали двух совершенно разных женщин... можно сказать, представительниц антагонистических социальных слоёв... А он, Аад, заполучил это чудо гибридизации и генной инженерии – в одном – именно, что в одном, да вдобавок бесплатном, – флаконе!

После года таких приятных размышлений, то есть после двенадцати месяцев их приятного, неторопливого пережёвывания, Аад и снял с Раи свой мораторий на телефон.

А затем, *step by step*, Аад ввёл аболицию на неприкосновенность своего ложа – и на свой довольно-таки естественный (в случае с Раей) целибат.

## 25

### Выписка из дневника Первого свидетеля

«Сегодня в Академии балета, где я преподаю такой шарлатанский предмет, как всеобщая история, меня спросили, что такое *гаррота*. Объясняя, мне пришлось, для пущей наглядности, сжать своё горло – и, внезапно, я отдала себе отчёт, что при этом слове вспоминаю, в первую очередь, не ту казнь удушением, которая производилась в Испании при помощи хитроумных приспособлений инквизиторской инженерии (вплоть до 1974-го года), – а ту, которой всякий раз подвергалась я сама, – во время своих злосчастных визитов в семейство ван дер Брааков.

Самое странное в этих посещениях – для меня (возможно, именно как для профессионального историка) – заключалось в том, что Рая делала вид, будто *ничего не помнит*. "Невозмутимость" – этот девиз был начертан на её штопанном-перештопанном знамени зверски изнасилованной оптимистки.

За чаем она мне обычно излагала баллады про алые розы своего семейного счастья – розы, которые сыпались на неё отовсюду – с неба, с потолков, с крыш, с фонарных столбов, – ещё в тот период, который она называла не иначе, как *романтическое жениховство Аада*. Она рассказывала мне про серенады, которые он якобы распевал под стенами их церковного бомжатника, про мольбы, которые адресовал самому Небу, про слёзы на его глазах, когда он просил её руки, про...

И это всё рассказывалось *мне*, несчастному свидетелю их воистину казуистического бракосочетания, имевшего место быть всего три года назад...

В связи с этой *странной трактовкой исторических фактов* (если не сказать – с их *изошрённой подтасовкой*), – в связи с этим, я бы сказала, беспрецедентным ревизионизмом реваншистского толка, у меня – как отстранённого исследователя истории – возникает несколько версий:

1. Существует такой психологический феномен, известный науке как *параллакс Френкеля – Закса*: когда индивид сильно врёт, он уже и сам верит, что он не врёт, – то есть даже не верит, что врёт.

2. Возможно, Раиса надеялась, что память, по каким-то таинственным причинам, вроде укуса мухи цеце, выветрилась у всех индивидов из её, Раиного, окружения – и не осталось этой памяти, даже в размере каких-нибудь пяти жалких килобайт, ни у кого, в частности – у её визави. То есть Раиса предполагала самое оптимистичное: а вдруг у меня (то есть у свидетеля, угнетённого её же позором, – у свидетеля, располагающего, кстати, и ещё одним свидетелем) – да завелась наконец хвороба Альцгеймера?!

3. Третье объяснение, на мой взгляд, – самое убедительное. Раиса была больна (была здорова) корневым человеческим свойством – *отсутствием исторической памяти*. В частности – отсутствием *исторической памяти* на всё "негативное" (с фрикативным "г"), на всё "не оптимистическое", "не жизнеутверждающее", "тяжёлое", "чернушное" – etc.

А поскольку существование всего живого состоит исключительно из сгущений боли с краткими переменками (между уроками), то никто уроков толком не помнит. Ното popularis, он же – homo massalis (массовый человек), в итоге помнит лишь перемены: весёлые потасовки в рекреациях, сладкие ватрушки в буфете, проблемное сдирание сочинений, курение в уборной, etc.

И, в таком контексте, полагаю я, куда уж там Маркесу с его крупномасштабной бойней, вагонами трупов, ливнем, который мощно, как из брандспойта, смывает следы побоища, – куда уж там Маркесу с его знаменательным утром, наступившим буквально через пару часов после побоища, – тем утром, когда *о только что происшедшем не помнит уже никто*. Куда там Маркесу с этим страшным обобщением, если, задолго до него, наследника ацтеков и майя, уже оставили в этом вопросе свой золотой след два таинственных еврейских мудреца из города Черноморска.

Их бойня – несколько меньшего масштаба. По числу порющих, правда, она, порка, вполне даже массовая, но по числу выпарываемых – сугубо индивидуальная. А описанный мудрецами *пейзаж после битвы* являет собой настоящий шедевр минимализма:

"Но в кухне уже не было никого, кроме тёти Паши, заснувшей на плите во время экзекуции. На дощатом полу валялись отдельные прутики и белая полотняная пуговица с двумя дырочками".

Вот эти *две дырочки* легко могут добить кого-нибудь слабонервного. Две пуговичных дырочки – это, по сути, всё, что остаётся в памяти массового человека после любых преступлений – любого масштаба.

А что уж говорить про круглосуточное попрание человеческого достоинства в так называемой "семье"? Чужь какая. На то человеку и мозги дадены, чтобы выворачивать любую перчаточку с выгодой для себя. Ну что значит – "с выгодой"? Это значит, что человеческий (в особенности самочий) мозг нацелен исключительно на изобретение оправдательных ("оптимистических") объяснений. То есть таких объяснений происходящего, которые бы – любой ценой!! – способствовали сохранению "статуса кво" – независимо от его качественной сути.

Проще говоря, мозг даден человеку для того, чтобы оснастить последнего такими "предлагаемыми обстоятельствами", при которых задница упомянутого человека, плотно соприкасаясь с довольно-таки горячей сковородкой (и, тем не менее, лентяя изменить свою дислокацию) – эта ленивая задница должна была бы восчувствовать, будто сидит она на мягчайшем диване... хорошо, добротном... марки, скажем, "Хилтон-2"... Немаловажно также убедить в том окружающих. Поскольку будучи убеждёнными, они станут поддерживать ленивую задницу морально. Придавать ей уверенности в том, что, уже дымясь, она сидит не на сковороде, а на гламурнейшем из диванов.

Или: убедить окружающих и себя, что раскалённая сковородка для задницы твоей даже полезна. Необходима. Неслучайна. Обетованна. Искупительна. Является овеществлением избраннических судеб. Роковой воли Небес. Ну, и т. п.

Свое малодушие окрести "здравомыслием", а свинскую небрезгливость – "многотерпением". Бесхарактерность назови "добротой" и "покладистостью". Трусость и лень, соответственно, – "тонкостью души" и "почвенной мудростью". Свою тупость нареки, ясный пень, "спокойным, уравновешенным характером". Явное отсутствие привлекательных черт аттестуй как наивернейший признак их "тайного присутствия". Катастрофический дефицит интеллекта назови, не стесняйся, "сокровищами, укромно живущими в самой глубине души".

А что? На то человеку и мозг даден. В отличие от стыдящихся его, человека, куда как менее заносчивых родственников по эволюционной лестнице».

## 26

Предпоследним актом этой трагедии (именно *трагедии*: на жанре настаиваю) явилось посещение Аадом и Раей семейного психотерапевта.

А куда ж современной семье без *отвлекающей терапии*? Так и тянет сварганить римейк (социальный роман): Анна Аркадьевна знай себе бегаёт к семейному психотерапевту: сначала открыто, с Карениным, затем тайно – с Вронским. Страховая компания визиты с Карениным возмещает, а с Вронским – нет. (Или, допустим, с Карениным возмещает полностью, а с Вронским – только на 14%.) Анна всё глубже, всё отчаянней, всё безнадежней погрязает в долгах... Финал известен.

Вывод: в социально развитом обществе соответствующий страховой полис обязан покрывать расходы по семейной психотерапии в равной степени – и для супругов, и, как минимум, для одного из любовников застрахованных супругов – даже если он, любовник одного из застрахованных супругов, сам по себе застрахованным не является.

Так что небесспорно утверждение, будто каждая уродливая семья уродлива по-своему. Если у супругов есть в наличии достаточно солидная страховка, они могут легко заменить *уродство семейной жизни* на *красоту семейной жизни*: такие программы доступны для покупки – в равной степени через оптовую и розничную торговую сеть, их только следует грамотно инсталлировать. И тут на помощь своевременно приходит семейный психотерапевт.

Ну, семейный психотерапевт – это вам не еврейский раввин, так что не стоит от него дожидаться каких-либо патетических восклицаний, мудрых мыслей или просветляющих откровений. Семейный психотерапевт не станет углубляться ни в какой талмуд – и не возьмётся давать вам иносказательные (т. е. полностью затуманенные ближневосточной элоквенцией) указания. Он не станет одаривать вас и прямыми руководствами к действию – например, насчёт последовательного ввода-вывода – в ваше жилище, из вашего жилища – ограниченного контингента коз, свиней, овец и коров.

Ничего из этого семейный психотерапевт делать не будет. Семейный психотерапевт – это не человек в его традиционном (эволюционно-историческом, анатомо-антропологическом, психо-физиологическом, культурологическом) понимании. Семейный терапевт – это суб-человек, роботообразная социальная функция, составляющая в развитом технократическом (хайтэковском, постисторическом) обществе комплементарную часть – к функции адвоката. Психотерапевт и адвокат – работая в упомянутом обществе, по сути, *in cooperation* – составляют взаиморасторжимое роботообразное устройство; их изначальное разделение – это всего лишь социально-технологическая аналогия гендерного разделения на мужчин и женщин.

То есть: *современное* (читай: «хорошо развитое») общество, в своём апогее, состоит из двух – одинаково прекрасных – половин: психотерапевтов (психиатров) и адвокатов (юристов). В своём отлаженном взаимодействии и взаимообслу-

живании они являются замкнутыми друг на друге системами и даже, как это иногда кажется со стороны, не нуждаются в каких-либо дополнительных клиентах.

Но клиенты, при вышеозначенных условиях бытования, конечно, не переводятся.

## 27

Рая и Аад явились на приём к семейному психотерапевту, находясь в стадии двухмесячного разрыва дипломатических отношений. Правда, формальные ритуалы сожительства они по-прежнему выполняли: пили кофе, завтракали, обедали, даже, кажется, осуществляли, по рассеянности, машинальное супружеское соитие, но всё это – принципиально – в полнейшем безъязычии. Казалось даже, что их уговор был таков: кто первый проронит словечко, хотя бы и звукоподражательное, тот заплатит ощутимый денежный штраф – в пользу автоматически выигравшего. И это был редкий, если не единственный, случай, когда своему уговору, посреди шквала явных и затаённых свар, они следовали железно.

Йоост, их маленький сын, в тот период выполнял при них функции, схожие с таковыми Нидерландского посольства. (Которое, напомним, в прошлом веке, с 67-го года и до второй половины 80-х, обеспечивая Израилю фактическое представительство, работало международным посредником между не имевшими дипломатических отношений Израилем и СССР.)

И вот Аад обращался к Йоосту так: скажи своей дорогой мамулечке, что я... (благодаря её уборке, не могу найти своей музыкальной папки) – и Йоост это Рае, стоящей рядом, передавал; Рая же обращалась к Йоосту так: скажи своему бесценному папулечке, что... (синяя кастрюля с компотом, которую он второй день ищет, уже второй день пустая – и находится в мойке), – и Йоост всё это, почти синхронно для Аада (лежащего тут же) озвучивал.

Именно к этому периоду и относится зафиксированный *свидетелем* эпизод их счастливого семейного шествия из детского садика. Ну да, вот этот:

Впереди семенял Йоост, с противным грохотом везя на верёвочке игрушечную машинку. Чуть сзади него, как-то отдельно ото всех, неторопливо шёл Аад с мечтательно-отрешённым выражением по-семейному расплывшего лица, которое, как водится в таких случаях, приобрело черты туповатой барственной вальяжности. Рядом с ним – затравленно, вся настороже, клала-выкладывала большие свои стопы верная Рая, с заботою кошки глядя на сына и с озабоченностью – на супруга.

Весьма даже репрезентативный эпизод, который ни в коей мере не противоречит только что изложенному.

Таким образом, ван дер Брааки отправились к семейному психотерапевту, уже утратив общий язык – даже то бедное бытовое наречие, каким они повседневно пользовались, – и бессознательно рассчитывая также на дополнительные, то есть переводческие, функции психотерапевта. (О чём последний, конечно, предупредён не был, ибо за работу толмача он бы выставил дополнительный счёт.)

Психотерапевтом оказалась особь формально женского пола, определить гендерную принадлежность которой оказалось возможным только по её имени. Уютно устроившись в кресле напротив Раи и по-пасторски сложив на плоском животе заранее лояльные ладошки, она вмиг словно заразилась оскалом своей клиентки: пресное, невыразительное лицо семейного психотерапевта, словно в кривом зеркале, перекосила ужимка поросычьего бодрячества. В итоге её полуоткрытое ротовое отверстие оказалось где-то в районе правой ушной раковины. Было похоже на то, как если бы у психологини внезапно воспалились сразу несколько ветвей тройничного нерва.

Аад, оказавшись между двумя резко позитивными дамами, то есть подвергшись двойной атаке зубодробительного оптимизма, тоже не выдержал: его смазливая физиономия стареющего нарцисса вмиг потеряла симметрию – и теперь выглядела так, словно её поразил флюс или затяжной лицевой тик.

## 28

От семейной исцелительницы Рая (в отличие от Аада) вернулась в полном восторге. Ей понравилась синтетическая кофточка семейной исцелительницы. Её подкупила обходительность семейной исцелительницы. Её покорила ум семейной исцелительницы, оформленный университетом с максимальным удобством для общества. И, главное, её полностью пленило домашнее задание, порученное семейной исцелительницей ей и Ааду к следующему визиту.

В задании значилось, что каждый из них должен написать о *партнёре* (так они оба и были названы: «партнёры» – словно игроки в подкидного дурака) – так вот: каждый из них должен был написать о *партнёре* только положительные вещи. С незыблемо-чёткой позитивной установкой.

...Ах, мудрая семейная исцелительница! Наконец-то она, Рая, – впервые за столько лет! – узнает, что хорошего думает о ней Аад. Он сам расскажет об этом. Хотя бы и по бумажке.

По-быстрому завершив хозяйственные дела, Рая включила настольную лампу и села делать домашнее задание.

## Часть II. ПАЛАТА ПОСТРАДАВШИХ

### 1

#### *Домашнее задание Раи*

«Мой муж очень красивый. Он также и очень умный. Он хорошо образован. Он работает преподавателем латыни и философии в университете. Он много читает и всем интересуется. Он контролирует своё внутреннее развитие и свой внешний вид. Он любит свои хобби: спорт, бальные танцы, иностранные языки, искусство. Он регулярно следит за политическими и культурными событиями в нашей стране и во всём мире. Он почти никогда не храпит...»

В этом месте Рая задумывается. Глядя на розовый колпачок настольной лампы, она потихоньку начинает соображать, что ничего почему-то не написала об отношении этого таинственного мужа к ней самой. На такой поворот мысли её натолкнула, скорее всего, интимная ассоциация с храпом...

«Мой муж, Аад ван дер Браак, никогда меня не бьёт. Он также не пьёт и не изменяет».

Автоматически накропав сакральную триаду матримониального благоденствия (триаду, экспортированную, конечно, с родины), Рая снова задумывается. Какое там «не изменяет»!

Ясно, как божий день, что изменял, изменяет – и будет изменять. Хотя это даже изменой назвать нельзя: ведь не клялся же он ей, Рае, в верности? Ну а раз клятв верности он не давал, то... Просто ведёт оптимальный, наиболее рациональный для себя образ жизни. Рая обеспечивает ему тыл. А он гарцует на амурных фронтах. Ну, то есть резвится на кучерявой траве-мураве. Это важно для его здоровья и настроения – как фитнес-клуб, как и всё остальное. А здоровье Аада важно для семьи в целом.

Так?



Так.

Тут Рая делает очередное насильственно-позитивное усилие – и додумывает важную мысль до конца: *раз муж клятв верности жене не давал, то изменяя, он не изменяет*. Ей очень нравится такая формулировка!

Закончив на этой оптимистической ноте домашнее задание, Рая, счастливая, довольная собой, тихоонько ложится под выделенное ей сиротское одеяльце в холодную часть супружеской постели – на пригретой половине которой уже давно почивает Аад и, как всегда, почти не храпит.

## 2

### **Домашнее задание Аада**

«Раиса хорошо готовит...»

Написав эту фразу, Аад чувствует явное отсутствие вдохновения. Просто какое-то минус-вдохновение посетило его, когда он засел писать это дурацкое сочинение!

Раиса тупа, неразвита... Хотя и работяща, надо отдать ей должное... Но каждый день я сталкиваюсь с такими доисторическими залежами её невежества!.. С таким дурновкусьем!..

Интеллектуальная и артистическая составляющие в ней полностью отсутствуют... Каждый вечер, по наущению своей маменьки, она мажет свои сиськи-письки и сиськи-масиськи какими-то, приворотными, что ли, лосьонами. Тьфу, мерзость какая! Она *позиционирует себя* как кусок мяса (чем, собственно, и является), а мясо, ясное дело, не должно протухать... Она клиническая оптимистка: плюнь ей в глаза – всё Божья роса... Облегчись на чело – именины сердца...

Получается, я совокупляюсь с животным?! Ну да, с животным... Так и есть... Значит я – зоофил?! скотоложец?! Выходит, что так. Но почему же я не живу с козой? Она бы так же, как Рая, блеяла, когда я бы её драл, но зато, в отличие от Раисы, не донимала бы меня этими параноидальными установками на «вечный позитив»... Да, но коза не готовит обедов... Коза не стирает... Коза не подбирала бы мне галстуки и носки, когда я бы собирался к любовницам...

Правда, у Раисы есть и ещё одно неоспоримое достоинство: она не философствует. Или *почти* не философствует. То есть, конечно, она пытается найти объяснение уродству нашей совместной жизни, уродливости жизни как таковой – и тогда, вылезая из кожи, подлаживает его, своё объясненьице, под «правильный ответ задачника». Того задачника, который есть на вооружении любой домохозяйки «с запросами». А домохозяйки «с запросами» не посягают на попытки приближения к *сути* вещей. *Суть* им и на фиг не нужна. Что с нею, с *сутью* то есть, им делать? *Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать*. Поэтому домохозяйки «с запросами» располагают таким задачником, где «правильный» ответ, как положено, стоит в самом конце, и этот ответ единственный: «щастье».

Ох, если бы я мог сказать о себе то же, что сказал Цицерон, – *abiit, excessit, evasit, erupit* (ушёл, скрылся, спасся, бежал)!.. Увы, ноги пока коротки. Может, ещё подрастут?..

Моя жена стихийно придерживается, я бы сказал, птоломеевской системы мироустройства. По Раисе получается так, что любые катаклизмы в нашей (как и в любой другой) Вселенной происходят исключительно для того, чтобы она, Раиса, могла спокойно испражняться в тёплой уборной. Вообще – чтобы в тёплых уборных могли спокойно испражняться «все хорошие люди». А если происходит заминка – либо с процессом дефекации, либо с процессом отопления нужников – это, по её мнению, лишний раз подтверждает то, что не нуждается в подтверждениях: всё, что ни делается, – к лучшему.

Правда, когда я на неё прищипываю, она затыкается.

Так что самое изматывающее в ней не это – другое. А именно: что бы ни случилось, с ней, со мной, с миром, она – всенепременно – притрётся-притерпится, стерпится-слюбится, *приладится* к любой ситуации – к абсолютно любому положению вещей.

Она, самка, обживёт-обустроит любой ад. Любую помойку. Человечину жрать? – Пожалуйста. Да ещё и кухонную теоричку подведёт, почему это, в конечном итоге, *справедливо и полезно* для всех – в том числе, разумеется, для съедаемых. Экскременты глотать? – и тут у неё с адаптацией не заржавеет. Добавит перчику, специй по вкусу – и, со своей оптимистической улыбкой, – за самую милую душу. Бррр! Вот жаба! Да ещё и детей возьмётся плодить в охотку – для той же помойки! для той же доли!..

Мерзейшая самочья природа. Ну что значит – «самочья»? Это природа отнюдь не *самки как таковой*: не будем оскорблять величавых цариц честного царства фауны. Попробуйте-ка – ха-ха! – так запросто случить кошку – или, например, суку с «неправильным» партнёром! Да они скорей околеют, чем дадут *поцелуй без любви!* В смысле: без любви ответной...

Так что я имею в виду именно *человеческую самку*, самую чудовищную из всех.

Тысячу раз прав был Вайнингер, ненавидевший самочье начало в человеке – тупое, аморфное, болотистое, изначально и навсегда заземлённое. Безвольное и агрессивное одновременно. Если бы я, как он, нашёл *подходящее место ухода*, может, тоже бы застрелился...

На Востоке – то же самое... именно Инь считается тёмным началом. Маленькую надежду дарит мне лишь то, что, как считается там же, Инь и Янь *почти* всегда существуют во взаимодействии. И вот это слово «почти» – почти слово – крохотный зазор – дарит мне крупицу надежды...

Да ладно, о чём это я? Мне надо ведь домашнее задание делать: супруге дидирамбы петь. Господи, какая же она всё-таки черномысляя!.. Однако весёленькое всё-таки задание придумала эта кастрированная вобла на договоре...

Сугубо технически – вероятно, это возможно: сыграть ноктюрн на водосливном бачке. Ну, как-нибудь там изловчившись. *Настоящий музыкант*, безусловно, сыграет. А плохому, что ни говори, собственные руки помеха. Но вообще-то для исполнения ноктюрна созданы, как ни странно, фортепьяно, флейта и скрипка. Они, как ни крути, лучше подходят для этой цели...

Меня же, *при отсутствии подлинного инструмента*, пытаются убедить, что сыграть ноктюрн можно (и даже нужно!) *на чём угодно*. На первом подвернувшемся предмете. Ага. На тефлоновой сковородке под аккомпанемент крышки от новой гусятницы.

Итак, *в первом подвернувшемся предмете* (схваченном не мной как таковым – но моим желудочным и половым инстинктом) мне, по заданию психолога, *надлежит разглядеть* (по-рачьи тараща органы зрения в течение моей единственной жизни) – мне *надлежит разглядеть* фортепьяно, флейту или же скрипку... О волшебные музыкальные инструменты, скрытые от непроницательных взоров обманной оболочкой водосливного бачка! То есть именно в непрременном наличии музыки за этим, чёрт побери, канализационным атрибутом – я должен убедить себя сам... Вот уроды!

Но что мне делать? Если я навешу нудный хомут повседневного сожительства на одну из трёх своих нынешних любовниц (соответственно фортепьяно, флейту и скрипку), каждая из них, рано или поздно, превратится в водосливной бачок... Это неизбежно.

На мою удачу, Раечка не знакома с классиками даже так называемой «родной литературы». Вообще – она знакома с родной культурой не больше, чем средне-статистический иностранец... Слишком рано ринулась, бедолага, из родительских

угодий за гламурно-глянцевым своим счастьем... А что в результате своей охоты получила? Её простодушный прицел полностью сожрала ржавчина традиционного для их этносов рабства...

Возьму-ка я продукцию их известного бабника и картёжника (ну и, разумеется, резонёра по совместительству). Она, как нельзя лучше, предоставляет любому версифицирующему привольный диапазон для импровизаций...

С этими мыслями Аад жадно накинулся на клавиатуру – и... Мгновенно, из той же клавиатуры, вынырнул – и впрыгнул в Аада ловкий орфический бес... В течение сладкой четверти часа Аад и бес развлекали друг друга – вакхически-солнечно и безоблачно, в невинной салонно-альбомной форме.

(Стишок Аада «по случаю» – написан, соответственно, на нидерландском языке. Ниже дан его авторизованный перевод. – *Примечание Первого свидетеля.*)

### ПАНЕГИРИК РАИСЕ, МОЕЙ ДОРОГОЙ ЖЕНЕ

Любые скандалы выносит,  
Всегда терпелива, ровна...  
И денег на тряпки не просит,  
Брильянтов не носит она!

В ней крепко живёт пониманье:  
Без мужа она – круглый ноль.  
Хоть муж ей – одно наказание,  
Позор, униженье и боль.

Этап каждый день у нас – «новый»,  
Коль бреду поверить её.  
Оковы ей – счастья подковы.  
Бедлам – разлюли-прожитьё.

В дешёвую мчится киношку –  
Кормить канареечный мозг,  
Страстишек хлебнуть понарошку,  
И *трепетно таять*, как воск.

А дома – такое же стойло,  
Как было, как будет – всегда.  
Но сладко *привычное пойло*...  
Горит меж ногами – звезда!

### Часть III. УПРАЖНЕНИЯ С ГЛАГОЛОМ «ЛЮБИТЬ»

(письменные показания Первого брачного свидетеля: продолжение)

#### 1

...В следующую среду в кабинете психотерапевта Рая, равно как и семейная исцелительница, пришла в полный восторг от бойких куплетиков Аада (последнюю строфу которых он, глумливый, даже пропел). Обе дамы крайне редко сталкивались со стихами – с *искусством* вообще, – да и где с ним в повседневной жизни столкнёшься? (Надо ведь чем-то питаться! – о да! – надо ведь платить за квартиру – о да! Etc.). Короче говоря, трогательная неискущённость привела зрительниц к тому, что обе они, несмотря на значительную разницу в своём образовательном

статусе, с единодушным ошеломлением восприняли ловкие фокусы рифм (как ребятишки из простонародья воспринимают цирковые номера) – при этом целиком упустив самый смысл.

Семейная исцелительница даже сделала *профессиональное заключение*, что раз муж посвящает жене стихи, – это является неоспоримым проявлением его (то есть мужа) к ней (то есть к жене) *любви*. О каковой муж, вероятно, и сам ещё не догадывается! И Рая – даже раньше, чем был поставлен этот диагноз, – с таким положением дел согласилась.

## 2

А вскоре Аад сократил число своих любовниц до одной. На что Рая дала ему строго симметричный ответ: она родила одного ребёнка. (В смысле: ещё одного – к уже имевшему место быть.) Мальчик был назван Аад.

Прирост семейства ван дер Брааков однозначно показывает, что Рая не позволила себя провести на зажёванной мякине. Может, кому-нибудь, менее битому, резкое сокращение штата аманток показалось бы отрадным симптомом – и даже плодотворным результатом посещений семейного психотерапевта, но...

Но, на сей раз, не Рае. Мощный инстинкт «плодовитой самки» (Л. Н. Т.) в совокупности с эмпирической, уже немалой, поднаторелостью, помог ей восчувствовать – безо всякого суфлёрства мамыши и даже без помощи Клуба, – что пока Аад шатался туда-сюда развесёлый, пока телефон звонил ему самыми разными женскими голосами и от него веяло самыми разнообразными духами, – семейный барометр показывал «ясно». Но когда Аад стал ходить смурной... И когда поднятая ею трубка телефона стала зловеще молчать... Да, молчать – одним и тем же женским голосом... И когда от Аада стало разить одним и тем же каверзным парфюмом «Bruno Banani»... И когда он как-то странно начал поглядывать на чемодан...

Раиса поступила так, как поступила бы на её месте всякая другая *берегиня очага*: она ринулась цементировать семейные руины. Точнее: она ринулась цементировать семейные руины жестоким, но отлично проверенным способом. А именно: она ринулась цементировать семейные руины живой жизнью ни в чём не повинного существа.

Библейскими хитростями и мифологически изошрёнными самоунижениями – она добыла-таки семени своего малодушного супруга (уже стоявшего одной ногой в квартире избранницы) – и, как было сказано выше, вызвала к этой страшной жизни ещё одно существо, превратив невесомый свет далёких звёзд в три килограмма и сто пятьдесят граммов красного, орущего мяса.

Однако уже через два года после этого семейного торжества соседи, то есть очевидцы поневоле, шумно заявляли друг другу в ближайшей пивной, что видели Аада, загружавшего ярко-жёлтый итальянский чемодан в багажник своей «мазды». И это при том, что до периода отпусков было ещё весьма далеко!

Затем очевидцы-соседи отметили, что фигура Раисы, придиричиво выбиравшей зелень в овощной лавке, вроде как раздалась.

Народные приметы оказались верны. Раиса родила ещё одного ребёнка. Она назвала его, конечно же, Радомир.

И вот тут выверенная веками *мудрость народных примет* полностью восторжествовала над статистически оснащённой наукой социологией, этнографией и демографией вместе взятыми. Очевидцы-соседи (а по совместительству завсегда-таи ближайшей от дома ван дер Брааков пивной) вывели, между двумя кружками пива (все великие открытия в этом мире совершаются между делом), общий закон. Этот закон устанавливает жёсткую корреляцию между гражданским статусом поголовья народонаселения – и условиями его, народонаселения, прироста. Назвали закон фамилиями открывших его очевидцев-соседей – Хичкока и Линча.

Звучит закон Хичкока – Линча так:  
 РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО  
 И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ  
 В ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬЕ  
 ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИКАТОРОМ ТОГО,  
 ЧТО СУПРУГИ, К МОМЕНТУ ЗАЧАТИЯ,  
 НАХОДИЛИСЬ НА ГРАНИ РАЗВОДА.

Через год этот закон, в общедоступных визуальных образах, был проиллюстрирован снова: Аад выгрузил возле двери (на которой по-прежнему сияла латунная дощечка «AAD & RAYA van der BRAAK») три новых чемодана. Далее всё шло по известной схеме: через несколько месяцев очевидцы-соседи видели сильно располневшую Раю, которая, на сей раз, придирчиво копошилась, как мышь, в крупях бакалейной лавки; затем все знакомые, в том числе упомянутые соседи (всегда готовые на роль понятых), получили открытку, украшенную розовыми маргаритками и весьма озабоченным харизматическим аистом. Открытка оповещала, что Рая благополучно разрешилась от бремени, родив девочку, которую назвали в честь отца Адой; ещё через три месяца Аад погрузил в багажник своего белого «пежо» чёрный, синий и красный французские чемоданы и уехал далеко – не в смысле географических координат, но именно что в смысле мировоззренческого ощущения; после чего, через полгода, соседи вновь получили открытку – на которой в качестве скромного иллюстративного украшения чернело сломанное деревце – и было вписано краткое сообщение о том, что Раиса (Рая) ван дер Браак, урождённая Голопятко, супруга Аада ван дер Браака, мать Йооста, Аада-младшего, Радомира и Ады ван дер Брааков, дочь Ефросиньи и Василия Голопятко, сестра Эсмеральды и Карменситы Голопятко, скоропостижно скончалась.

#### Часть IV. THE SECOND OPINION

(письменные показания Второго брачного свидетеля)

##### 1

Смерть Раи вовсе не была предусмотрена законом Хичкока – Линча. Она осуществилась в соответствии с какими-то другими закономерностями – то ли общей амортизации Раино организма, то ли изношенности её нервной системы, то ли не признающим законов милосердием Божьим. А вы небось себе вообразили, – что эта лихоманка, свистопляска, однообразная бодяга – так и будут себе трюхать-шкандыбать – по кругу, по кругу – *ad infinitum* (до бесконечности)? Или, как минимум, – до смерти в *почтенной старости*?

Ну, во-первых, на протяжении человеческой жизни, протекающей в невзыскательных формах минимализма, немилосердно укороченной вдобавок к тому же кухонными афронтами, а также интегрированными в брачную жизнь приёмами восточного боя (ёко мен учи, атеми, муна цуки, тэнчи наге, шомен учи и т. д.) – на протяжении такой-то жизненки уж точно ничего бесконечного не случается. Такая жизненка вряд ли даже где и пересекается с осью вечности. Касательно же понятия «трюхать-шкандыбать до смерти», то именно так оно, как мы сами можем убедиться, и случилось, только смерть Раи наступила на полвека раньше среднестатистического срока – и притом во сне. Опять же – по милосердию Божьему.

##### 2

После похорон, которые прошли с обычной протестантской сдержанностью, включая также и финансовую сторону вопроса, немногочисленные сопровождающие «Зарубежные записки» №15/2008

щие вернулись с Аадом в его дом. Соратниц Раи по Клубу не было: Аад их знать не знал – и не испытывал ни малейшей потребности знакомиться с ними на похоронах жены.

Дети – Йоост, Аад-младший, Радомир и маленькая Ада – были заранее отправлены к Аадовой незамужней сестре. Зато по всем комнатам бегали, в количестве трёх, маленькие дети его замужней племянницы. Они создавали невероятный шум. Отсутствие детей Раи – и словно замена их другими, никогда не виденными мной детьми, – создавали такой странный эффект, будто и синее небо за окном (стоял май) сейчас вынесут прочь, обнажив страшный, не представимый до того задник... А затем, дав зрителю волю налюбоваться этим задником, уже навсегда – внесут ночь.

И тут позвонила Раина мать.

Из Киева.

Это показывал определитель номера.

А откуда же ещё она могла звонить? Аад, по малодушию, не сообщил ей, что её дочь умерла.

Более того: предвидя её регулярную еженедельную интервенцию, Аад запретил мне брать трубку. Я мгновенно вспомнила (не забывала никогда), как он то же самое запрещал Рае в первый год её жизни здесь... («А разве это жизнь?..»)

После десяти изматывающих звонков включился наконец автоответчик. Голос Аада сообщил: вы, дескать, звоните в квартиру Аада, Раисы, Йооста, Аада-младшего, Радомира и Ады ван дер Браак; он извинился, что сейчас все заняты, и просил оставить сообщение после сигнала.

Писк сигнала.

Почти мужской, напористый голос (фрикативное «г» – расставить по вкусу) врывается, словно шаровая молния:

– Райка!.. Раиска!.. Куда вы там все подевались?.. Райка, с малбй гуляешь, что ли?.. послушай... что я хотела тебе сказать... всё время забываю... Как проснёшься или с прогулки вернёшься, я не знаю... ты это... Раиска, послушай мать! Ты – когда своему последнему раз нормальный борщ варила? С этими твоими, как его, козами-токсикомами (*смешок*), – ты не забыла хоть, как борщ нормальный варить? Мужа всегда, запомни это, надо кормить сытно...

В это время один из детей Аадовой племянницы, мальчик лет четырёх, вбежал в гостиную, держа в руках красно-синий мячик, – и тут же мячик выпустил, обомлев от странной интонации... смешного языка... А вдруг это Чёрный Пит звонит?! Чтобы заранее узнать, какие подарки привезти через полгода?! Малыш ринулся к телефону.

Я перехватила его за метр до телефонной трубки. На протяжении последующей рецептурно-кулинарной фиоритуры мои руки, как две змеи, крепко обвивали тело мальчишки, который орал и вырывался с суммарной силой Лаокоона и обоих его сыновей. В гостиную заглянул Аад и, сделав усиленно-страдальческую физиономию, а также энергично кивнув, дал мне тем знать, что я поступаю правильно – и должна продолжить в том же духе. После чего он скрылся в своём кабинете, где его ждали несколько человек с похорон.

... – Значит, так. Покупаешь это, говядину на косточке... обязательно хороший кусочек бери... Свинину не бери, *твой* есть не будет, он же, это... как еврей у тебя... (*Смешок*). Залила его, значит, в кастрюльке водичкою, не багато воды, только залей, довела до кипения – и вот варишь на сла-а-беньком таком огонёчке хвылыночек сорок – сорок пять... Ну, бурячочек подбери – ни большой, ни маленький... средненький такой... штучки две-три... (*В сторону: «Почекай, почекай!»*) Ой, Рая, это! Я потом ещё позвоню... твой батька зовёт... там фильм... с этой, как её... ну, ещё в этой комедии... ну, как его... про таксиста и проститутку... (*В сторону.*) Да сейчас я, сейчас! вот пристал!.. Рая, ты мне скажи: ты хоть волосы на ногах

себе броешь? После четвёртых-то родов могут си-и-ильно волосы на ногах пойти... С головы повыпасть, а на ногах пойти... Ты от матери-то проблем не ховай... Всё! перезвоню!..

В это время я чуть не вскрикнула. В воздухе мелькнуло Раино лицо. В нём было что-то незнакомое, чему я не знаю названия. Знаменитой улыбочки – не было.

– Was het Zwarte Piet die gebeld heeft?!<sup>5</sup> – сердито спросил меня освобождённый мальчик.

– Nee lieverd... Het was geen Zwarte Piet...

– Wie dan wel? <sup>6</sup>

Я пожалала плечами, развела руками, выразительно подняла брови: geen idee.<sup>7</sup>

– Wat voor taal was het?..<sup>8</sup> – не отставал ребёнок.

Мне почему-то захотелось сказать: это был язык далёкого острова Мапуту... Но я сказала правду, как взрослому:

– Het was de Russische taal. Bijna.<sup>9</sup>

### 3

#### **Письмо Второго брачного свидетеля Ааду ван дер Брааку**

(перевод с нидерландского)

«Господин ван дер Браак!

Поскольку после смерти Раи мои с Вами отношения сами собой прекратились, я решила прибегнуть к письменной форме, чтобы изложить некоторые факты, касающиеся Вашей бывшей жены.

Эти факты, я уверена, совершенно Вам не известны. Или они известны Вам в той малой степени, которая не позволит отцу четверых детей воссоздать для них портрет умершей матери.

Единственное сомнение, которое меня беспокоит, – это степень Вашего к моему рассказу доверия. Будучи философом, да и попросту "взрослым человеком", Вы, возможно, заключите нечто вроде того, что не существует единой истины – равно как и единого человеческого образа. Это положение я не собираюсь оспаривать. Я только обозначу свою точку зрения. Хотя я собираюсь дать не только свою оценку некоторым проявлениям Раиной природы, но перечислить именно факты.

Вы скажете: факты – такой же блеф, как и всё остальное: перчаточка, ловко выворачиваемая свидетелем (историком) в угоду осознанной или бессознательной лжи. И потом: что значат "голые факты", если мы не знаем – и никогда не узнаем – их подоплёки?

А на это я отвечаю: господин ван дер Браак, пожалуйста, не втягивайте меня в дебри пустопорожней схоластики. Ибо речевые навыки у меня развиты не хуже, если не лучше Вашего, – и Вы это отлично знаете.

Тем не менее, я прошу простить мне это агрессивное, явно неполиткорректное вступление. Такой тон отчасти вызван тем, что это – единственное письмо, которое я Вам пишу. Я не буду вступать с Вами в дискуссию, если Вы откликнетесь. Наши отношения, повторяю, пришли к естественному концу. И потому в данном письме я должна предугадать Ваши возражения и заранее их отместить.

<sup>5</sup> Это Чёрный Пит звонил? (нидерландск; данный персонаж рождественской мистерии помогает Санта-Клаусу разносить подарки (прим. автора).

<sup>6</sup> Нет, милый. Это был совсем не Чёрный Пит. Так кто же?

<sup>7</sup> Не знаю.

<sup>8</sup> Что за язык это был?

<sup>9</sup> Это был русский язык. Почти.

Начну не в хронологическом порядке, а с тех фактов, которые самостоятельно встают в первый ряд.

...Когда меня, превратив в мешок костей, а затем в гипсовый кокон, сбил, на полном ходу, "мерседес-эскорт", – когда меня, как подержанную вещь, в течение долгих месяцев перетаскивали с операционного стола – на койку – и снова на операционный стол, затем на каталку, на инвалидную коляску – и снова на операционный стол, а я была тогда без языка, без документов и без единого цента в кармане, – моим единственным посетителем была Рая.

Её визиты начинались с того, что первым в дверях палаты появлялся её беременный живот. У неё был тогда невероятный токсикоз – ну, Вы помните. Занимаясь мной, она по многу раз выскакивала из палаты... Впархивала же – с неизменно лучезарной улыбкой. (Именно – впархивала! С таким-то беременным животом!) В тот период эта её знаменитая лучезарность ещё не была у Раи приклеенной...

Я написала, что Рая была единственной. Историк должен стремиться к точности. По крайней мере, цифр. Формально говоря, ко мне заскакивали, в сумме, ещё трое. Но, как бы это сказать... Здесь кроется некий нюанс, который я должна Вам пояснить, потому что Вы не располагаете таким background'ом, как я, и Вам не с чем сравнивать.

Видите ли, в нидерландской больнице посетителю, между нами говоря, нечего делать. Он не выполняет там, как это принято на моей бывшей родине, функций санитарки, медсестры, медбрата, врача, фармацевта, аптекаря, психолога, лечебного физкультурника, физиотерапевта, массажиста, снабженца, повара, гигиениста и, конечно же, несякнущего источника взятки. (Там, в моём прошлом, посетитель не выполнял функций разве что патологоанатома. Но – времена сейчас "новые", так что я не уверена в этом до конца.) А здесь, в Королевстве, – здесь посетитель должен лишь приятно и ненапряженно общаться с недужным. Взаимно наслаждаться, так сказать, *роскошью человеческого общения*. В разнообразных стилях: "семейном", "добрых знакомых", "старых сослуживцев", "таких дружных соседей, которые как родственники", "просто соседей".

Вот с этим-то зачастую и получается сбой. Если люди за стенами больницы никак не общаются, не умеют – то с чего у них вдруг именно в больнице это получится? Ясно, что дельце вряд ли выгорит.

А потом: что значит "приятно, ненапряжённо"? Приятно – значит, по крайней мере, "не неприятно", а ненапряжённо значит – "легко" и, большей частью, "очень напряжённо, ибо лживо". Но "не неприятно" общаться трудно, а "легко" – трудно до полной невозможности. Поэтому человеческое общение заменяется "контактом" (зловещее словцо из арсенала дерматовенерологов, шпионов и электромонтёров) – а на кой чёрт эти формальности нужны больному? Лучше уж мирно и нежливо дремать в дегенерирующих лучах телика.

С Раей было не так. Мало того, что души в ней содержалось – хоть с кашей ешь (ну, это Вы знаете), но она понимала, что и в нидерландской больнице (которая представляет собой воплощённый рай даже для отъявленных атеистов Второго и Третьего мира), не всё идеально. Особенно далека эта больница от идеала – для закованного в гипс индивида, который неделями существует между таинственными металлическими устройствами (как в фильме Кубрика "Космическая одиссея 2001-го года") – с задранной нижней конечностью и нелепо вытянутой верхней: ни дать ни взять – астронавт, парящий в пространстве одинокой космической станции и не знающий позывных.

В то время как три мои упомянутых посетителя приходили, садились и принимались на меня молча смотреть (а я – на них – насколько позволяли шейные позвонки): что-то среднее между игрой в гляделки и сеансом взаимного гипноза – в это самое, равно как и в другое время, Раиса мне что-нибудь готовила (это в нидер-



ландской-то лечебнице!). Она каким-то образом сообразила (знала от рождения, как и многое другое), что больничное меню, сопоставимое с таковым питерских ресторанов моей юности, всё равно не содержит и не может содержать "витамина Д" – ну да: дружбы, доброты, действенной помощи. И вот она быстрыми-быстрыми беличьими движениями готовила мне какие-то маленькие, очень красивые (и очень вкусные!) бутербродики – а я чувствовала себя пятилетней (это при том, что Рая была значительно моложе меня) – какой я была, когда бабушка нарезала для меня, ничего не желавшей есть, маленькие кусочки хлеба с сыром и колбасой – и, смешно называя их "солдатики", "квадратики", "гусарики", "драгунчики", – кое-что умудрялась мне скармливать.

И ещё Рая приносила мне самодельные компоты и самодельные морсы – и это при том, что уже в вестибюле самого Медицинского центра располагались два кафе и три магазина, где можно было купить десятки наименований какого угодно питья. Но нет: Рая, мучимая токсикозом, варила мне кисели... выжимала вручную соки... Да, у неё, конечно, был *гипервитаминоз "Д"*...

Нет смысла перечислять отдельные эпизоды в поведении человека, который в любой ситуации, в паре с любым человеком, в группе любых людей брал всю ответственность на себя. Не взваливал, а именно спокойно брал. Потому что любая ответственность ему была по плечу. И все с облегчением эту ответственность на "того человека" перекадывали.

Глупо получается, правда? Будто пишу я некролог. Хотя – почти так и есть.

"Почти" – потому что это письмо давным-давно было у меня готово. Я просто всё не решалась Вам его отдать. При Раиной жизни. Как я могла вмешиваться?!

Тем более, Рая была Вами словно зомбирована... Теперь я его подправила. Кроме прочего: поставила глаголы действия, имеющие отношение к Рае, в прошедшее время. Все до единого.

Почему я рассказываю так подробно про её *гиперавитаминоз "Д"*? Пишу я об этой стороне её натуры – стороне, которая Вам-то как раз была отлично известна, лучше других – пишу об этой стороне натуры, благодаря которой Рае сначала было позволено встать на специальный коврик в мэрии, пред ликом королевы Беатрикс; затем, через год, было разрешено отзывать на телефонные звонки в квартире любимого человека, затем – даже перебраться с подстилки в кухне на супружескую кровать; затем – зачинать, вынашивать и рожать детей; затем – детей растить, вести дом, тащить на себе весь быт – и, наконец, благодаря той же самой стороне натуры, Рае было позволено *уйти молодой* – освободиться, "откинуться". Это как раз та самая сторона, которую я назову, если давать "диагноз" подробней, *безмерной добротой и беспредельной силой*. Так вот: пишу я обо всём этом только для того, чтобы задать Вам два вопроса.

Как это получилось, что в процессе вашей совместной жизни (ну да: "А разве это жизнь!") она так разительно изменилась?

И ещё: как это получилось, что ничего или почти ничего не осталось от прежней Раи, – даже и в том частном проявлении, в каком она, с несвойственной ей стержовностью, умудрилась ко всему приспособить на стержовной своей работе?

Вопросы, конечно, сугубо риторические.

...Последние годы перед её смертью я даже стала бояться таких дат, как Новый год, православное Рождество, старый Новый год и, конечно, Международный женский день Восьмое марта.

Дело в том, что во все эти дни Раиса непременно рассылала своим русскоязычным знакомым (включая, конечно, меня), страшные электронные открытки. Она рассылала их *сколом* (не знаю и знать не хочу знать "правильного" электронного

термина): одна внеперсональная открытка – одним нажатием кнопки – отправлялась сразу трём дюжинам мгновенно обезличенных адресатов.

Такого рода типовая открытка была исполнена в стиле оптимизма американских комиксов. Кишение-роение поэтических образов составляли: забавные звёздочки, трогательные грибочки, мультяшные кошечки, цветочки, задницы в виде сердечек, сердечки в виде задниц (такая вот закономерная семантическая конверсия, неизбежная анатомическая трансформация); короче –

**I ♥ U!!!**

Это были именно те самые образцы визуального искусства, которые продуцируются и потребляются таинственными (хотя и составляющими агрессивное большинство) существами – теми самыми, чей IQ прочно оккупировал зону отрицательных чисел – и чьи ближайшие предки переболели культурой, как корью, приобретая к ней стойкий – и даже генетически передаваемый иммунитет. В открытках было уже всё написано – и поздравление, и пожелания. Рая ван дер Браак ставила только свою подпись: Рая ван дер Браак.

Русскоязычные приятельницы Раи, – дамы, в массе своей, прямо скажем, не самой тонкой организации, перестали ей отвечать. Это, разумеется, не было бойкотом Раиному (развившемуся резко, как флюс) дурному вкусу. Это не было саботажем махрового, внезапно расцветшего её бездушия. Это не было игнорированием и самой поздравительницы – в ответ на игнорирование поздравительницей всего сразу: адресатов, личных отношений с адресатами, индивидуальных особенностей адресатов, традиции, своей индивидуальности, в конце концов.

Это был испуг в химически чистом виде. Дамы из клуба "Русские Присоски" (о котором, Вы, наверное, слышали), не перегруженные "чувством прекрасного" даже в его портативном варианте, – даже они, дамы, впадали от этих открыток в сплин. Точнее, в русскую хандру.

Почему?

Да потому, что открытки подписывала, на их взгляд, не Рая. Это делал какой-то другой человек, никому из её знакомых не известный. Возможно, открытки подписывало даже электронное устройство. Но куда же делась сама Рая? Была ли она оборотнем? Или законный супруг, то есть Вы, господин ван дер Браак, подменили её удобным для себя двойником, а настоящую Раю замуровали в холодной стене – где-то между ватерклозетом и кладовой?

Страшно наблюдать, когда большой и яркий человек – всю свою громадность, все свои силы – направляет исключительно на то, чтобы стать маленьким и незаметным.

О ком идёт речь?

Кто – этот яркий и сильный человек?

Да Рая же, Рая.

Сейчас я сделаю ещё одно признание. Я обязана его сделать. И мне безразлична Ваша реакция, господин ван дер Браак. Но прежде чем Вы дадите волю своей реакции (недоумения, переходящего в откровенную насмешку), примите, пожалуйста, во внимание следующее: круг моего общения составляют люди талантливые, притом настоящие профессионалы в своих сферах. Это отнюдь не "гении местных масштабов". То есть когда я пишу о Рае, поверьте, мне есть с кем сравнивать.

Так вот: Рая была талантливей всех. Просто она была неразвита. Да-да: я не встречала человека, одарённого природой щедрее, чем Рая. В чём же именно проявлялись задатки её талантов? Да во всём!

Напишу сейчас только об её актёрском таланте. В России когда-то блистала феерическая личность – Фаина Раневская. На небосклоне российских звёзд, да

и не только российских, – увы, невозможно обнаружить талант сходной природы, мощи, цельности, шарма.

Так принято думать.

Так думала и я.

Пока не встретила Раю.

У Раи именно такой-то талант и был. Она играла постоянно. Она играла легко, смело. Она играла свободно, даже не понимая, что играет. До замужества Рая вообще не существовала в быте, она его невольна – именно невольна – обыгрывала, яростно перепалывала своими остротами, лицедейски переиначивала. Всё её поведение, включая непредсказуемые повороты мысли, пение, речь, жесты – были мощным, сверкающим каскадом чистой импровизации, которую я нахожу гениальной; её комические переходы, перепады, эскапады были ошеломляющими. И вот – может быть, главное, чем обладала Рая и что встречается крайне редко даже у профессиональных актрис: *она не боялась быть некрасивой*. Она не боялась быть и смешной. Она вообще ничего не боялась.

Никогда не забуду, как она, в ходе рассказа или действия, вдруг начинала с комической деловитостью наматывать белокурый локон на палец, притом держа перст возле самого своего носа, сканивая на него голубые (бесовские) глаза – и медленно, раздумчиво произнося: "Я сошла с ума... Кажется, я сошла с ума..." – именно так, как делала это Раневская в одном из послевоенных культовых фильмов...

В этой дежурной сценке содержалась, кстати сказать, ироническая, то есть очень трезвая оценка своих действий. О, Рая отлично понимала, куда, вцепившись ей в светло-русую гриву, влечёт её, Раю, женский *рок событий* – в какую душегубку заталкивает её брачный гон, – она всё понимала, но, скажите, кто и когда мог противостоять этому гону (року)?

Представляю (точнее, даже не могу представить), с каким энтузиазмом Вы встряхиваете сейчас головой. Вам кажется, что Вы спите – и там, во сне, читаете моё письмо. И, во что бы то ни стало, Вы пытаетесь проснуться.

Я Вас понимаю. Да и кто б Вас не понял? Получается, что Вы прожили жизнь с другим человеком. Не с тем, которого, как казалось Вам, Вы знали наизусть. Чертовщина какая-то, верно?

Это мягко говоря.

Но, господин ван дер Браак, знаете, бывают испытания и похуже. Персонаж одного французского классика теряет жену – и, по этому поводу, соответственно, убивается. Он полагает, что не переживёт её смерти. Но вот через пару дней выясняется, что она была совсем не той, за кого он её принимал. Не той, с кем – как с примерной женой – жил много лет. Она была высокооплачиваемой куртизанкой. Муж, вдругорядь, прибит.

Но французскому классику и этого мало. Он делает так: через пару дней вдовец продаёт женины, заработанные в чужих постелях, украшения, обретает неведомое доселе материальное благополучие – и полностью утешается. Именно – утешается, вкушая закрытые для него доселе радости жизни. Хотя получается, что он сам – вовсе не тот, за кого всю жизнь себя принимал.

И вот этот, третий, самый сокрушительный, удар автор наносит не персонажу (того уже ничем не пронять), а непосредственно читателю.

Ваше положение, господин ван дер Браак, мне представляется полярно обратным. Вы считали, что живёте с тупой коровой – и вот Вам говорят: это была женщина моцартианской одарённости.

Здесь нет противоречия. Коровой она стала, так скажем, *в процессе*. Да и предпосылки к тому были, прямо заявим, коровьи. То есть совсем иные, чем у

Вас. Нищета, тупость и деспотизм окружения, беженство, бездомность, потеряность во вселенной вплоть до чувства абсолютного своего исчезновения – когда смотришь в зеркало, и там тебя нет, – да: потеряность во вселенной вплоть до чувства абсолютного своего исчезновения – и не только в экзистенциальном смысле, уверяю Вас! – что Вы обо всём этом знаете?

Я никогда не считала Вас интеллектуалом – несмотря на два Ваших университетских образования, множество языков и умение себя подавать (в том числе: продавать). Я всегда видела и продолжаю видеть в Вас тривиального начётчика. Вы знаете наизусть каталоги сочинений Баха, Генделя, Моцарта, Малера – в хронологическом, алфавитном, номерном – и прочем порядке, который только возможно изобрести для пущего комфорта консьюмериста. Вы потребляете музыку (как и остальные изделия из "мира прекрасного") таким тщательно просчитанным образом, чтобы она доносила до Вашего оранжерейного мозга "правильную" дозу питательных веществ, микроэлементов и витаминов, но, чтобы Вы, не дай бог, не схлопотали себе от нее какого-либо "потрясения". А что именно могло бы в Вас быть потрясенным, господин ван дер Браак? Вы не содержите субстанции, которая изобретена природой для высоких эмоциональных потрясений; более того: Вы являете собой конструкцию с надёжной anti-shake программой, инсталлированной в Вас самим социумом.

Если Ваша ярость сейчас окажется несколько слабее любопытства, остаётся некоторая вероятность, что Вы чтение моего письма продолжите. Так вот: в сравнении с Вашей неразвитой, недостаточно образованной, но крупномасштабной от природы женой – Вы всегда казались мне бездарным недоразумением. Скучнейшим следствием мёртвой, трусливой, сугубо мозговой учёности. Или так: закономерной, немного комической, издержкой высшего образования – беспроблемного для людей, живущих в ситуации непоколебимой стабильности. Мне было мучительно наблюдать, как Раиса, эта микеланджеловская сивилла, яростно стёсывает свои могучие формы, чтобы сделаться, под стать Вам, чистеньким, молочно-белым бильярдным шаром.

И вот какие сцены происходили между нею и мной – ещё до вступления её на скользкий путь супружеского благоденствия – до её выхода на этот гололёд, где она, собственно говоря, и сломала себе шею. (Жалею, что этого не произошло с ней раньше, дабы она могла избежать пути закономерной и бессознательно-целенаправленной деградаци.) Да: так какие же сцены происходили между мною и ею?

А такие вот: я, глядя на неё, слушая её рассказы, то и дело вскрикивала: Рая, как Вы талантливы! Как Вы баснословно талантливы! Вам необходимо учиться!

Что она, неизменно, пропускала мимо души. Там, внутри её души, пронзая алмазными лучами околосземное пространство, обосновался Рыцарь-на-Белом-Коне.

То есть Вы.

Тогда я увеличивала громкость: Рая!! Поверьте мне!! Я отлично знаю, что говорю!! На свете найдётся, может быть, три человека, которым я сказала такие слова!! Ноль внимания. Мечтательная улыбка девочки-женщины. Мысли о Вас, прекрасном, занебесном женихе.

Тогда я хватала её за грудки, с силой трясла – и кричала во всю мощь: Раиса!!! Услышите меня!!! Внемлите!!! Не губите себя!!!

Ответом мне служила её – всё нарастающая – загадочная улыбка – розово-карамельная, жемчужная, сияющая раем, – улыбка, которая в ту пору ещё не была приклеенной.

Моё письмо движется к своему крещендо. Можете не дочитывать. Мне это, собственно говоря, всё равно. А ей и давно. Пишу сугубо для себя.

Пишу вот что: один талантливый поэт сказал о другом, умершем, чей талант был ещё больше: знаете, он был не только талантлив, он ещё отличался самыми разнообразными способностями. – Способностями? – переспросили окружающие. – Это вы так-то – про гения? Способностями – к чему? – Ко всему, – было ответом. – К языку, к автовождению, к музыке, к спорту...

Вот так же и я – про Раю. Она, от природы, была фантастически обучаемой. А учиться ей не довелось почти нигде. Не считая там и сям нахватанных курсов – нидерландского языка, бухгалтерского дела, чего-то ещё...

Да, кстати: помните эти курсы автовождения? Помните, как она, сдав экзамен с первого раза, что бывает уже само по себе нечасто, – как она, сдав экзамен в одиннадцать часов утра, – в час дня уже сидела за рулём Вашего голубого опеля, держа путь на другой конец Европы? Рядом с ней, блаженно погрузившись в сладкую праздность, развалились Вы, а на заднем сидении спокойно спал Ваш первенец, Йоост, – и Вы тоже могли спокойно спать, слушать музыку, пить пиво, читать – делать всё что угодно, потому что на этом пути к благословенному месту летних вакаций – да и на всяком ином пути – Вы имели полный набор оснований, чтобы доверить Раисе жизнь своего сына, всех последующих своих детей – и свою собственную.

Я написала, что она не боялась быть некрасивой. Из этого трудно заключить, какой же она была вообще. К внешности человека – красавца, уroda ли – привыкаешь одинаково – одинаково переставая внешность замечать. И потому, для послесольного приближения к истине, надлежит вспомнить самое первое впечатление.

Я увидела рослую, статную девушку. Первое, что бросилось мне в глаза, была невероятная смелость, даже лихость её голубого взгляда. Густая, ровная грива природной блондинки была словно обрублена у самых плеч. У неё были правильные славянские черты лица – но не холодные, а жадно ловящие любую смешинку. Эта готовность расхохотаться была её природным ароматом, тоньше и пряней эксклюзивного парфюма. Казалось, сама нежная кожа её лица благоухала взрывной готовностью к веселью, к смеху...

У неё были свежие, почти детские розовые губы – и очень выразительные руки. Когда она говорила, то обязательно помогала себе всем сразу: глазами, бровями, губами, кистями рук.

Раиса была красива.

Раиса была сокрушительно, победоносно красива.

Из "объективных недостатков внешности" у неё были, пожалуй, несколько великоватые уши – *чтобы лучше Вас слышать*, господин ван дер Браак, – но эти уши она легко скрывала густыми своими волосами – того редчайшего цвета, который понимающие в этом толк галлы называли бы *blanc-Limoges*.

И: конечно же, у Раисы были большие ладони. Даже слишком большие. Как лопаты. Чтобы она могла хорошо работать. Чтобы она могла хорошо работать на Вас, господин ван дер Браак. Меня удивляет, что, обладая несметным количеством духовных талантов, Раиса большей частью работала всю свою недолгую жизнь именно руками.

Удивляет?

Она родилась в той части планеты, где тотально действует *презумпция виновности*. Само рождение на той территории является для индивида изначальным проявлением вины – перед государством, обществом, перед любым должностным лицом – и даже перед таким же *виновным*, как он сам. Появление на тьму ("светом" тьма может называться только в романе Оруэлла) – так вот: появление индивида на тьму в тех обойдённых благодатью угожьях, в тех конкретных условиях истории и географии, является *юридически достоверным фактом вины его, индивида, в*

*совершении преступления* – и таковым оно для индивида остаётся до конца его жизни (“...а разве это жизнь?”), если индивид не может доказать обратное.

Какое дать определение этому явлению? Я считаю правомочным написать: *российская презумпция виновности*. Для тамошнего человека она автоматически вступает в свои неограниченные права самим фактом его рождения. Она запускает раковые метастазы во все сопредельные земли.

Но, может, точнее назвать эту презумпцию виновности – азиатская? Трудно сказать. Ведь даже наука не ведаёт истинных источников той или иной заразы, а что уж говорить об источниках заразного мировоззрения. К примеру, как Вы, конечно, знаете, господин ван дер Браак, люэс, то бишь сифилис, немцы и русские называли “французской болезнью”, французы – “неаполитанским недугом”, греки – “сирийской заразой” – и таким образом это отфутболивание длилось бы до бесконечности (являясь неоспоримым проявлением горячей любви друг к другу соседей по небесному телу), пока на зачёте по микробиологии в одном из мединститутотв Северной Пальмиры (ну-ну!) наиболее полный, исчерпывающий ответ не дала наконец некая студентка из города Барановичи. Студентка изрекла: *Уси хворобы йдутъ с западу*. Так была поставлена достойная точка в вековом споре исследователей.

А с *презумпцией виновности* и того сложнее. Если на невинную спирохету (а спирохета, вне похабных действий человека, и впрямь невинна) – так вот: если даже на невинную, бледную спирохету валится грязная тень жульнической чело-вечьей идеологии, если даже бледная спирохета стенает и воет под прессом этнической любви-ненависти народов, то как уж тут и заикаться-то о понятиях, с одной стороны, глобальных, а, с другой, – и вовсе отвлечённых?

Да и так ли сейчас важно, от каких именно троглодитов зародилась на землях восточных славян *презумпция виновности*? Важно, что Рая, в полной мере, попала под разрушительную радиацию неуважения человека к человеку, которой на упомянутых землях атмосфера заражена тотально; важно и то, что неуважение к себе она считала скорее нормой (хотя могла громогласно декларировать обратное), – важно, что ощущение невытравимой третьесортности было у Раи в крови.

Хотя сейчас важнее всего то, что она покинула нас навсегда.

Впервые я встретила её в школе иностранных языков. Мы оказались с ней в одной группе. Там было ещё около двадцати студентов.

Раиса шла впереди всех с колоссальным отрывом. Мы все, с той или иной способностью к обучению (с очень даже высокой у некоторых), – всё равно оставались табунком жеребят, которые пытаются мчаться наперегонки с локомотивом. Зрелище трогательное, но малоинтересное – в силу предрешённости.

Её способности к языку я назову баснословными. Ещё в ту пору, до школы, когда у неё в запасе было несколько сот слов, *она говорила на нидерландском совершенно без акцента*. Если учесть, что нехитрые свои фразы она строила абсолютно правильно, то следует, смеха ради, заметить, что уже через два месяца после своего нахождения в стране (в это время она только-только переселилась из лагеря беженцев в достославную кирху), то есть ещё до каких бы то ни было занятий в школе, она говорила на нидерландском так – то есть с такой степенью чистоты, таким ясным пониманием самой его сути, – что голландцы принимали её за голландку. Чем она, разумеется, пользовалась (например: в разговорах по телефону с должностными лицами – похлопотать за какого-нибудь знакомого).

На уроках мы больше наблюдали за ней, чем за преподавателем. Это был непрерывный аттракцион. Заметим по ходу дела, что у неё не было типичного поведения отличницы. Её даже и отличницей-то нельзя было бы назвать. Она как-то выламывалась из бурсацкого убожества таких категорий. Она была просто гениальна. Выяснилось, что Рая не просто запоминает речь преподавателя –

слово в слово – но, одновременно (если ей делалось скучно), перемножает в уме пятизначные числа.

А скучно ей было на уроках всегда. Хотя она, конечно, это не демонстрировала. Представим себе гоночную машину, которую обязали ехать на городское кладбище (со скоростью десять километров в час). У такой машины запросто может сдохнуть мотор. Чтобы этого не случилось, Раиса играла сама с собой в разные игры.

Например, в анаграмму. Притом – на нидерландском. Притом – смысл игры состоял не только в составлении новых слов, – но и в *мгновенном*, при первом же взгляде на слово, угадывании количества таких слов (комбинаций). И даже не только в угадывании общего количества, но и в угадывании однородных групп. Например: трёхбуквенных слов должно получиться столько-то, четырёхбуквенных – столько-то, пятибуквенных – столько-то – и так далее.

Но и это не всё. Раиса, едва взглянув на слово, могла определить, *какой процент* будут составлять, скажем, трёхбуквенные слова по отношению к общему количеству новых слов.

И вот при всём при том смотреть на неё было страшно.  
Почему?

Её целенаправленные усилия не были направлены в сторону языка как такового. Для неё это было несерьёзно.

Её целенаправленные усилия были направлены на успешную интеграцию.

То есть, в первую очередь, на соответствие своему жениху – что, по её понятиям, значило "трогательное женское" отставание в развитии, робкое поглядывание на жениха (а даст бог, и мужа) – да, вот так: снизу вверх, распахнутыми в восторге глазами, ноздрями, ртом.

Успешная интеграция включает в себя полнейшую обезличку. Она, собственно говоря, её и имеет в виду. Обезличка же обеспечивает адаптацию на работе – на любой работе – а значит, успех интеграции. Круг замыкается.

Рая понимала, что Вы, господин ван дер Браак, никогда не станете жить под одной крышей с женщиной "своей мечты". Вы слишком "романтичны", то есть, попросту говоря, капризны, чтобы совсем уж беспечно конвертировать соловьиное пение Ваших шкодливых променадов по паркам и рошицам в бульканье семейного супа.

Рая понимала, что жить Вы будете вот с какой женщиной: *самой для себя удобной*. А это уж никак не Наташа Ростова. Самая удобная для Вас женщина – как подсказывала Рае природная смекалка – должна была бы содержать в себе две части – и обе оптимальных: как "западная европейка" она обязана была быть полностью обезличена, аннигилирована до функции (чтобы быть принятой на работу, на любую работу), как "русская" она должна была быть сказочно неприхотлива, велика сердцем и работяща.

С "русской" стороны у Раи было всё в порядке. Ей необходимо было нарастить, в соответствие с эталоном, "европейскую сторону". И вот именно эта-то сторона наращивалась и усиленно шлифовалась Раей в школе языков. Рая быстро научилась с *безупречной интонацией и правильным выражением лица* говорить такие вещи: вчера погода, полагаю, была хуже, чем сегодня, но завтра, я слышала, будет лучше.

О, это огромное искусство – произносить такие фразы без содрогания!

Рая поймала на лету, что в процессе коммуникации с аборигенами негласно-легитимными являются только определённые темы. Если ты хочешь, чтобы на тебя смотрели нормальными, а не выпученными от ужаса глазами, надлежит поддер-

живать разговор исключительно о четырёх основных стихиях мира, которыми являются: 1. налоги; 2. автодорожные штрафы; 3. страховки; 4. котировки акций.

В этих вопросах Раисе не было равных. Ну, некий, скажем так, орнаментальный (фондовый) разговор, конечно, имел право быть – и только приветствовался. Разговор, служащий ненапряжённым задником для магистральных бесед о налогах, автодорожных штрафах и сравнительных особенностях страховок, а также о котировках акций. На мой взгляд, чай довольно хороший. Я предпочитаю чай. Мой муж, наоборот, отдаёт предпочтение кофе. О, выпечка очень вкусна. Здесь действительно очень уютно. Вы великолепно выглядите. Превосходно! Восхитительно! Фантастично! Я приехала из Киева. Да, Киев – это очень красивый город. Вы бывали когда-нибудь в Киеве? У меня есть родители и две младших сестры. У моего мужа тоже есть две сестры. Меня зовут Рая. Очень приятно! Спасибо. Ничего страшного! О да, это вкусно! Я уже наелась. У меня уже полный живот, ха-ха-ха. Попробуйте, это вкусно. Да? Ну, иногда. Ну, как сказать... Это трудный вопрос... Скорее да. Это очень дорого! В прошлом году это было намного дешевле. В Польше, говорят, это дешевле всего. Я живу здесь уже пять лет. Да. Очень. Ну что вы! Нет, я не говорю по-японски. Язык Украины называется украинский. Язык Белоруссии называется белорусский. Вы так думаете? Да-да. Нет, Санкт-Петербург – это пока не Украина. Очень приятно. Да-да, там были колоссальные скидки. Нет, не пятнадцать, а даже тридцать пять процентов, представляете? Невероятно! Да, пожалуй, спасибо. С сахаром и с молоком. Это для мужа. А мне, пожалуйста, без сахара. Да, ха-ха-ха... А вы? О да. Летом мы были в Испании. Я люблю море. Мой муж тоже любит море. А ваш муж любит море? Море, я полагаю, полезно для детей. В Испании всегда солнце. Там всегда хорошая погода. Там прекрасный климат в горах. И очень дешёвый кофе. Но, увы, не очень вкусный, ха-ха-ха... Мой муж неоднократно жаловался. Во Франции кофе лучше. Да, марки те же, но во Франции, по мнению моего мужа, они умеют его приготавливать... Да? Что вы! Мой муж потребляет очень много кофе. Нет-нет, мне нельзя... Я не хочу набирать вес, ха-ха-ха... Ах, завтра снова на работу... Нет, совсем не хочу... ха-ха-ха... А что делать? Надо! Прекрасный вечер. Увы... До следующей встречи. Чмок-чмок-чмок... И вам того же! Чмок-чмок-чмок... И вам того же! Чмок-чмок-чмок... И вам того же!.. Чмок-чмок-чмок... И вам того же! Чмок-чмок-чмок... Чмок-чмок-чмок... Чмок-чмок-чмок...

Да: весь могучий запас душевных и физических сил Раи был целенаправленно брошен на то, чтоб сделать себя никем.

Закончить школу языков – чтобы стать, наконец, никем.

Нет, раньше. Ещё с той самой кирхи – стать никем.

Ещё раньше: с лагеря для беженцев в Нидерландах.

Нет, раньше: с лагеря для беженцев в Великой Британии.

А по-настоящему у неё это стало получаться с того самого момента, как она встретила Вас, господин ван дер Браак.

Кем ты хочешь стать, девочка? – Я закончу курсы бухгалтеров! (Не отвечать: космонавтом, актрисой, художником.) – Отлично. – Кассиров! – Превосходно. – Продавщиц! – Прекрасно. Зачёт. – Парикмахерш! – Волшебнo. – Железнодорожных контролёров!! (А в душе: Никем. Никем. Никем. Никем.)

Рая была очень умна.

Она мгновенно уловила наиважнейшую формулу адаптации.

И оказалась в её претворении предельно успешной!

Но почему же тогда она прожила так катастрофически мало?

Прощайте.

Браки свершаются на небесах».



## ГОРЯЩИЕ УГЛИ

(Из цикла «Небиблейские рассказы»)

– Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову **горящие уголья**.

Апостол Павел, «Послание к римлянам» 12:20

– Я только хотел показать тебе, что я не так уж плох. **Горящие угли**, знаешь ли!

Джек Лондон, «Конец сказки»

«Что за сон такой, где все трясется и грохочет? Голова гудит, словно черти дубасили по ней бейсбольными битами, а руки и ноги словно чужие», – несколько секунд Дина Юматова лежала с открытыми глазами, сопоставляя незнакомый ребристый потолок, головную боль и затекшее тело, завернутое в одеяло и скрученное поверх одеяла простыней. На двадцать пятом году жизни странно ощущать себя туго запеленатым младенцем! «Младенцу полагается подгузник, мне бы он сейчас тоже не помешал», – подумала Дина, но прижатые к телу руки обнаружили только длинную майку. Она приподняла голову и осмотрелась: рядом в одних трусах и с лиловым синяком под глазом, скрючившись, валялся Кай – любимый мужчина и надежный друг, в миру Алексей Кайдановский, непредсказуемый сотрудник газеты «Сибирский валенок» и непосредственный подчиненный. «Уже хорошо!» – отметила про себя Дина. Впереди над креслами торчали два бритых мужских затылка, за ними виднелась голова в шлеме. «Вертолет!» – определилась Дина. Левый затылок был хорошо знаком: с детства маячил перед глазами. Его обладатель – Олежка Лукин – сидел за второй партой прямо у окна, как раз перед ней, Диной Юматовой, которая бредила сказками Андерсена и примеряла сказочных персонажей на всех окружающих. Она использовала формальный подход и называла Лукина Оле-Лукойе, а его соседку по парте, белокурую кукольную Снежану Кроль, – Снежной Королевой. Сама Дина была Дюймовочкой, и ее голова все время была повернута в сторону окна. Она ждала Ласточку, чтобы улететь от этой серой школьной скуки в светлую страну эльфов. Сердобольные тройки по всем учебным дисциплинам, кроме литературы, не нарушали ее внутреннего покоя. Смятение внес новый одноклассник, он же новый сосед по парте отвязный Лешка Кайдановский. Его появление ознаменовалось дракой с Оле: «Олежка – дерьма тележка! Она точно Дюймовочка, но ты не Оле-Лукойе, ты – Крот, тупой, черный Крот, который к ней подкапывается!» Крепкий Лукин вошел в раж, и его с трудом оторвали от сублильного Лешки, который насмешливо повторял разбитыми в кровь губами: «Что, Крот, боишься света?»

Неугомонный Кайдановский за один день успел многое. На геометрии какую-то теорему про треугольники доказал не так, как в книжке: «Этот учебник – полный отстой!» – и математичка, к всеобщей радости, оставшуюся часть урока сообража-

---

<sup>1</sup> В общепринятом переводе Н. Аверьяновой вместо фрагмента идиомы «собирать горящие угли на чью-то голову» приводится упрощенная расшифровка.

ла над его доказательством. Добрую, но тормозную Лену Боровикову на зоологии обозвал «Бледноборовиковой из отряда головозадых». Лена сказала, что головоногие те, у кого голова рядом с ногами, а оказалось, что это всякие кальмары-осминоги. Потом была история, и Лешка самозабвенно рассказывал про Великую Французскую революцию, а умница и красавица учительница Настенька Дмитриевна внимательно ему вместе с ошеломленным классом. Кайдановский не стал перечислять события, фамилии и даты: он перенес своих слушателей и зрителей в мятежный Париж. Ожившие Робеспьер, Марат, Дантон произносили речи, спорили, писали манифесты, приговаривали новых врагов или бывших друзей к смерти и сами погибали под ножом гильотины или от ударов кинжала.

Когда, к концу урока, Максимилиана Робеспьера казнили термидорианцы, Дина отчетливо увидела его окровавленную голову, скатившуюся в проход между партами, и упала в обморок.

Она очнулась от резкого запаха нашатырного спирта.

– Все хорошо, Диночка! – успокаивала Настенька Дмитриевна. – Следующий раз, когда Кайдановский будет рассказывать о революции или войне, я заблаговременно выведу всех девочек из класса.

На уроке русского языка писали диктант. Лешка во время проверки молча взял у Дины авторучку и зачеркнул в ее писанине две буквы.

– Исправляй! Здесь «е», а не «и». Здесь «о», а не «а». Эх ты, сказочница! Грамотно по-русски писать не можешь!

Дина не стала исправлять, молча закрыла тетрадь и отвернулась к окну. Прозвонел звонок. Кайдановский без колебаний выдрал два листа с диктантом из своей тетради и отнес вместе с Дининой на учительский стол.

– Дюймовочка! – Лешка осторожно тронул ее за плечо.

Дина повернулась к этому чертовому Кайдановскому и с вызовом посмотрела на него глазами, полными слез. Пусть смеется, если хочет! Это же Кай! Насмешник Кай! Она сразу догадалась, как только его увидела. Только не хотела верить, что отныне и навсегда она Герда, а не Дюймовочка, и что не будет короля эльфов, а будут долгие и тяжелые поиски Кая.

– Это не беда, – неожиданно серьезно сказал Лешка. – Ганс Христиан Андерсен был ужасно безграмотным. Некоторые издатели даже не хотели его печатать, а он плевать хотел на этих грамотеев, не сочинивших ни одной сказки. Не обижайся! Ты ведь знаешь, что я...

– Знаю! – прервала его Дина. – Ты – Кай!

После обеденного перерыва настал черед английского. Безнадежные попытки молоденькой Агнешки-декабристки – Агнии Юрьевны, попавшей из Питера в глухомань вместе с мужем-свежеиспеченным лейтенантом, – научить прагматичных сибирских школьников азам чужого языка натыкались на полное безразличие.

– Ребята, как вы не понимаете! – горячо убеждала равнодушный класс Агнешка. – Английский – язык международного общения. Он вам поможет в экстремальной ситуации.

– Ну да, – однажды заметил невозмутимый якут Саша Семенов, – заблужусь я как-нибудь в тайге. Похожу-похожу, встречу канадского лесоруба или американско-нефтяника и спрошу: – Эй, бой, как тут к морю Лаптевых выйти?

Агния Юрьевна под всеобщий хохот только развела руками.

Однако ее не зря прозвали «декабристкой»: она настойчиво продолжала распространять свое знание среди несовершеннолетних российских аборигенов, словно чувствовала, что на тернистом пути просвещения однажды обретет поддержку.

– I see new face, – сказала Агнешка, осмотрев класс. – Whats your name, boy? – обратилась она к Лешке.

– My name is Alexey Kaydanovsky! Im twelve years old and I come from Iraq, – приподнявшись, ответил Кай на все стандартные вопросы сразу и сел, полагая, что английский язык Агнии Юрьевны ограничивается рамками учебника, раскрытого Диной Юматовой.

Он ошибся. Агнешка не остановилась. Вначале Кай отвечал на ее вопросы односложно, а потом увлекся беседой и рассказал, что родители отправили его в Россию, когда американцы начали обстреливать Багдад. Папа – специалист по нефтедобыче, а мама – врач-инфекционист. Очень не хотелось от них уезжать, но в Багдаде сейчас невозможно учиться, поэтому он оказался в этой сибирской школе. Здесь живет бабушка, а в Москве у него нет никакой родни. По-арабски не говорит, но немного знает фарси, так как до Ирака родители работали в Иране.

На вопрос Лешки, откуда у Агнии Юрьевны такой чудесный английский, Агнешка в свою очередь объяснила, что в институте английский был ее основным языком, и она почти год стажировалась в Великобритании. На первых порах, из-за недостаточного владения разговорным языком, иногда попадала в нелепые ситуации. Агнешка, описывая в лицах комичные случаи, развеселилась, как смешливая девочка, а Кай хохотал до слез.

Класс тихо хлопал ушами. Потом Агния Юрьевна спохватилась, что пора начинать обучение. Во время урока, когда кто-нибудь ошибался или просто не мог выполнить ее задание, она обращалась к Лешке, который сразу понял ее педагогическую идею и безо всякой издевки над неучами приходил им на помощь.

Последней была география, которую вел директор школы Геннадий Федорович. Он всегда начинал урок с событий в мире.

– Ну, россияне, что нового в отечестве и за рубежом?

Обычно «россияне» молчали. Они смотрели МузТВ или MTV, полагая, что информационные программы предназначены для родителей. Геннадий Федорович сам рассказывал о последних событиях, но при этом отправлял кого-нибудь к географической карте, предлагая показать место или страну, где эти события произошли или происходят.

– В Афганистане войска НАТО вели бои с талибами в южных провинциях Гильмед и Урузган. В основном работала авиация. – Лешка подошел к карте обвел электронной указкой коричневые пятна.

– Ну, и кто же такие талибы? – спросил Геннадий Федорович.

– Талибы, дословно – «изучающие ислам» – пуштунские студенты из религиозных школ, составившие основу вооруженного движения «Талибан», созданного муллой Омаром во время гражданской войны в Афганистане в 1992 – 1996 годах. – Кай выдал краткую справку и вернулся на свое место за партой.

– Так-так, – сказал Геннадий Федорович, – похоже, что твоя бабушка не шутила, когда сказала, что ты собираешься стать военным журналистом.

– Да! – подтвердил Кай. – Не шутила.

Через пять лет он отправился в Москву поступать в Институт военных переводчиков, и Дюймовочка в первый раз потеряла Кая. Она не могла уехать вместе с ним, потому что мама в своей тяжелой болезни вышла на финишную прямую. В столицу тихой сапой отправилась Снежана Кроль. ГИТИС, ВГИК, Щукинское и Щепкинское отказались от услуг еще одной куклы Барби, однако, обладая многочисленной состоятельной родней, Снежана осталась в Москве и через год женила на себе Кая. Им как раз исполнилось по восемнадцать лет.

– Снежная Королева умчала Кая в свои чертоги, – невесело пошутила Дина, узнав эту новость.

Мамы уже не было, и Дюймовочке было так больно и одиноко, что она согласилась выйти замуж за Лукина. Крот все-таки до нее докопался!

Бракосочетание пришлось на декабрь. Лукин подарил Дине роскошную шубу и предложил ехать в ЗАГС, а затем в церковь не на машинах, как все лохи, а на тройках лошадей. Дине было все равно.

Под звон колокольчиков, рев гармошек и треньканье балалаек, в сопровождении кавалькады лубочных всадников, свадебная процессия примчалась в ЗАГС. Настоящими были белый-белый снег, поскрипывавший под ногами, и легкий мороз, чуть обжигавший щеки. Дородная тетка через десять минут объявила Олега Лукина и Дину Юматову мужем и женой. Новобрачные вернулись в нарядные сани, и лошади понесли их к церкви.

Для того чтобы настроить Дину на сказочное, как полагал Лукин, действие венчания, был припасен главный подарок. Волшебный!

Они остановились на полдороге в заснеженном поле. Лукин снял с Дининых ног белые туфельки и надел на них валенки, потом достал из-под сидения коробку, завернутую в теплый плед, и сказал:

– Это подарок от Оле-Лукойе. Выйди на нетронутый снег и открой.

Дина вылезла из саней и пошла по белоснежному насту, протаптывая валенками тропинку. Метрах в десяти от саней она остановилась, поставила свою ношу на снег и откинула плед. Появилась картонная коробка с черной кнопкой. Дюймовочка нажала на кнопку. Откинулась крышка, а затем боковые стенки, и из коробки вылетело сверкающее облако.

Это были разноцветные тропические бабочки. Они кружились, пытаясь разлететься, и падали замерзшими цветками на белый снег. Свадебные гости визжали от восторга, а Дюймовочка кричала: «Они же живые», – и, сбросив шубу, собирала в нее бабочек. Заледеневшие крылышки ломались, и, отчаявшись спасти всех бабочек, она поймала раскрытыми ладонями последнюю, самую сильную, летунью. Большая зеленая бабочка еще могла ползать, и Дюймовочка, прикрыв ладони, попыталась согреть ее своим дыханием. Но тщетно, дыхание зимы было сильнее. Из опустившихся рук выскользнул зеленый листик, а с Дюймовочкой началась истерика. Она рухнула в снег, нашептывая в исступлении: «Я тоже хочу замерзнуть».

Подбежавший Лукин поднял ее и принялся утешать.

– Дина, ну что ты! Да, плюнь ты на них! Не сегодня, так завтра они все равно сдохнут!

Но Дюймовочка уже ничего не слышала. Вместо церкви ее пришлось везти в клинику неврозоз. Они так и не повенчались. После двух недель, проведенных в больничной палате, Дина уже ничего не хотела. Все попытки Лукина организовать номинальный семейный очаг потерпели фиаско. Тень Дюймовочки, сопровождаемая телохранителем, бродила по городу, вызывая искреннее сочувствие у людей, знающих ее, или злорадное шипение у недоброжелателей Лукина. Ведь она числилась женой преуспевающего торговца лесом.

Но однажды, когда Дина забрела на их с мамой квартиру, раздался телефонный звонок.

– Дюймовочка! Как хорошо, что я тебя, наконец, застал! – сказал такой знакомый, такой родной голос. – Ты слышишь меня, Дюймовочка?

– Слышу! Слышу! – закричала Дюймовочка. – Где ты, Кай? Мне так плохо без тебя! – словно прорвалась мерзкая серая паутина, обволакивавшая ее чувства, и она заплакала.

– Я на войне. В горах, – глухо сказал Кай. – Я буду тебе звонить каждую субботу примерно в это же время, а потом приеду. Обязательно приеду. Ну, все, нам пора сматываться...

Раздались странные хлопки, и связь прервалась.

«Это выстрелы», – поняла Дюймовочка.

Она принялась лихорадочно набирать телефонный номер. Длинные гудки на другом конце провода казались ей похожими на сирену «Скорой помощи».

– Я слушаю, – вдруг донеслось из телефонной трубки.

– Мария Сергеевна! Мария Сергеевна! Это я, Дина! Где Лешка? Что с ним? Ой, извините, я не поздоровалась. Здравствуйте!

- Диночка, как хорошо, что ты позвонила! Он все время спрашивает о тебе, а я не знаю твоих новых телефонов: ни домашнего, ни мобильного.
- Можно, я к вам зайду? Прямо сейчас зайду.
- Конечно, деточка!

Дюймовочка бежала к бабушке Кая, наткаясь на прохожих, не реагируя на ругательства и ответные толчки. Телохранитель еле за ней поспевал. Кай вернулся!

До глубокой ночи они вместе с Марией Сергеевной смотрели DVD с военными репортажами, отснятыми Каем. Он работал оператором съемочной группы одного из каналов итальянского телевидения. Их собственный оператор был ранен и отправлен в Италию. У бабушки оказались подстрочники всех телерепортажей, и Дина пробежала глазами распечатанные тексты. В одном из них комментатор в промежутках между гулками разрывами и пулеметными очередями говорил:

– Вы бы не увидели эти кадры, если бы не наш русский оператор Кай. Второго такого «сорвиголовы» нет ни в одной из съемочных групп.

Дина прожила три дня в сплошном тумане. Ей всюду мерещился Кай. Наступающая суббота представлялась волшебным праздником. Надо отправиться на ночевку в свою квартиру в пятницу вечером, чтобы не пропустить телефонный звонок. Как жаль, что Кай не успел спросить, а Дина забыла сказать ему номер своего мобильного. Теперь она исправит эту оплошность, и Кай сможет ей звонить при первой же возможности, как только окажется в зоне доступа.

Праздник не состоялся. В среду позвонила Мария Сергеевна.

– Диночка, такое несчастье... Такое несчастье! Их взяли в заложники, – дальше бабушка не смогла спокойно говорить. Рассказ прерывался всхлипыванием, но в конце концов Дина узнала, что за съемочную группу похитители назначили выкуп. Владелец телеканала согласен выкупить итальянцев, но за Кая он не собирается платить. Треть выкупа – треть миллиона долларов – надо где-то взять. Срок истекает через неделю. Родители Кая уже в Москве и продают за триста тысяч свою квартиру, Мария Сергеевна тоже будет продавать квартиру, но за нее не дают больше пятнадцати тысяч. Где-то надо срочно доставать еще двадцать тысяч долларов.

– Мария Сергеевна! Мария Сергеевна! Я продам свою однокомнатную. Кому надо звонить?

– Диночка, спасибо тебе, детка! Телефон агентства по недвижимости – пять троек. Там у них такой хороший мальчик Игорь Агафонов, можно обращаться прямо к нему. Сын заработает на прокладке этих своих нефтепроводов, и мы тебе все вернем, до копейки, но я знаю вашу с мамой квартиру. За нее не дадут и десяти тысяч.

– Мария Сергеевна, я найду недостающие деньги! – Дина повесила трубку и достала из сумочки мобильник.

– Лукин, мне срочно нужны деньги. Много денег. Пятнадцать тысяч долларов.

– Зачем?

– Это мое дело!

– Хорошо! Когда вернешь?

– К концу жизни. Буду спать с тобой, пока не сдохну.

– Интересное предложение, но мне проще нанять проститутку. По крайней мере, она будет отрабатывать эти деньги честно. Зачем тебе пятнадцать тысяч?

– Ладно, скажу! Чтобы выкупить Кая! – и Дина все подробно рассказала.

– Так, – сказал Лукин, – теперь слушай сюда. В память о нашем детстве я покупаю у тебя квартиру за тридцать три тысячи долларов. Ты немедленно мне ее освобождаешь, а я немедленно звоню Марии Сергеевне. Незачем ей ночевать на вокзале. – Лукин закончил разговор.

К счастью, собранная родителями и бабушкой Кая треть миллиона не понадобилась. Съемочную группу итальянского телевидения освободили российские

десантники. Бесплатно. Дина вернула Лукину деньги и насовсем перебралась в свою квартиру. Кай увязался за десантниками в качестве внештатного корреспондента какой-то молодежной газеты и около месяца просто писал репортажи, пока на одном из блокпостов не оказался в осаде. На его глазах пуля пробила голову Диогену, недоучившемуся студенту-философу, с которым они десять минут назад трепались о последних музыкальных новинках. Кай вытащил АКМ из еще теплых рук Диогена и принялся стрелять очередями по набегаящим фигурам.

Он провоевал около трех месяцев, пока осколок мины не изуродовал его левую руку чуть выше локтя. Ранение оказалось тяжелым, требовалось длительное восстановление, и после госпиталя он приехал к бабушке, а точнее к Дине.

Дюймовочка к этому моменту организовала экологическую газету «Сибирский валенок». Сама она специализировалась на разоблачении олигархов, «хищнически разрушающих хрупкую таежную сказку». Кайдановский тут же подключился к редакционной работе, и именно он придумал Дине Юматовой псевдоним «Дюма'-дочь». Как только рука зажила настолько, что Кай смог обходиться без медиков, он принялся совершать дальние рейды к нефтяникам, дорожникам, лесозаготовителям. Тут ему весьма пригодился военный опыт, так как в поисках быстрого и большого заработка люди не сильно переживали из-за поломанных кедров, нефтяных пятен на реках и в лучшем случае встречали спецкору отборным матом, а в худшем дело доходило до стрельбы из охотничьих ружей. Кай не оставался в долгу: выбитые зубы, три сломанные челюсти и одна рука, в которой был зажат нож, упрочили его боевую славу.

Популярность газеты росла, Кай все дольше задерживался по вечерам в квартире Дины, а потом просто остался. Оба они, Дина и Кай, были не разведены, но общественное мнение их волновало мало. Было одно молчаливое соглашение, бросавшее пятно на репутацию газеты. По этическим соображениям они не трогали лесоторговца Олега Лукина. До тех пор, пока он сам не занялся вырубкой.

Но вот во вчерашнем выпуске «Сибирского валенка» появилась статья «Заготовитель банкнот», а уже ночью их, спящих, связали и теперь куда-то везут на вертолете. Руки Кая заломлены за спину и стянуты на запястьях скотчем. Судя по всему, он сумел кому-то вмазать ногой, и похитители, на всякий случай, связали ему лодыжки.

– Кай! – шепотом позвала Дина.

Никакого эффекта! «Мудрено что-то услышать при таком шуме», – подумала Дина и боднула его головой в плечо. Кай спросонья замотал головой и попытался сесть, но это ему не удалось.

– Что за хе...ня? – спросил он, сердясь, у самого себя и уставился подбитым глазом на Дину. – Где мы?

– Похоже, что в плену! – ответила Дина.

– Давно не был, – сказал Кай, – хоть отосплюсь в кои-то веки!

– Ты можешь хоть к чему-то относиться серьезно?

– Могу, к тебе!

– Нас похитил Лукин!

– Да ну!

– Точно! Вон его бритая башка!

– Верно! Крот собственной персоной. Ну, все, неверная жена! По законам сибирского шариата закидает тебя кедровыми шишками.

– Хватит ерничать! Я пи'сать хочу!

– Лукин, – крикнул Кай.

Две бритых головы повернулись на крик.

– Ну, что орешь? – спросил Лукин.

– Подойди, интимный разговор есть!

– Ну, что надо? – Лукин присел возле них на корточки.

– Девушка в туалет хочет!  
 – Здесь нет сортира, а горшок для нее я не захватил. Пусть потерпит, скоро прилетим.

– Я очень хочу! – не выдержала Дина.

– Ладно, обещаешь, что не будешь делать глупостей?

– Обещаю!

– Хорошо! Тебе верю. Сейчас тебя распеленаю, открою дверь, и поливай елки. Скажу пилоту пролететь по макушкам, чтобы еловые лапы твою задницу отхлестали.

– Меня тоже освободи! Кто ее держать за руки будет?

– Тебе не верю! Сам буду ассистировать. Как-никак родная жена.

– Ну, ты и гад, – сказал Кай. – Олежка – дерьма тележка!

Лукин развязал веревку и снял с Дины простыню.

– Так, Кабан, морду отвернул! – крикнул Лукин телохранителю и отодвинул крышку входного люка. – И тебя, Кайдановский, это касается. Не мешай интимной близости супругов.

Через некоторое время Лукин спросил:

– А что, Кай, попытался бы ты за ней броситься, если бы я руки ее отпустил?

– Я бы попытался тебя выпихнуть следом!

– Всегда знал, что ты не Ромео! Только себя любишь: свое геройство, свои таланты! Ты никогда не сделаешь женщину счастливой. Тебе почитательница нужна. Фанатка.

– А ты бы бросился за ней!

– А я бы бросился. У меня даже к тебе ненависти нет, раз ты ей нужен.

– Может быть, и мне можно принять участие в дискуссии, – вклинилась Дина.

– Кто тебя спрашивает? Ты же Дюймовочка. Дюймовочка при Кае, – сказал Лукин. – Ладно, теперь по существу! Мне плевать, что вы вместе спите: бывшая жена и бывший друг...

– Ты мне никогда не был другом, – прервал его Кай.

– Я тебе не был другом, а ты мне был. Не перебивай, дай договорить! Плохо, что дело губите. Ведь вы – белоручки. Она картофелину не очистит, а ты гвоздь не забьешь! Эта дешевая статейка может оставить без работы сотни людей, а значит, сотни семей без куска хлеба. Вы эту природу любите издали, пускаете сопли, любясь березками на экране телевизора.

Я вам обеспечу полный контакт с живой природой. Наслаждайтесь ею до последнего вздоха.

Вертолет принялся снижаться и, наконец, приземлился посреди большой поляны, утыканной пеньками. Впрочем, в центре вырубки одиноко торчала ель, а под ней – большой муравейник. Лукин взял босоногую Дину на руки и понес к елке, ступая по мелким сучьям и шишкам, которыми была сплошь усеяна вырубка. Кабан взвалил Кая на плечо и пошел следом.

– Так, свяжи их за руки скотчем, спинами к древесному стволу, – скомандовал Лукин. – Понял? Ее левую руку с его правой рукой, а ее правую руку с его левой рукой. Пусть, если смогут, водят вокруг елки хоровод, но друг друга не видят. Проследи, чтобы Кайдановский не мог дотянуться до скотча зубами, и освободи ему ноги.

– Ну что, дорогие мои! – подвел итог Лукин. – Оставляю вас наедине с природой. Через недельку прилечу. Вам не понадобятся «сто лет одиночества». Помните предсказание Мелькиадеса: «Первый в роду будет к дереву привязан, последнего в роду съедят муравьи...». Вы первые и последние из рода гадающих мне писак. Да, еще для вас сюрприз! Чтобы расшевелить ленивых муравьев, я привез Хоботова. Он составит вам компанию. Кабан, неси!

Телохранитель Лукина вытащил из вертолета большую клетку и поставил ее рядом с муравейником. Из открытой решетчатой дверцы высунулся длинный нос, который перешел в трубкообразную голову, потом появилось узкое тело, покрытое жесткой черно-бурой шерстью со светлыми пятнами, и, наконец, длинный пышный хвост. Странное животное, размером с большую собаку, принялось передними лапами с острыми когтями разрушать муравейник и длинным круглым языком слизывать его обитателей.

– Да это муравьед! – воскликнула Дина

– Большой муравьед *юруми*, редкий, охраняемый вид, – уточнил Кай.

– Вы оба ошибаетесь, – сказал Лукин, – это мой друг, Хоботов. Он добрый, но не советую пинать его ногами: может полоснуть когтями до кости.

– Хоботов, до встречи! А вы, друзья, прощайте!

Лукин и Кабан забрались в вертолет. Детище Игоря Сикорского облетело поляну и скрылось из виду. Не теряя времени даром, Хоботов разворочил муравейник до основания. Часть муравьев, спасаясь от его длинного языка, покрытого липкой слюной, устремилась к елке.

– Ой! Щекотно! – запримечала Дюймовочка. – Муравьи бегут прямо по ногам.

– Терпи, – сказал Кай. – Вот ведь принцесса на горошине! Будешь ругаться, они в поисках убежища к тебе в попку заползут или еще куда-нибудь. То-то будет жечь!

– Кай, мы что, превратимся в белые скелеты?

– Не сейчас! Лукин вернется за тобой!

– Почему?

– Почему! Потому, что любит тебя!

– А ты? Не молчи! Скажи!

– Не знаю, – произнес Кай.

– А я знаю, что не любишь.

Хоботов заинтересовался потоком насекомых, убегающим по еловому стволу, и принялся слизывать муравьев с Дининых ног.

– Ой! Лезет под майку своим противным языком!

– Не брыкайся! Лукин тебя предупредил. Это всего лишь язык.

– Ну и лез бы к тебе в трусы!

– Он нормально ориентированный пацан и помогает красивой девушке.

Наконец Хоботов съел всех муравьев и решил отдохнуть после праведных трудов. Улегся на бок на месте бывшего муравейника, засунув голову между передними лапами и прикрывшись пушистым хвостом. Но спал он недолго. Послышался гул вертолета. Это возвращался Лукин.

– Ну что, писатели мои ненаглядные, гордецы мои нестигаемые? Можете теперь писать большую статью о давлении на журналистов, об угрозах и издевательствах. Все, спектакль окончен! Валите домой, сочинять сказки. Освободи их, Кабан.

Лукин снял пиджак и присел, облокотившись на лежащего Хоботова. В руке он держал фигурную бутылку, из которой время от времени отхлебывал коньяк.

– Кабан, оставь мне еще пузырь и «Шмеля». Завтра утром нас с Хоботовым заберете!

– Шеф, может, лучше вечером?

– Я сказал – утром!

Пока Дюймовочка и Кай шли к вертолету, Кабан принес Лукину длинную пластиковую трубу и свежую бутылку коньяка.

– Стоп, – сказал Кай, – я остаюсь!

– Кай, ты что? – спросила Дюймовочка.

– Знаешь, что он притащил Лукину вместе с коньяком?

– Нет!

– Реактивный огнемет «Шмель»!



Кабан, не обращая внимания на отчаянное сопротивление, принялся запихивать Кая в вертолет.

– Ты что, не понимаешь? Зеленые бумажки тебе глаза заклепили, – кричал Кай Кабану. – Он же никакой! Он же сейчас смертник – камикадзе.

– Ладно, Кабан, отпусти Кайдановского, а то его человеколюбие пострадает! Дай ему в руки еще одну бутылку и вытолкни из вертушки. Дюймовочка, не переживай! Завтра он вернется. Мужу надо расслабиться! Считай, что Кай пошел на охоту.

– Дюймовочка, все будет хорошо! Улетай! Нам с Оле надо поговорить.

Кай и Лукин пристроились возле Хоботова. Они пили коньяк из горла, не закусывая. Впрочем, из закуски были только еловые шишки. Пили и спорили. Начало смеркаться.

– Пора! – сказал Лукин.

Он взвалил на плечо «Шмеля». Кай захватили бутылку с остатками коньяка, а пустые бутылки аккуратно сложил под елью.

– На кого будем охотиться? – спросил Кай у Лукина.

– Сейчас увидишь! Тут недалеко.

Они отошли от елки метров на сто и остановились. Подождали, когда прикослапит муравьед. Образовалась живописная троица: мужчина в шикарном костюме с огнеметом, мужчина в одних трусах с бутылкой коньяка и лохматый *юруми*.

Лукин развернулся, приладил к плечу огнемет и стал целиться в одинокую ель.

– Олег, ты болен!

– Ты прав! Память пожирает мой мозг, как злокачественная опухоль! Буду выжигать воспоминания дотла.

– Подожди! Ты же никогда не стрелял из «Шмеля». Если ты попадешь в тонкие ветви вдали от ствола, то граната пролетит сквозь крону и подожжет лес на противоположном краю вырубki. Будет большой пожар.

– Хорошо! Давай ты! По моей команде! – Лукин протянул огнемет Каю.

– Готов?

– Да!

– Жги!

Ель вспыхнула, как огромный факел. Троица подошла к полыхающему дереву настолько близко, насколько позволял исходящий от него жар. Хоботов опять завалился на бок. Лукин устроился рядом, обняв муравьеда руками и уткнувшись лицом в жесткую гриву.

– Новая версия сказки Андерсена «Ель», – прошептал Кай, завороченный пламенем гигантской спички.

– Оле! Брат! – Кай присел рядом на корточки и потряс Лукина за плечо. – Ты ничего не изменишь, даже если сожжешь весь этот лес. Она тебя не полюбит. На, выпей еще!

Лукин приподнялся и снял пиджак.

– Слушай, белая безволосая обезьяна! Тебя трясет от холода. Одних трусов мало. Накинь пиджак и сядь на теплого Хоботова. Что я скажу моей жене, если ты простудишься?

Кай не простудился, но после памятной ночи «Горящей ели» перебрался от Дины к бабушке Марии Сергеевне и ушел из газеты: «вечный бой» ему прискучил. У бабушки он прожил меньше недели и отправился в загадочный Непал. Какое-то время Мария Сергеевна получала от него короткие SMS-послания, но потом и эта ниточка связи оборвалась. Скорее всего, Кай, в поисках Просветления, обосновался в одном из буддийских монастырей Тибета.

Дина еще активнее принялась клеймить олигархов в своих статьях. На нее обратили внимание активистки движения «Женский голос», и очень скоро ей некогда

стало писать газетные статьи. Она пополнила ряды пламенных трибунов: принялась разоблачать «сибирских экоглобалистов» на собраниях и митингах. Надо полагать, что когда-нибудь ее выступления услышат в Госдуме, а затем, чем черт не шутит, на международных экологических конгрессах.

Лукин построил деревообрабатывающий комплекс, а затем мебельный комбинат, оснащенный финским оборудованием. Ему удалось убедить руководство края, что выгоднее продавать за рубеж изделия а'ля ИКЕА, а не сырую древесину. Конечно, за ним накопилось много грехов, но он не стал их замаливать, отстегивая деньги на строительство храмов, а создал современный ожоговый центр, который назвал «Опаленное сердце». Во время очередного патронажного визита в центр ему представили молодую женщину, которая категорически отказалась снять с головы полупрозрачную накидку. Ожоги изуродовали ее лицо, и врачи опасались суицида. Лукин, не миндальничая, заявил пациентке, что прежде чем вешаться или травиться, она должна отработать лечение, так как получается, что возились с ней за его деньги напрасно. В этой связи у него возникло предложение: после выписки женщина поступает к нему в домработницы сроком на два года.

Золушку, так назвал Лукин новую домработницу, полюбил Хоботов. Он не отходил от нее ни на шаг и все время путался под ногами. Однажды Лукин был вынужден проторчать дома несколько дней: проходя мимо бревен в распиловочном цехе, не заметил торчащего сука и распорол мышцы правой голени. Золушка вечером следующего после происшествия дня, несмотря на ругань пострадавшего, принялась менять повязку на его ноге. Лукин стянул накидку с ее склонившейся головы и поцеловал в темя:

– Я знаю, какое у тебя настоящее лицо, и эта маска меня не испугает.

– Ну, да, – сказала Золушка, – ведь Железный Дровосек никого и ничего не боялся, даже Страшила Мудрого с размытым лицом.

– Я из другой сказки. В ней были Дюймовочка, Кай, Снежная Королева и Оле-Лукойе.

– Милый Оле! Ты никогда не сможешь поцеловать меня в губы. Их нет! Они расплавились вместе с носом. Не надо из жалости записывать меня в твою сказку! Я буду возле тебя еще год, восемь месяцев и пять дней. Ни днем больше!

***Горящие угли не вернут мое лицо.***

## ТРИ РАССКАЗА

### В ТЕЛЬ-АВИВЕ

В Тель-Авиве надо ходить пешком. Только тогда ты почувствуешь его дремотную левантийскую сущность, отдающую сладостью помоек и затхлостью пыльных манекенов. Пусть дикие жёлтые кошки следят за тобой длинными презрительными глазами и солнце, растопляя желания, всё ощущимее грозит сверзиться тебе на голову. В таком городе надо жить на крыше, писать стихи и спускаться вниз, единственно чтобы искупаться в море да закупить наперёд продукты, обеспечив себя едой ещё на несколько жарких влажных дней. Вот на одной из таких крыш, в комнате с залихватской надписью на двери «Мушкетёрская», проживал и проживает высокий уже не молодой человек с длинными русыми волосами. Готовит себе салаты, сидит у компьютера, принимает гостей.

Сегодня у него крепенький лысоватый Алексей из Иерусалима и широкоплечий черноволосый Олег, каждую минуту палящий мятую папиросину «Беломор».

– В ней масел нет, – объясняет, – чистый табак. Но, мужики, такая полезная вещь. Задумано именно для работяг: только нагрузил тачку – погасла. Что ж, оста-новись, перекури. Отвёз тачку – погасла, опять перекур.

Звонок. Олег отвечает:

– ...отец Макарий, отец Дионисий... Да, договорено, да места...

Закончил.

– Туристический бизнес, мужики, – извиняется, – паломники... То пусто, то густо...

– Олег, ты уже выучил испанский?

– Читаю Борхеса. Встаю в пять утра, пока жена спит, и начинаю.

– Что-то мы заговорились, – замечает хозяин.

Разливает хитрый пузатый бренди. Подняли стаканчики, ещё раз подняли.

– Был недавно в Днепрпетровске, – Олег борется с «Беломором». Затянулся.

– Ночевал в коммуналке у тётки: часы тикают, на стене ковёр с лебедем, на этажерке подшивки «Нового мира», «Юности», через дверь – запах уборной. Где они, семидесятые? Ау?

– А у меня свой Днепрпетровск, – Алексей вольготно расположился: откинулся назад, вытянул ноги, – там, где я живу, за многоэтажками пустырь: высохшая трава, при ветре скрипящая будто железом, одинокая дорога, сожжённая автобусная обстановка. Репейника только нет да лопухов.

– А ты был в Днепрпетровске?

– Не-а.

– Ну, за Днепрпетровск! – предлагает хозяин.

Подняли, ещё раз подняли. Раз – и кончился бренди.

– Сколько ни растягивай...

Поднимается Олег, поднимается Михаил – хозяин.

– Пойду провожу, – говорит.

Гость из Иерусалима снимает с полки атлас, изучает: миллионы людей раскрашены разными красками. Положил обратно.

Стук в дверь. Входит серьёзный человек Виктор с женой Галей и его друг профессор Сидоров.

– Вот, – обижается с порога профессор, – в «Новостях недели» кто-то под псевдонимом Шломо Сидоров пишет разные глупости, а мне звонят и выясняют отношения.

– Где Михаил? – спрашивает Виктор.

– Пошёл Олега провожать.

– Да ну! Значит, он был?

– Конечно, был, вон бренди пустой.

– Жаль, давно не видел. Как он?

– В Рамат-Гане с Ирой.

Порывшись в портфеле, Виктор вытаскивает водку «Лобзик».

– Витя, а почему ваша водка так называется?

– Да лобзиком по желудку, – говорит профессор Сидоров.

– Это просто оригинальное, привлекательное коммерческое название.

Открывается дверь, заплетая ноги, входит совершенно пьяный Михаил, за ним, толкая его в спину, появляется маленькая нахмуренная девушка.

Иерусалимец ахает:

– Он же трезвый выходил!

– Вот, привела, – говорит девушка, – полчаса не мог открыть дверь на крышу.

– Она же не закрыта!

– Не мог!

Михаил делает два шага и падает в кровать. Девушка уходит. Изо всех сил борясь с опьянением, Михаил изрекает непонятное:

– Пирожки...

– Что – пирожки? – не понимает профессор Сидоров.

Но Михаил уже спит.

Смеркается. Рябит маленький телевизор, Виктор рассуждает о политике. Профессор кивает. Разливает «Лобзик», ещё разливает. Кончилось. Как-то неожиданно кончилось. В общем, сколько ни растягивай...

– Галя, поставь чайник! – командует Виктор.

Галя фыркает:

– Я в гостях.

Виктор горестно вздыхает и продолжает тему.

– Витька, помолчи.

– А что?

– Был у нас тоже один профессор, всё политикой интересовался. Даже с наушниками ходил, новости слушал...

Сидоров делает паузу.

– Ну и что?

– Умер. А политика осталась.

– Дурак ты, Сидоров. Алексей, как ты завтра?

– Не знаю. Подожду. Михаил проснётся – решим.

– Ладно, мы поехали.

Иерусалимец ещё посмотрел телевизор в полосах: блондинки – Россия, брюнетки – Израиль. Потрогал экран. Выключил. Вышел на крышу. На крыше девушка, приведшая Михаила, гуляет.

– Девушка, спасибо.

– Вместо того чтобы говорить спасибо, лучше бы проследили за ним. Если бы не я, он бы упал с крыши.

– Спасибо.

– Ему лечиться надо. Это запой, я знаю. У меня ещё в Дрездене были проблемы с братом.

– Вы из Германии?

– Да.

- И давно в Израиле?
- С девяносто четвёртого, а что?

Девушка нахмурена, резка, руки в карманах тоненького свитерка оттягивают вниз ткань и резко обозначают соски. У девушки, оказывается, полная грудь.

- Давайте чаю попьем?

– Не, не хочу. Пойду спать. Ему надо в общество анонимных алкоголиков записаться, – советует напоследок.

Закрывает за собой дверь.

Гость, нарушая правила, спускается по лестнице и уходит к морю. По дороге ночные клубы, пабы, гуляющие девчонки, парни. Ещё холодно, и на голые плечи девушек накинуты куртки. Дорогу заступает амбалистый.

- Эй, дядя? – подмигивает.

Алексей поднимает глаза:

- Пип-шоу «Капуста».

- Почему «Капуста»?

– А что, оригинальное коммерческое название. Детей в капусте находят, разве не знаешь? Ну, зайдёшь?

- Не хочу.

Обогнул препятствие – и мимо фонтана на набережную: огни, небоскребы. Напротив Оперы множество свечей – память о теракте.

А наутро Михаил рядом долго ходил, шмыгал носом, что-то делал. Гость проснулся, посмотрел:

- Миша?

- Да так. Будешь?

- Может, не надо?

– Да я по чуть-чуть. Между прочим, – проговорил с обидой, – вчера Семён, магазинщик, обвинил меня, что я ему пирожки рассыпал.

- А ты?

- А я обиделся.

- А кто рассыпал?

– Я случайно. Попытался ему заплатить, а он красный стал и говорит: «Иди, Миша...» Какое он имел право? Ну, будешь «Лобзика»?

- Тебе надо в общество анонимных алкоголиков.

- Это тебе надо. Так не будешь?

- Нет.

- Ладно, я допью... Кстати, салаты в холодильнике.

Допил «Лобзик», посмотрел на пустую бутылку, сказал грустно:

- В общем, сколько ни растягивай...

Отключился.

Гость походил по комнате, поднял с пола плотно исписанный листок. Стихи...

Душа сбегает в ночь. Ей глупо  
 Смотреть в компьютер, мять кровать,  
 Торчать в окне, впадая в ступор,  
 И с кошкой мелочно страдать...

Разжал пальцы, листок спланировал обратно на пол.

Звонок:

- Алексей, ты что?

- Да вот, Мишка опять напился.

- Жди, заберу.

Сели, нарушая правила, в машину, поехали в старый Яффо.

– Что машина? – рассуждает по дороге Виктор, – железо! Купил за три тысячи – и бегаёт. Хочешь, подскажу, где купить?

- Не надо!
- Как хочешь. Ага, не занято! Выходим. Галя, смотри, какая женщина! – обращается к жене. – Ты по сравнению с ней полный ноль!
- Ты тоже, – спокойно отвечает высокая тоненькая Галя в неожиданной белой панаме. – Кстати, тут есть хорошие рыбные рестораны.
- Виктор делает вид, что не слышит.
- Туалеты, – обрадовался, – подождите.
- Трое останавливаются. Галя говорит:
- Вы не находите, что он как-то странно понимает сказанное?
- Ждут. Смотрят на море, где в узкой бухточке скопились яхты.
- Интересно, как они отсюда выплывают? – задумчиво спрашивает Алексей.
- Вертолёт, – отвечает профессор Сидоров, неуместно смотрящийся среди гуляющих левантийцев в своём строгом костюме и светлой рубашке с галстуком.
- Ну и где же Виктор? – когда надоедает смотреть на яхты, волнуется иерусалимец.
- Он с собой ничего не взял? – интересуется Галя и почему-то смотрит на Сидорова.
- Да вроде Диккенс в машине остался, – неуверенно отвечает профессор.
- А то прошлый раз, – Галя поворачивается к Алексею, – взял с собой Библию. Я говорю, ты что, с ума сошёл? Так ведь его не переубедишь!
- Небось год сидел?
- Полчаса, – отвечает вместо Гали профессор Сидоров, – всего полчаса, но вышел в кипе.
- Появляется Виктор.
- Что расселись, пошли? Вот, Алексей, – обращается к гостю, – напиши, как мы ходили по Яффо!
- Как не пошли в рыбный ресторан! – добавляет злопамятная жена.
- Молчи, глупая! Напиши, как в ящиках лежали креветки и рыба, как резко пахло морем и араб в штормовке с опущенным на голову капюшоном приплясывал своими длинными молодыми ногами в джинсах около ящиков. Кричал: двадцать! пятнадцать! двадцать! только сегодня! только сейчас! Как стоял спинами ко всем нахохленные, насупленные рыбаки со своими длинными удочками, как играли в воде дельфины...
- Интересно, где ты видишь дельфинов? – интересуется Галя.
- Неважно, это художественное допущение! – отмахивается Виктор. – Как солнце то появлялось, то исчезало и сразу становилось холоднее, и люди никак не могли привыкнуть к этой меняющейся погоде, ходили кто в майках, кто в куртке. И вдруг небо заволкло и сыпнуло дождём, рассыпалась крупная тяжёлая капель, но быстро, походя, и опять появилось, как бы дразнясь, солнце, и рядом на прогулочном кораблике вдруг засвистел в большой свисток капитан в такой замечательной фуражке и закричал грозным голосом:
- Все по местам! Отдать швартовы!
- Под корабликом загудело. И сначала переваливаясь, а потом гордо выпрямившись и вывистнув пенную струю, кораблик поплыл прочь изо всей силы крича «Золотой Иерусалим!» громкоговорителем.
- И ещё расскажи... – продолжает Виктор.
- Как мы не пошли в рыбный ресторан! – упрямо добавляет Галя.
- А не пора ли нам «Лобзика»? – интересуется профессор. – Что-то мои профессорские мысли начинают разбегаться.
- Виктор сосредоточенно думает.
- А что, в принципе правильно, у нас дома и борщ к нему имеется.
- Борщ – это хорошо, – благосклонно кивает профессор Сидоров, – горячие закуски самые хорошие.

Но как ни растягивай...

Через несколько часов убегает назад дорога из Тель-Авива в Иерусалим, в маршрутке здоровенный негр, китайцы, два араба, румын, пять экономящих деньги филиппинок на одном сиденье и тёплый от «Лобзика» некий лысый. Начинает было дремать и вдруг раскрывает глаза: навстречу по бордюру, качаясь от ветра, идёт молодой религиозный еврей. Глаза в восторге, руки раскинул, белая рубашка вырвалась из брюк, пузырится, в руке шляпа. Идёт и не падает.

*Иерусалим, 2005*

## САНИТАР

Я не мог пройти мимо, чтобы не пожелать ей смерти. Но она уже не могла умереть. Вытянутая в струну, неподвижная, бессловесная, ещё такая молодая, она была обречена валяться здесь в вонючих простынях, и только еле теплившиеся глаза выдавали, что в этой разрушенной оболочке ещё есть душа.

История лежачей была предельно проста: её вытолкнули замуж за такого же, как она, ортодокса и, выполняя заветы, эта женщина начала без перерыва одного за другим приводить в мир детей. Пока... пока что-то не разладилось в её организме, и во время очередных родов она превратилась в напряжённый кусок дерева.

Муж, быстро оценив ситуацию, с разрешения раввинов женился на другой, а детям, чтобы не было лишних проблем, сказали, что мать умерла.

Единственный человек, приходивший к поверженной, раскинувшей на подушке с клеймом больницы чёрные, неувядающие косы, была маленькая скромная старушка с вечным узелком в руках. Но что старушка? – Поплачет и уходит. Поплачет и уходит.

Сейчас ночь. Но такая ночь не приносит облегчения, эта ночь, как лицо нездорового человека, и её разрывают перебои – кашель, вздохи и судорожные всхлипы сквозь сон.

Рядом со мной «везунчик» с красивыми, пышными усами. И чтобы скоротать время перед рассветом, он рассказывает поучительные сказки, как надо жить.

– Вялый ты, – говорит он мне даже не насмешливо, а участливо и сожалеюще, – ничего не умеешь, нет у тебя вкуса этого... Вот смотри, был у меня парень: умница, из профессорской семьи, отец знаком с Чазовым, после института сразу в исследовательский центр, оттуда в Швецию учиться, возвращается и делает кандидатскую, впереди докторская. А он: раз кульбит – и в совместное предприятие. А почему? Жить хочет. И не потом, а сейчас, немедленно. Понимаешь? – «Везунчик» потягивается и продолжает покровительственно. – Я вот тоже после института ничего не знал, но обращался с больными очень-очень внимательно. И да – имел парнасу.

Я слушаю его, опустив голову, я ведь, в принципе, согласен: что за бестолковость такая – быть нищим.

Но вот, слава имени Б-жьему, за окнами, наконец, бледнеет, и мы, зажигая резкий, почти обжигающий с утра свет, идём поднимать больных.

Сначала толстеного Хануха с болезнью Дауна, потом крошечную, дерущуюся спросонья старушку Малку, ещё тридцать молчащих стариков, барина Реувена без рук без ног в его отдельной палате и напоследок живой кошмар из фильмов ужасов – огромную безумную женщину, привязанную к кровати. Как пропасть, открывается её рот при виде человека, и ты окатываешься неостановимым жутким криком.

После подъёма кормление, и я кормлю толстого Хануха, а чтобы было веселее, рассказываю ему случай:

– Понимаешь, Ханох, – говорю, – вчера в квартале Ромема иду через детскую площадку, а там в песке возится мальчик лет пяти: бритая голова, пейсы, кипа на бритой голове. Вдруг он поднимает глаза и смотрит. А я на его папу ведь совершенно не похож... и без чёрного костюма, и без бороды, пейсов... И он спрашивает: «Скажи, ты гой? Гой, да?» – Я не знал, что ответить. Просто растерялся. Понимаешь, я ведь и сейчас не знаю, что ответить... А, может, ты знаешь?

Но Ханох не знает и сладко улыбается, глотая кашу.

– Ладно, неважно, – прощаю я его тугодумие, – главное, чтобы ты поел хорошо, – и от доброты душевной предлагаю, – я тебе ещё расскажу, у меня припасено... но, правда, только завтра, а то сегодня я устал.

Встаю, оставляя сытого Ханоха, и перехожу к недавно поступившей Лизе родом из России. Но когда подношу ложку к её рту, закрываясь ладошкой, она спрашивает шепотом:

– Скажите, мы случайно не в Германии?

– Нет.

С облегчением:

– А где?

– В Израиле

– В Израиле? Точно?

– Да.

– Ну ладно... – и когда я прекращаю давать еду, она всё ещё в недоумении поджимает губы.

Смена заканчивается, я переодеваюсь и с удовольствием выхожу в привычную жизнь. «Везунчик» быстро лезет в свою машину: он должен спать, а потом учиться, чтобы, вернув себе звание, опять брать взятки. А я после бессонной ночи бреду по проснувшейся земле, впитывая в себя утро.

Десять лет назад я работал чиновником в зоне для уголовников, и ко мне подошёл один, жёлтое лицо, бритый... Спрашивает:

– Ты еврей?

– Еврей.

– Я тоже. Ты не смотри, я не какой-нибудь, я не убийца, – и с гордостью, – я был директором универсама, всё через мои руки, так что сам понимаешь...

– Понимаю.

И тут его позвали:

– Жид, эй, жид, тебе говорят! Иди сюда быстро!

– Да иду, иду, – огрызнулся он, проводил понимающим взглядом и больше не подходил.

А теперь «везунчик» говорит мне, как надо жить...

Кроме «везунчика» я ещё имею честь работать с бывшим директором Невского рынка в Ленинграде. Я вообще жил в Ленинграде, но на Невском рынке не бывал, и он говорит мне теперь, что это очень интересное и приятное место. Вдвоём с женой они сняли в Иерусалиме и забили вещами на продажу пятикомнатную квартиру, плюс что-то ещё плывёт на пароходе, и он достаёт меня, не хочу ли я купить пианино? Я отбрыкиваюсь и злюсь.

– Ханох, – начинаю на следующий день, – в России, так получилось, я был проверяющим. Так вот, послали меня проверить стоматологическую поликлинику в районе. И там, в одном из кабинетов, вдруг вижу, что один из местных стоматологов, не меняя и не стерилизуя, одним и тем же грязным инструментарием лезет из одного рта в другой.

Сажусь писать акт, и тут меня просят выйти. – Выхожу... Стоит этот самый стоматолог и спрашивает: «Ты еврей?»

– Да.

– Собираешься в Израиль?



– Собираюсь.  
– И я тоже. Не пиши ничего. Эти гои всегда будут нас ненавидеть. А нам-то делить нечего...

– Скажи, – интересуюсь, – ты там, в Израиле, будешь работать опять стоматологом?

– Конечно...

– И что, собака, этой мерзостью, когда я приду на приём, ты ко мне в рот полезешь? Да я тебя тут закопаю... чтоб не доехал.

При этих словах Ханох резко дёргает головой и с него слетает кипа. Я поднимаю её и водружаю обратно: у Ханоха есть заботливый брат, который очень строго следит, чтобы милый Ханох всегда был в кипе.

Вы знаете, я ведь ничего не забыл и ни к чему не привык. Во мне очень много злости. Я за всеми записываю, не собираясь ничего прощать.

Шабат. Двойная оплата. Двойная оплата для меня, везунчика и бывшего директора, которым эмиграция списала всё. Они нашли общий язык и шлёпают карты об стол, когда есть перерывы. А ещё двойная оплата для одной медсестры, которая, чтобы включить-выключить свет<sup>1</sup>, с хитрым видом зовёт меня – что ж, я выключаю. Я тоже боюсь Б-га, но позволяю себе вольности, одновременно также позволяя себе ещё роскошь и не мучиться от этого.

Работая здесь санитаром, я усвоил два правила.

Первое: нет ничего грязного.

Второе: человек имеет право на старость. На любую старость. Даже на такую.

Со временем больные старики перестают говорить. Едят, спят, механически делают, что от них просишь, но не говорят. Отгораживаются от мира, который им больше не интересен. А если и вымолвят слово, то только на том языке, который подарила мать. Всё остальное уходит. Ухает в пропасть. И человек возвращается к началу голый.

...Малка потухает. Местное её прозвище – «Свадьба». Раньше, услышав это слово, задорная старушка начинала смеяться и танцевать. А когда один идиот однажды спросил её, подмигивая окружающим:

– Малка, выйдешь за меня замуж?

Та, как бы внезапно обретя снова разум, неожиданно ответила:

– Тебе только на моей бабушке жениться...

Но теперь Малка больше не танцует. Она сидит – вялая и безучастная... Дело в том, что она упала. Вроде ничего не случилось, ничего не сломала, но она потеряла жизненную силу – внутри поселился страх, и теперь этот страх ест её поедом, не давая ей даже ходить. Кровать Малки находится как раз напротив лежачей больной, в который раз вынужденной наблюдать чужую смерть.

Скоро Йом Кипур<sup>2</sup>... Двойная оплата. Время Б-жественной подписи под твоей судьбой. В эту звёздную, необычную ночь я подойду к лежачей с чёрными косами и лягу на неё – пусть вспомнит. Пусть загорятся её глаза, пусть даже и ненавистью – это будет питать её душу.

А утром – утром я уволюсь.

В период между Новым Годом и Йом Кипуром люди делают друг другу разные хорошесть. Нищим подадут, улыбаются при встречах, даже могут временно подождать с долгами.

Я глотаю это, как банан.

*Иерусалим, 1996*

<sup>1</sup> В шабат религиозному человеку нельзя пользоваться электроприборами.

<sup>2</sup> Судный день (*иврит*).

И ВЫПАЛ СНЕГ

Нет, ничего. Просто в мире всё время что-то происходит. Земля было укрылась холодным чистым покрывалом, но снег превратился в град, рассыпавший свою дробь по белым дорожкам, потом в дождь – немножко поплакали, и опять в снег, густо бросаемый ветром в лобовое стекло заблудившейся в дороге машины. Снегом занесло входы Яффских, Львиных и Дамасских ворот, улочки старого города, улочки нового города, беззлобное чудище Кирыт-Ювеля, дурацкую корову Армонха-Нацив, закрывшиеся монастыри Эйн-Керем. В изнеженной солнцем стране прекратили ходить поезда и автобусы, люди остались дома, и бульдозеры, мигая друг другу жёлтыми огнями, начали кропотливо расчищать дороги на завтра. И вот, в такое тяжёлое февральское время из аэропорта Бен-Гурион вышел на пронизывающий холод молодой-не молодой, старый-не старый, но в очках, и вытащил за собой чемодан с наклейками. Почти сразу он увидел маршрутку до родного Иерусалима, рядом – переминающийся тёмный силуэт человека, и обрадованно подошёл к ней. Забросил чемодан. Стоящий, с почти летящей по ветру сухой чёрно-седой бородой, заметил взгляд, и сказал раздражённо:

– Не холодно!

– О, десятый! – обрадовался появившийся шофёр и весело приказал бородатому. – Садись, душа моя, пора! – Также весело устроился на своём месте и доложил в шипяще-кряхтящий микрофон. – Моти, Моти, выезжаю.

– Давай, надо ещё к трёхчасовому успеть.

Шофёр хмыкнул и включил зажигание. Машина в своей внутренней наполненности тяжело тронулась, и за ней потянулась полоса чёрного, мокрого асфальта. Устроенный впереди бородатый достал из кармана маленькую гранёную бутылочку, свинтил маленькую пробочку, опрокинул в рот жидкий градусный янтарь.

– Мы с женой доедем до Маале Адумим? – спросил шофёра старый человек в плаще.

– Думаю, да.

– Вообще большое легкомыслие, – быстро проговорила дама справа, – брать людей в снег, ведь никакой ответственности: а если застрянем?

– Застрянем – пойдём пешком.

– Вы смеётесь!

– О чём они говорят? – высокий английский голос очень чужого, бережно кутающего шею в цветной шарфик.

– Израильский спор об ответственности, – ответила особа в кокетливой шапочке.

– Бьютифул.

– Знаете, я только что из Канады. Там столько снега.

– О'кей.

– И никто не пугается.

– О'кей.

– А у нас всё проблемы.

– О'кей.

Машина замедлила ход. На выходе из Бен-Гуриона резко освещён автоматчик – чёрное небо, белый снег, царапнул взглядом, поднял провожающе руку.

– Теперь, главное, не останавливаться, – объяснил шофёр. – Душа моя, – любопытствовал у соседа, – а что ты пьёшь?

– Коньяк.

– Поделись. В такую погоду-то...

– Маленькие кончились, – тихо ответил тот.

– Так дай из большой!

Бородач замялся, но вдруг, решительно встряхнувшись, открыл лежащий на коленях портфель и достал оттуда угольную литровую бутылку:

– Я лардж! Куда?

– Какое легкомыслие, – ужаснулась дама.

– Немножко не страшно, – успокоил шофёр и осторожно отнял наполовину наполненный пластиковый стаканчик, – хватит, хватит.

– Ещё кому? – спросил бородач, обратившись назад, и поднял бутылку. – Я могу. Видите, я не жадный.

Огни Бен-Гуриона ушли назад, и ночь затопила дорогу. Ни встречных машин, ни обгоняющих, только фары безостановочно освещают идущий безмолвный снег. Люди притихли, пригрелись, и тут проснулся Моти в шипящем передатчике:

– Ну, где вы?

– Едем!

– В Иерусалиме возьмёшь моего племянника, он в пабе застрял.

Осторожное продвижение по узкой расчищенной полосе, вращающиеся огни редких трудно работающих бульдозеров, их равномерные всполохи внезапно тревожно освещают жёлтым быстрым окружающее и мгновенно гаснут, оставаясь позади. Неожиданно застучал по стёклам град и опять сменился снегом, торжественно, как борода патриарха, закрывшим видимое пространство. Дворники заработали сильнее, и послышался их чуть слышный натужный скрип.

– Ой-йо-ой! – вздохнул шофёр.

– А где-то потепление, – сказал кто-то невпопад.

– Понимаете ведь что? – пробудился бородач. – Сверху если посмотреть, мы все, все шесть миллиардов, кажемся единым телом с одними и теми же не меняющимися качествами: корысть, эгоизм, жадность. Казалось бы, что стоит открыть бутылку, дать ближнему двадцать капель – так ведь скуписься, думаешь. Переделывать себя надо, трудиться.

– О чём он? – опять спросил англичанин.

– Рассуждает, – особа сняла шапочку и рассыпала русые, кудрявившиеся снизу волосы по плечам.

Снег идёт плотно, густо, и уже не видна дорожка асфальта, фары меланхолично вырывают из темноты и также не торопясь отпускают обратно то озябшее одинокое дерево, то брошенную на обочине заглохшую машину, то... чу! Мелькнула прыгучая тень. Заяц? Мгновенная вспышка, ещё одна – один из сидящих принялся фотографировать через голову шофёра снег и ночь.

– Что вы делаете! – воскликнула дама. – Вы же напугаете шофёра!

– Уже напугал, – сообщил шофёр.

Моти через свист и кряхтение заявил обиженно:

– Племяннику пришлось взять такси.

– Моти, иерусалимский коридор в снегу, я только заправку проехал.

– Ладно, подберёшь меня на Бецалель.

– Господа, – проговорил до того молчавший, – я думаю, правильно будет заплатить водителю сверх обычного.

– Очень верно! – откликнулся шофёр.

– Шекелей десять, не больше.

Въехали в Мавассерет Цион, выехали, и по длинному, как лассо, кругу стали медленно подниматься. Слева провал – туда, в заброшенные в глубине дома, сжимаясь, как масло, уходит днём ночевать ночь. Справа нависло над душой кладбище, сейчас обвалится краями. А после мигающего светофора уже не свернуть, не спрыгнуть, не остановиться: с закрывшимися под снегом глазами зданиями надменно вырастает Иерусалим.

– Кто хотел в гостиницу?

– Подъедьте ближе.

- Душа моя, я застряну. И со мной все люди.  
«Душа моя» недовольно прыгнул, открыл зачем-то зонтик и с чемоданом пошёл прочь, оставляя на нетронutom снегу чёткие следы.
- По воде аки посуху, – сказал очкарик с фотоаппаратом. Нацелился щёлкнуть, но не успел.
- Следующий!
- Подъедьте ближе.
- Не могу.
- И я должен платить? Вы обязаны...
- Бамц – снежок влипился в окно, бамц – ещё.
- Вам что, в два часа ночи делать нечего!? – закричал наружу шофёр. – Две нелепые фигуры маются, замахали руками. И сам себе ответил. – Видимо, нечего.
- От крика проснулся бородач:
- О, Иерусалим! Добрались.
- Запрыгнул внутрь кряжистый Моти:
- Наконец-то!
- Завозился, отряхиваясь, задышал в красные озябшие руки.
- Кирьят Моше, какая улица?
- Сюда, правее.
- Уважаемая...
- Уважаемая, туда проехать невозможно, – вмешался Моти, – это я говорю, водитель с тридцатилетним стажем!
- Что значит невозможно, когда мне надо?
- Шофёр посмотрел искоса, свернул правее, потом медленно ещё правее. Дама торжествующе слезла.
- Может, кто хочет коньяк? – грустно спросил бородач. Помолчал. – Вы знаете, души праведников для окончательного исправления должны спуститься в рыб.
- О чём он говорит? – опять спросил англичанин.
- Но девушка уже сошла, и ему не ответили.
- ...Так вот, вкушая рыбу, человек совершает богоугодное дело, освобождая эти души. – Вздохнул. – А я люблю рыбу с коньяком.
- И опять пошёл снег.

*Иерусалим, 2003*

# ПУШКИН РЯДОМ

*Путешествие питерского обывателя*

## Приближение первое

Поразительна способность Пушкина совершенно неожиданно оказываться рядом.

Причина тому может быть в том необычайном пространстве, которое он занимает в нашей жизни.

Иногда, к моей досаде, он оказывался рядом совершенно не вовремя.

В детстве случалось удариться или больно пораниться, очень хотелось, чтобы тебя пожалели. Страдание самый надежный вексель на сострадание. А сочувствие, сострадание это уже универсальный целебный эликсир. Мама обычно говорила, что на войне и не такое бывает. Война была делом актуальным. А отец умел рассмешить, что ему обычно удавалось без труда, и тут же поминался Пушкин: «...ему и больно и смешно...» Именно благодаря Пушкину вексель объявлялся опротестованным, и права на сострадание из-за этого самого Пушкина я лишился. От досады приходилось плач усилить, но после того как ты только что смеялся, твоя безмерная по себе скорбь именовалась *дурью* и к оплате не принималась. Становилось себя невыразимо жалко...

И все из-за того, что «ему и больно и смешно» уже было!..

Пушкин – это предварение нашей жизни.

Мы в нее только еще входим, а он нас там уже поджидает.

Зимой, когда утром не хочется спешить окунаться в холодный, остывший за ночь воздух неопленной комнаты, в согретой постели так хорошо... Низкое заполярное солнце уже по-весеннему бьет в окно, а за окном слюдяным блеском горит освеженный ночной вьюгой снег, и снова на стороне родителей оказывается непрошенный Пушкин с его «мороз и солнцем»...

Зато когда ему следовало бы появиться там, где его очень ждали, его не было!

Мама укладывает нас с братом спать. За окном вздрагивает под ударами полярной пурги светозащитный ставень.

В комнате темно. Маму едва видно. За окном свистит ветер.

Кажется, что мы вместе с домом куда-то летим. «Ма-ам, расскажи...»

«Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна...»

И это, оказывается, было. Но интересно. И жутко. «Ма-ам, еще...»

«Подруга дней моих суровых... одна в глуши лесов сосновых давно, давно ты ждешь меня...»

Арину Родионовну мы с братом в ту пору любили больше, чем Пушкина. Любили, потому что жалели. Она со своей любовью и преданностью Пушкину была такой понятной и желанной. Обе наши бабушки умерли в блокаду, и наша готовность любить их и быть любимыми искала себе приложения.

Душа загружалась горькими словами: «Глядишь в забытые ворота на черный отдаленный путь: тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасно грудь...»

«А она знала, что Пушкина убьют?»

«Нет, не знала. Она умерла раньше.»

«А где она похоронена? В деревне?»

«Нет, там же, где и ваша бабушка, на Смоленском...»

Зимой сорок пятого, когда мы ждали отца с Японской войны, которая именно для него никак не могла закончиться, как раз эти стихи, «Подруга дней моих суровых...», мама читала, быть может, как папину молитву, обращенную к ней, к нам с другого конца света. Но эта догадка когда-

то еще придет, а пока под «бури завыванье» я тихо злился на жестокосердного Пушкина, понятия не имеющего, что значит иметь любящую тебя бабушку...

### Три приближения к «Онегину»

Впрочем, в непоправимом жестокосердии Пушкина мне пришлось убедиться после первого прочтения романа в стихах «Евгений Онегин».

На протяжении всей поэмы меня убеждали, а я в это поверил буквально с первых слов, в том, что Онегин Евгений и Ларина Татьяна созданы друг для друга.

Истомленный, измученный бесконечными околичностями, отступлениями, спотыкаясь о бессмыслицы вроде: «В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом», продираясь сквозь все, что отдаляет неизбежное счастье, я ждал соединения посланных друг другу Богом любящих сердец. И на тебе — они никогда вместе не будут!

Хорошо, что в ту пору у меня была своя комнатка в мезонине просторного коттеджа, полагавшегося отцу по должности. Никто не видел моих невольных и неудержимых слез. Горе, настоящее горе... Я не верил, что дело непоправимо.

Нет, Пушкин, конечно, сочинитель, поэт, но Онегин и Татьяна стали для меня людьми такими близкими, что я вовсе не нуждался ни в каком Пушкине, чтобы думать о них и действительно желать им блага.

Было совершенно ясно, что то ли по легкомыслию, то ли по лени, то ли по отсутствию элементарной фантазии Пушкин не сумел довести дело до заслуженного и обязательного для таких хороших людей счастливого конца...

Итак. Сплошь и рядом женщины, чьи мужья не вернулись с войны, выходили вторично замуж. Дело обычное. Муж Татьяны генерал. Вон сколько при Бородино одних только генералов убито... Я готов был дать автору несколько рекомендаций, на выбор. Его дело, что предпочесть.

Значит так. Сражение. Красивая смерть. Похоронка. Один вариант. Или второй. Муж у Татьяны старый. Он значительно старше Татьяны. Отлично! Онегин отправляется путешествовать. Путешествует, пожалуй, даже несколько лет. Пусть дедушка тоже поживет. Потом Онегин возвращается и видит убитую горем овдовевшую Татьяну. Утешает ее и...

Пушкин, где ты? Все можно поправить!..

Но когда он нужен, его как раз рядом и нет.

Пройдет несколько лет, и в прочтенном заново «Онегине», к немалому моему удивлению, и Онегин, и Татьяна вызовут не больше чувств, чем найденные в детском ящике куклы, герои когда-то разыгранного спектакля. Открытие было невероятным, захватывающим. В романе есть только один герой и только одно действующее лицо — Пушкин! Весь роман, даже с застреливанием уснувшего за сочинением своей арии Ленского, со всеми бледными красками и власами Татьяны, для театрального эффекта озаренными «томным светом луны», Онегин, с его глупой и претенциозной шуткой о глупой луне и глупом небосклоне, все не шло ни в какое сравнение с удивительным героем-рассказчиком. А как было интересно следить за тем, как он ласкает одних своих героев, смеется над другими, сдержанно улыбается, рассказывая о Татьянином батюшке, и сыпет по полям романа чудесными стихами обо всем на свете. И главное, это был наш роман с Пушкиным! Он все время обращался ко мне, знал о моем присутствии...

Пришла пора, и я снова снял с полки «Онегина» в предвкушении нашего с автором общения.

И снова неожиданность.

Теперь в твоём сознании «Онегин» был неотделим от отечественной словесности, он читался, как говорится, в контексте... И тут-то открылась поразительная насыщенность, концентрированность текста. Памятные слова Белинского вдруг обернулись своей ясной глубиной — «энциклопедия русской жизни».

Энциклопедия — это универсальное, как бы для всех случаев жизни годящееся снаряжение...

А что такое «Горе от ума»? А «Ревизор»? А «Мертвые души»?

Оказывается, отечественная литература дает нам такие сочинения, знание которых, хотя бы одного из них! — глубокое, основательное знание, делает человека удивительно оснащенным перед лицом русской жизни.

Много ли назовешь жизненных ситуаций, спрашивал я себя, к которым не нашлось бы соответствующего места в «Ревизоре» или «Горе от ума», в «Мертвых душах» или «Онегине»?

Вот с этим, «третьим», энциклопедическим «Онегиным» так и живу, заглядывая в него по мере надобности.

### Приближение на электричке

При Пушкине я – читатель. Пушкина я читаю вовсе не для того, чтобы его объяснять. Читаю, потому что интересно.

А в личных отношениях считаю нас давними знакомыми. Какие к тому основания? Самые прямые. Я его знаю, как говорится, с молодых ногтей, это уж судьба и счастье едва ли не каждого русского человека.

Впрочем, и он, оказывается, меня знает, знает во всякую пору моей жизни, иногда получше меня самого, что и дает мне право считать его в кругу своих самых близких друзей и самых необходимых.

Последний раз мы с ним встретились недавно в электричке.

Конечно, у меня есть пять томов венгерского издания «Библиотеки великих писателей», способных украсить своими черными переплетами с золотым тиснением любой книжный шкаф. Случается и мне заглядывать в эти тома, не только ими любоваться. Но дома я читаю Пушкина чаще всего в родном уже, как член семьи, пухлом однотомнике 1937 года, под редакцией Б. В. Томашевского, где на подслеповатых страницах газетной бумаги «весь Пушкин». А вот вне дома я люблю читать Пушкина в копеечных изданиях, в книжечках, что в недавние времена выходили миллионными тиражами и стояли на полках в любом книжном магазине.

Итак, ехал я однажды в электричке.

В предвидении атаки неугомонных и несчастных коробейников с их надоедливой «Извините за очередное беспокойство...» полез в сумку в поисках отвлекающего чтения. Натолкнулся на «Евгения Онегина» в том самом миллионном издании. На внутренней стороне мягкой обложки увидел выписанные моей рукой номера каких-то страниц. Значит, эти страницы пришлось когда-то ко времени и настроению. «Ну что, брат Пушкин, напости о настроениях минувшего лета...» Что там, к примеру, на стр. 109 – 110?

...Врагов имеет в мире всяк,  
Но от друзей спаси нас, боже!  
Уж эти мне друзья, друзья!  
Об них недаром вспомнил я.  
А что? Да так. Я усыпляю  
Пустые, черные мечты;  
Я только в скобках замечаю,  
Что нет презренной клеветы,  
На чердаке вралем рожденной  
И светской чернью ободренной,  
Что нет нелепицы такой,  
Ни эпиграммы площадной,  
Которой бы ваш друг с улыбкой,  
В кругу порядочных людей,  
Не повторил стократ ошибкой;  
А впрочем, он за вас горой:  
Он вас так любит... как родной!

Интересно, как велико число людей, коим эти строчки и утешительны и необходимы?..

«Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция – платформа «Боровая».

Поехали!

Как интересно знать больше Пушкина!

О чем?

Да хоть о «Евгении Онегине».

Перед нами роман законченный, не раз прочитанный, прокомментированный едва ли не построчно.

А что знал он, пускаясь в этот самый главный, по собственному признанию, и самый долгий труд своей жизни?

Он даже не знал, кому он его посвятит.

Первое издание 1-й главы вышло с посвящением брату, Льву Сергеевичу, в начале 1825 года. Первому изданию четвертой и пятой глав будет предшествовать стихотворное обращение к другу, Петру Александровичу Плетневу. А вся книга с посвящением впереди Плетневу выйдет лишь вторым изданием в 1837 году.

Писал в начале работы «о печати и думать нечего», а печатал даже до завершения всей работы, по частям.

Первой публикации 1-й главы предшествует обращение к читателю, автор рекомендует себя в качестве «сатирического писателя». Да, Пушкин был уверен, что пишет вещь сатирическую, отсюда и безнадежный кивок в сторону цензуры и признания в письмах: «Я на досуге пишу новую поэму Евгения Онегина, где захлебываюсь желчью».

«Онегин» – желчная сатира?

Нет, дорогой Александр Сергеевич, вашему великолепному роману суждена иная жанровая прописка. И нам не кажутся желчными ваши суждения о нас, сегодняшних, потому...

...что слишком часто разговоры  
Принять мы рады за дела,  
Что глупость ветрена и зла,  
Что важным людям важны вздоры,  
И что посредственность одна  
Нам по плечу и не странна?

Мы изменились совсем мало.

«Мы любим Муз чужих игрушки, Чужих наречий погремушки...»

Не новым цветом расцветает столица и через два с половиной столетия:

«Тут был, однако, цвет столицы, И знать, и моды образцы, Везде встречаемые лица, Необходимые глупцы...» Жив и Проласов, хотя носит, наверное, фамилию жены: «Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души...», «Всяк суетится, лжет за двух, И всюду меркантильный дух». И нарисованный вами портрет современного человека «С его безнравственной душой, Себялюбивый и сухой» по-прежнему современен.

Далеко умел видеть Пушкин, нас видел, видел такими, какими нам самим не очень-то хотелось бы рекомендоваться перед предками.

Всякий раз приступаю к чтению «Онегина» с предощущением неожиданности.

Словом, и нынче, в электричке, я втайне надеялся и ждал: что-то на этот раз поднесет мне неисчерпаемый в своих фантазиях автор.

И ожидания оправдались.

Надо бы сказать, что полтора часа пронеслись, как ... но они не пронеслись, а стали началом длительного и совершенно нового (для меня) ощущения знакомого во множестве подробностей романа. Я не переставал удивляться собственной слепоте, почему я этого не видел раньше?!..

Ответ прост. Не видел этого, потому что видел другое. Стало быть, и это и другое в романе заключено, но разом такому читателю, как я, не открывается.

Что же такого нового открылось мне в этом, уж не знаю каком по счету, прочтении любимейшего из поэтических созданий на русском языке?

О чем этот роман? – спросил я себя. И, дочитав, ответил – о Жизни и Смерти.

Возникшее по ходу чтения предчувствие этого несколько неожиданного и для себя самого вывода казалось выдуманным, но финальные строки уже не оставили сомнений. Конец венчает дело.

Вы помните, как заканчивается роман?

Странно, однако, он заканчивается. Утром, совершенно в неурочный час, «чуть свет я на ногах, и я у ваших ног», Евгений оказывается в будуаре Татьяны. Мыслимое ли дело – гость в такое время и в таком месте. Происходит решительное объяснение и... входит муж! Позвольте. Самое интересное в анекдоте как раз и начинается после того, как «входит муж». А разве в самом романе поводом к трагическому поединку между друзьями, между Онегиным и Ленским, не послужил эпизод куда менее серьезный? Вполне извинительное на балу кокетство, легкий флирт, все не всерьез, почти в шутку, и кровавая развязка. А здесь, шутка ли, застать приятеля в будуаре своей жены в неурочный час, жену в слезах... И что же?

А ничего! Конец истории, баста.



И здесь героя моего,  
В минуту, злую для него,  
Читатель, мы теперь оставим,  
Надолго... навсегда. За ним  
Довольно мы путем одним  
Бродили по свету. Поздравим  
Друг друга с берегом. Ура!  
Давно б ( не правда ли?) пора!

Оборвать историю, как сказал бы простодушный читатель, на самом интересном месте? Да кто же это из романистов бросал своего героя «в минуту, злую для него»?

Стало быть, для автора совсем не важно, что произойдет с этим Онегиным, князем, приходившимся ему «родней и другом», и княгиней, «бедной Таней», снискавшей и авторскую, и нашу любовь?

А что же важно, какого берега достигли автор и читатель, с каким прибытием, куда, поздравляет нас автор?

Мы помним его доверительное: «Куда ж нам плыть?» Вот и отправляясь в семилетнее плавание с «Онегиным», автор «неясно различал» дальний берег. Вот где подтверждение и в романе особого жанра – «свободного романа». Так совершаются плаванья в неведомое, без заранее вычерченного маршрута и ясно намеченной конечной точки. Предпоследняя строфа романа как раз и заканчивается этим признаем: «...И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал».

Таким образом, позволительно предположить, что и для самого автора окончание путешествия почти столь же неожиданно, как и для читателя. И мы получим тому подтверждение. Но прежде вспомним рассуждение, под сказанное Лермонтовым, ставшее как бы общим местом, о том, что в гибели Ленского Пушкин предсказал и свою смерть на дуэли.

Нет, если уж говорить о смерти Пушкина, о том, как он ВДРУГ, не отодвигая повседневных дел, отправился стреляться, то комментарием к этому могут служить как раз заключительные строки романа, обозначившие тот «берег», на который наконец-то прибыли автор и читатель:

Блажен, кто праздник жизни рано  
Оставил, не допив до дна  
Бокала полного вина,  
Кто не дочел Ее романа  
И вдруг умел расстаться с ним,  
Как я с Онегиным моим.

Точка. На взлете «не допив до дна...»

«Блажен, кто праздник жизни рано оставил...» Почему блажен? Чем же плох этот праздник жизни?

«И вдруг умел расстаться с ним...» Он так и расстанется, но уже не с Онегиным, а с жизнью – вдруг!

Не в этих ли строках он узнал – зачем он писал этот роман, узнал, утешил свое любопытство и отложил перо.

А если это так...

Мне показалось, что я близок к ответу на вопрос, почему глава девятая, «Путешествие Онегина», не могла быть включена в основной текст романа. Мне казалось, что я близок к ответу и на вопрос, почему доставшаяся нам в крошечных фрагментах, сожженная «Десятая глава», обещавшая политическую панораму мятежной России пушкинской поры, также исключена из романа...

Может быть, не одна, а обе главы не могли претендовать на место в романе, говоря словами автора, «по причинам, важным для него, а не для публики».

Что же это за причина?

Читая роман, я привык откликаться на обращение автора ко мне. И в оболщении этой близости, предложенной автором, совершенно не заметил, что в романе есть еще один как бы сюжет, диалог автора с самим собой. И тему этого диалога, как важнейшего, и сам автор нашел не сразу, она родилась скорее всего из поразительного доверия своему чувству.

Впрочем, с чего начинается роман? Вернее, как он возникал?

Он возникал в поразительном ощущении ссыльным поэтом... свободы! И в ощущении необычайной творческой силы, способной охватить все обозримые пространства и людское многообразие.

Вот первые свидетельства о работе над романом: «на досуге», «спустя рукава», «с упоением»...

Что значит «досуг», «спустя рукава»? Нет, не кое-как, а без понуждения, легко, для себя, отсюда сразу же — «о печати и думать нельзя...»

Откуда такое убеждение? Что за крамолу задумал поэт? Что бесцензурного в фонтанирующих избытком жизни первых главах?

Откуда эти опасения, как выяснилось, напрасные?

Скорее всего само чувство безоглядной свободы, охватившее поэта, легкость и предписанная себе безоглядность уже сами по себе были «нецензурными», да еще сатирический азарт вольного человека...

Воля на этот раз нужна была, быть может, не для сведения счетов «с гнетом власти роковой» и с самовластительными злодеями, она нужна художнику, поэту для прямого обращения к жизни во всей ее полноте, обращения без оглядки на всякого рода «посредников».

Заметим, что новый герой, Онегин, так близок, так временами схож, особенно в первых главах, с самим автором, что ему пришлось, ощущая это сходство, объясниться с публикой и обозначить свои отношения с добрым своим приятелем в миру.

Легкость, с которой началась работа, а исследователи рукописей и черновиков подтверждают это сравнительно малым количеством вариантов и исправлений, не обещала, однако, скорого завершения работы.

Мы же помним, как, что называется, в один присест были созданы такие шедевры, как «Медный всадник», или «Полтава».

Но в «Полтаве» и «Медном всаднике» организующую роль играет сюжет: Мария — Мазепа — Война, Евгений — Петр Первый — катастрофическое наводнение. Сюжет «Онегина» не был оснащен путеводной завершающей точкой, он не «история», в том числе и почти брошенных (уже за ненужностью?) Татьяны и Онегина.

...Вдруг в этом дорожном чтении для меня сомкнулись своеобразной рифмой начало и конец романа.

Роман начинается со смерти, легкой и для читателя, и для героев. К неведомому нам и не очень важному дяде летит в пыли на почтовых Онегин, рекомендованный с первых же строк молодым повесой.

...Жизнь и смерть будут встречаться на протяжении всего романа, и вот последние строки: «Блажен, кто праздник жизни рано...»

Так вот о чем вел с собой разговор автор на протяжении восьми глав, забавляя меня, простодушного читателя, великолепным живописанием всей полноты существования частного человека...

Важный разговор о Жизни и Смерти вдруг, быть может, неожиданно и для автора, разрешается освобождением от его гнета, преодолением трагической безысходности.

Может быть, потому и не мог быть дописан роман, пусть и с перерывами, но разом, что ответ на главный вопрос, занимавший душу и мысль автора, что же такое Жизнь и что значит «гроба тайны роковые», не мог родиться в кабинетных размышлениях, он должен быть нажит, стать итогом прожитой жизни. Семь лет Пушкин шел к удовлетворившему его ответу, и семь лет предстояло прожить еще... Снова рифма...

А мне, чтобы догадаться, быть может, о главном вопросе, занимавшем автора семь лет, понадобилась прожитая жизнь плюс еще полтора часа в электричке.

## **Во втором приближении**

Приехавший в Ленинград Василий Шукшин сказал: «У вас здесь по улицам ходить страшно, вдруг на след Пушкина наступишь».

Я позавидовал гостю и запомнил его слова.

Дано ли мне, городскому обывателю, почувствовать с такой же остротой Пушкиноград? Дано ли мне почувствовать страх мудрого и любящего человека, вступающего в пространство Пушкина: не наступить на след, не вытоптать...

Все дело в том, что на памяти питерского обывателя только Дом-музей на Мойке реставрировался, ремонтировался и перестраивался немереное число раз. Могла ли мама бояться наступить

на след Пушкина, если она бежала мимо дома Клокачева на Фонтанке, опаздывая на уроки в свою Коломенскую гимназию? А дядя, именно мой дядя, жил в Фонарном переулке в доме, вернее, в квартире Нестора Кукольника. А мужа маминной сестры арестовали в доме у Кашина моста, на проспекте Римского-Корсакова, где на «субботах» у Жуковского сходились «литераторы всех расколов и всех наций», где впервые прозвучали главы «Руслана и Людмилы» вчерашнего лицеиста...

Приятель Рудик жил на третьем этаже в доме Баташова на Кутузовской набережной, в тех самых стенах, куда семья Пушкина переехала из квартиры в бельэтаже. А в дом на набережной Пушкин переехал из дома Оливье на Пантелеймоновской, где квартиру сняла Наталья Николаевна, пока муж искал следы злодея Пугачева в оренбургских степях... Так именно в этом доме жила Наташа К., однокурсница из нашего института, расположенного неподалеку, на Моховой, почти напротив дома Мижуева, где Карамзин так и не закончил двенадцатый том своей «Истории»...

Для приезжего встреча с пушкинским Петербургом – праздник, для обывателя – повседневность, впрочем, порождающая свои особые сюжеты, как бы продолжающие жизнь Пушкина в этом городе.

...Место, где ты появился на свет, обладает притягательной силой, хочется его не только знать, но и сознать его логичность и несомненность.

Знаменитая акушерская клиника, впоследствии институт им. профессора Отта, расположилась едва ли не в красивейшем месте города, она стоит на Стрелке Васильевского острова, сразу за Фондовой биржей, напоминающей храм Посейдона.

На фронтоне храма владыка морей и океанов в окружении водоплавающей свиты воздетым трезубцем благословляет смельчаков, отправляющихся по Неве в его владения или благополучно из морских странствий возвращающихся. Для проводов устроен великолепный нисходящий пандус, для встречи установлены огромные ростральные колонны, огнем масляных маяков, в вознесенных огромных чашах, приглашающие причалить и взойти на площадь... Пушкина.

Грех сказать, но с моего несогласия с тем, что Стрелка Васильевского острова, украшенного Военно-морским музеем, величественными фигурами у подножья ростральных колонн, символизирующими великие русские реки, колонн, возвещающих победы над поверженными кораблями, названа именем Пушкина, и началось осознание пушкинского – тогда ещё, разумеется, Ленинграда.

Вернувшись домой после эвакуации лишь в сорок седьмом году, я увидел Васильевский остров хранящим на граните Университетской набережной черной краской исполненные надписи: «Отстоим родной Ленинград!», «Смерть немецко-фашистским захватчикам!» Я знал, что вернулся домой, где все необходимо и объяснимо, как надпись на соседнем доме на 6-й линии: «Хожжение с факелами и горящим тряпьем по лестницам, чердакам и подвалам запрещено». Здесь все было понятно без пояснений. Все остальное могла объяснить мама. Что такое Кунсткамера? Что такое Фондовая биржа? Что такое Кадетский корпус? Почему орел венчает обелиск «Румянцева победам»? Почему орден Кутузова, сдавшего Москву, есть, а ордена Румянцева, врагов и близко к России не подпускавшего, нет? И почему Дворцовый мост называется Республиканским? Мама не могла только объяснить, почему самое морское место в Ленинграде, площадь перед Военно-морским музеем, называется Пушкинской, и почему никто Стрелку Васильевского острова Пушкинской площадью не зовёт – впрочем, как и Дворцовый мост Республиканским.

Нет, «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет...» маловато для того, чтобы площадь с колоннами, украшенными носами поверженных вражеских кораблей, называлась твоим именем.

Я уже привыкал к тому, что Пушкин в моем городе живет естественно и по праву. Он не нуждался в увековечении с какими-то чрезмерными или малопонятными усилиями.

Я же этот город получал из рук Пушкина.

С адмиралтейского шпиля еще не смыта камуфляжная краска, а я уже знал, что это и есть «светла Адмиралтейская игла». И, проезжая на трамвае № 4 с Васильевского на Невский по краю Дворцовой площади, которую тоже никто не хотел называть именем знаменитого чекиста Моисея Урицкого, я знал, что слава Пушкина повыше ангела на Александровской колонне. А то, что Пушкин в «Памятнике» имел в виду Александрыйский маяк, не знал, разделяя, впрочем, заблуждение многих ленинградцев.

И театр напротив гастронома, источавшего фантастические запахи недосыгаемой еды и молотого кофе, был Пушкинским, и не мог быть никаким другим.

«Мама, а колесницей вон там, наверху, правит Пушкин?»

«Нет, это Аполлон, бог, покровитель искусства».

И вопрос к родителям, как называлась река до дуэли Пушкина, был совершенно естественным. Разумеется, если бы речка до дуэли не называлась Черной, ее следовало бы переименовать.

Пушкин, именно он помог ощутить странное двуличие города, в котором живу, да и самой жизни.

Тогда я не мог бы свои чувства назвать с сегодняшней определенностью, но Пушкин позволил почувствовать, увидеть, ощутить в жизни фальшь, нарочитость, притворство, дурное лицедейство, потому что сам он был мерой правды и естественности.

Чем дольше живешь, тем больше и больше начинаешь ценить его неподдельность, верный признак его душевной ясности, здоровья и абсолютной внутренней свободы. Иногда кажется, что он был свободен за всех нас... Мы примирились с несвободой, но рядом был Пушкин, и мы знали, что врем сами себе. Нам казалось, мы уверяли себя в том, что без разумного притворства не проживешь, но рядом был Пушкин, не позволявший нам забывать о нашем притворстве. Вот и сегодня, когда нашу совесть пытаются усыпить, подкупить, когда новоявленные Пилаты, пряча хитрость под глубокомыслие, вопрошают: «Что есть справедливость?!» – Пушкин рядом, как наша встревоженная совесть, живущая неистребимой жаждою справедливости, и на земле, и выше...

Для нас, получивших свой город из его рук, и слово его, и имя обращаются особым образом.

Авторитет имени, обаяние стихов, входивших не только в твоё сознание, но, кажется, и в плоть, не позволяли сомневаться в истинности сообщаемых поэтом сведений.

Поэтический образ принимался за реальность.

Нам не приходит в голову упрекать Лермонтова в неточности, когда он пишет о смертельно раненном поэте «с свинцом в груди», хотя роковая пуля как раз грудь-то и не тронула.

А вот к пушкинскому слову – «На берегу пустынных волн...» я, так же, как и многие горожане, относился с несомненным доверием.

Пройдет немало времени, прежде чем не без удивления узнаешь, что устье Невы было заселено и освоено за сотни лет до появления на его берегах Петра Первого.

Только один рукавчик Невы, впоследствии поименованный Фонтанкой, к примеру, по берегам своим имел деревни Враловщина, Кандуя, Усадица, а в устье еще безымянного ерика с незапамятных времен гнездилась деревня Калина, именовавшаяся на старинных картах то Кальюла, то Каллина.

Здесь, у Калинкина моста, Пушкин проживет долгих три года, от окончания Лицея до ссылки. Знал ли он вековую историю этих мест? Наверное, есть селения, имеющие столь неприглядный вид, что на присутствие в истории им как бы претендовать не приходится. Действительно, не хочется мириться с мыслью о том, что за сотни лет десятки поколений не сумели придать месту своего обитания вид, радующий глаз.

Иное дело память земли.

Она хранит следы средневековых торговых путей «из варяг в греки», подтверждая богатство путешественников нет-нет да и открываемыми кладами. А под Сестрорецком и Красным Селом и вовсе нашли следы стоянок первобытного человека...

Жаль, конечно, что Петр стоял «на низких топких берегах» – совсем рядом были места и повыше и посуше, и не такие, к стати сказать, дикие, где испокон веку селились нормальные люди.

...Так приходило понимание разницы между правдой художественного образа и фактической достоверностью – вещей, не всегда совпадающих.

Вот и еще одна ступенька, и весьма значительная, в понимании искусства.

### Лукавые приближения

Казалось бы, знание или незнание обывателем истории своего города практического значения не имеет.

Что важнее, в конечном счете, знание Пушкина или краеведческая осведомленность?

Но здесь нет никакого «конечного счета», как нет и весов, на которых можно взвесить справочник и поэму. Важны оба знания.

Но вот сравнительно недавно, с прямой для себя практической выгодой, лукавые борцы с сооружениями защиты города от наводнений предложили обывателям выбор: с кем вы?! с великим русским поэтом Пушкиным или с несомненными погубителями рек, морей и городов?!

Пушкин был предъявлен как высший авторитет в... гидрологии.

Может быть, когда-нибудь разыгравшийся на нашей памяти сюжет займет свое место в комментариях к «Медному всаднику».

Вопрос о защите города от наводнений родился вместе с городом, в год его основания стихия нанесла немалый урон первостроителям.

Безумцев, предлагавших в наводнениях видеть лишь романтическую краску в портрете города (а водятся и такие!) осталось не так уж много.

7 ноября 1824 года на город обрушилось катастрофическое наводнение.

После ужасающего наводнения 1777 года действовал указ, запрещавший предавать гласности последствия наводнений. Указ-то указом, но и скрыть беду невозможно.

А сосланному в Михайловское Пушкину известие пришло, как говорится, «под настроение». Он пишет брату: «Я очень рад этому потогу, потому что зол. У вас будет голод, слышишь ли?» Но узнав подробности, Пушкин становится предельно серьезен. Известие о розданном в помощь пострадавшим миллионе рублей из казны малоутешительно: «Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино? об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот потоп с ума нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. И прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного». Здесь же и урок социальной этики, напроць в нынешние времена забытый: «Закрытие театра и запрещение балов – мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью».

Ужасающее наводнение 1824 года послужило Пушкину побудительным мотивом печального рассказа о каменном городе, медном всаднике и сведенном с ума, а потом и вовсе раздавленном живом человеке.

Мотив, так сказать, двойного убийства: сначала свести с ума, лишит человека способности адекватно оценивать реальность, а потом умертвить – знаменательный и повторяющийся у Пушкина.

В описании наводнения Пушкин следовал достаточно точно бытовавшим в то время представлениям.

Ужасный день!  
Нева всю ночь  
Рвалася к морю против бури,  
Не одолев их буйной дури...  
И спорить стало ей невмочь...  
...Но силой ветров от залива  
Перегражденная Нева  
Обратно шла, гневна, бурлива,  
И затопляла острова...

Так же, как мы не в праве ждать от Лермонтова рассказа о раздроблении дантесовой пулей крестцовой кости, так же и у Пушкина не следует искать гидрологических и метеорологических достоверностей в объяснении наводнения, тем более опережающих знания его времени. Достаточно того, что картина эта в «Медном всаднике» принадлежит лучшим страницам отечественной поэзии.

Природу наводнений разгадать было не так просто.

Главным действующим лицом оказалась вовсе не Нева, а так называемая «нагонная волна», гигантская водяная подушка, поднятая циклоном в море и грозящая на мелководье серьезными бедами. Нева же, то есть невольский сток, составляет в этой чудовищной массе воды лишь скромную часть. Стало быть, защищать город надо не от Невы, а от моря. Большая, как поэт говорил, разлива.

После многолетних изысканий, экспертиз, сравнения различных вариантов проект защиты города от наводнений был принят и началось строительство.

Противников у этой стройки было в пропорциональном исчислении не больше, я думаю, чем у строителей первой в России железной дороги из Петербурга в Павловск в пушкинские времена. Это тоже было великим испытанием для самоуверенного обывателя. Не грех напомнить, что дорога эта, как и защитные сооружения (для удобства понимания «тети Маши» окрещенные «дамбой»), должна была принести, по уверениям «знающих людей», неисчислимы бедствия и

потери: гибель людей и стад под железными колесами очевидна, выгоревшие вокруг железной дороги деревни, леса, пажити, города также легко представить, а изувеченная земля, по которой уже никто не пройдет и не проедет, а бездна денег, выброшенных на прихоть злодеев... и прочие, столь же несомненные, доводы.

Обыватель и через полтора года остался обывателем, а «знающие люди» так же убежденно и достоверно могли судить обо всем на свете.

Итак, под глухой ропот и скрип скептических перьев стройка шла полным ходом, что давало реальные основания получить к 1990 году надежную защиту от наводнений (угрожающих, в первую очередь, историческому центру города) и окружную дорогу для разгрузки города от постоянно возрастающего потока транзитного транспорта, и все это ценой... ну, для сравнения скажем — ценой одной большой подводной лодки. Строились же эти лодки в ту пору у нас в стране десятками.

И вдруг! всплеск скептических голосов обернулся «волной народного гнева», волной, которая должна была смыть сооружения, угрожающие, оказывается, городу больше, чем любые наводнения.

И надо же так случиться, что волна эта поднялась именно тогда, когда горожанам предстояло сделать выбор, кто займет место городского головы, по-модному названного «мэром», профессор ли советского права из Ленинградского университета или начальник Управления строительством сооружений защиты Ленинграда от наводнений.

Любой ценой «сокрушить» сооружения защиты — и победа на выборах обеспечена.

Мог ли предположить Пушкин, что его совершенно извинительное заблуждение относительно природы наводнения будет использовано в политической интриге как средство доказательства преимуществ одного кандидата перед другим?

Разве могут какие-то схемы, диаграммы и расчеты сравниться со звенящей и брызжащей пеной строкой: «...но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла...» Никуда она обратно не шла, но острова-то в воду погружались!

Можно было бы и порадоваться «победе Пушкина» в споре о том, правильно или неправильно собираются защищать город от стихий, если бы борцами с «неправильной дамбой» двигала любовь к Пушкину, та любовь, что заставляет говорить: «Если с одной стороны будет истина, а с другой Христос, я буду с Христом!»

Нет, победивший на выборах профессор советского права поставил Пушкина на полку, «Медного всадника» больше не поминал и после несложных маневров «для соблюдения лица» вдруг стал понимать то, чего никак не мог понять во время избирательной кампании. Из уст сокрушителя «дамбы» мы услышали о том, что защитные сооружения нужны, что стройку надо продолжать и завершать... Но к этому времени страны, способной защитить не только Ленинград, но и себя от враждебных стихий, уже не было.

Сюжет повторился: сначала победа «стихий» над разумом, а в перспективе и над жизнью, ничем не защищенной.

## Внеплановое приближение

Волею обстоятельств став литератором, я писал эти заметки на литфондовской даче в Комарове под Питером.

Знакомый профессор одного из питерских университетов, взращенных усилиями энтузиастов в недавние времена, не застав моего соседа дома, заглянул ко мне. Как и полагается, при виде разложенных на столе бумаг был высказан интерес к предмету моих занятий.

Стоило мне сказать, что я пишу о Пушкине, как на лице профессора произвольно явилась горькая улыбка, в ней был и испуг, и недоумение, и сострадание, будто я сообщил о том, что отправляюсь завтра на Эверест, чтобы забраться на него и броситься головой вниз.

Писать о Пушкине?! Без лицензии от надзирающих и опекающих русскую литературу?

Это ли не дерзость? Не глупость ли это, наконец?

В свое оправдание я сказал, что к литературно-анатомическому столу, где кормятся знатоки своего дела, я не пробиваюсь, а просто как житель, как обыватель, как вроде бы земляк знаменитого человека хочу поделиться своими впечатлениями, каково жить с ним рядом.

К моему счастью, название журнала, для которого я писал эти заметки, профессору было неизвестным, и, как мне показалось, ревность сменилась умиротворением. Я почувствовал, что могу рассчитывать если не на прощение, то на снисхождение.

Так и вышло.

Именно из снисхождения мне дали понять, как непросты пути к Пушкину, и сколько мне еще предстоит пройти, прежде чем я смогу приблизиться к тем вершинам понимания пушкинского творчества, на которые с помощью профессора уже взойшли наиболее одаренные студенты, аспиранты и магистранты.

В расчете на мою сообразительность мне был устно преподнесен конспект семинара по повести Ивана Петровича Белкина «Станционный смотритель».

Ключ для понимания смысла, сути и глубины содержания повести после углубленного изучения текста профессором в содружестве со студентами, аспирантами и магистрантами был найден в картинках, развешенных на стенах в жилище С. Вырина. Картинки эти иллюстрируют притчу о блудном сыне. Параллельность сюжетов, «в соответствии с замыслом автора», буквально подтверждается словами Самсона Вырина: «...приведу я домой заблудшую овечку мою». Дальше следовало объяснение «параллельности» ситуаций, изображенных на картинках и случившихся с Дуняшей Выриной.

Больше всего меня удивила не простенькая для студентов и магистрантов трактовка чудной повести, а регулярное упоминание «авторского замысла». «Замысел автора очевиден...», «Как и следует из авторского замысла...»

Вступать в спор с душеприказчиками нехорошо, невежливо, да и бессмысленно.

Однако получалось, что Пушкин написал повесть для того, чтобы проиллюстрировать полупародийные иллюстрации к хрестоматийной притче.

Почему полупародийные? Да потому, что евангельские персонажи изображены на картинках в камзолах и треуголках, а новозаветный текст под картинками заменен новонемецкими стихами. Так что речь идет не совсем о притче, о блудном сыне, а о переводе, переложении для понимания немецкого обывателя. В треуголках и камзолах ему герои и ближе и понятней, и евангельский текст не так хорош, как немецкие стихи.

Не вдумываясь в весомость доказательств, не хотелось верить в академическое по форме и школярское по сути прочтение повести.

Долгожданный сосед пришел как раз к концу показательного урока.

Проводив профессора, я немедленно вступил с ним в заочный диалог, вернее монолог... Для видимости разговора задавая себе вопросы.

Вопрос первый. Можно ли говорить о повестях Белкина, не сказав себе, для чего Пушкину понадобилась маска простодушного, недалекого, кроткого и честного малого Ивана Петровича Белкина, человека до такой степени никому не известного, что о нем не слышала даже его ближайшая родственница Марья Алексеевна Трафилина?

Представляя сочинителя, Пушкин начинает с шутки, да и эпиграф из «Недоросля», реплики г-жи Простаковой и Скотинина, подсказывают условия игры.

Замечательно и то, что сам-то Иван Петрович Белкин рассказывал слышанное от других, помячая рядом с названиями «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель» инициалы и звание каких-то «реальных» рассказчиков: подполковника И. Л. П., девицы К. И. Т., титулярного советника А. Г. Н.

Так что, приподняв маску Ивана Петровича, обнаружишь лишь физиономию девицы или подполковника.

Вопрос второй. Что такое маска?

Если это не злоумышленное притворство, то игра.

Вопрос третий. Что общего между «Выстрелом», «Метелью» и «Станционным смотрителем»?

Это три рассказа об игре судьбы.

На наших глазах подбрасывается пятак на счастье...

Угадай: орел?! решка?!

И не орел, и не решка. Во всех трех сюжетах третий ответ: пятак становится на ребро и в этом положении окончательно замирает.

Еще вопрос. Может ли пятак трижды становиться на ребро?

Вы что, смеетесь?

Похоже на то. За серьезной миной И. П. Белкина прячется улыбка Александра Сергеевича Пушкина.

Ирония – знак отторжения, признание недействительной предлагаемой нам реальности.

Если уж и говорить о параллельности, присутствующей в «Станционном смотрителе», то это параллельность существования в разных мирах, в разных измерениях той же Дуняши и Самсона Вырина. Так же, как в разных измерениях живут Пушкин и Белкин, Иван Петрович.

Вырин живет в мире житейских прописей.

Все люди добрые, хорошие: «...его высокоблагородие не волк и тебя не съест; прокатись-ка до церкви».

А уж если увозят, то на пагубу, для жестокой потехи: «...отдайте мне, по крайней мере, бедную Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите же ее понапрасну».

И денег за позор брать нельзя. Вынул сунутое за обшлаг и выкинул.

А когда спохватился и ринулся из мира идеального в реальный, в этом реальном мире уже какой-то проворный щеголь денежки подобрал, прыгнул на радостях к извозчику и закричал: «Пошел!»

Что ж тут осталось от притчи, если погиб исповедующий прописи отец, а «блудная овечка» счастлива и благополучна?

Для чего нужно было так наглядно выворачивать наизнанку известный нравоучительный сюжет?

Может быть, для того и развесил Александр Сергеевич Пушкин в жилище Самсона Вырина евангельские картинки, приспособленные к вкусу практичных немцев, с недоступными для Вырина назидательными немецкими стихами, чтобы сказать и себе, и нам с вами уж заодно: не ограничьте своим воображением милосердия Божьего, нет ему предела. А счастье – вовсе не отметка за хорошее поведение...

Да, конечно, велико и поучительно милосердие отца, простившего и принявшего в свои объятия истаскавшегося на неверных путях сына.

Но разве может оно сравниться с тем высшим милосердием, которое только и может быть оправданием высшей, в том числе и Божественной, власти?

Иван Петрович Белкин рассказывает нам занятные истории, а Александр Сергеевич Пушкин подводит черту под дидактической традицией литературы XVIII века.

Вырин живет в мире правил и порядка, пронумерованный «мученик четырнадцатого класса». Дуняша, щедро наделенная красотой и способностью любить, встретившаяся рассказчику в четырнадцать лет и запомнившаяся на всю жизнь своим поцелуем, поверила жизни, поверила Творцу и его беспредельной благостыне...

Через полгода после того, как был написан «Станционный смотритель», Пушкин привезет молодую жену в Петербург, поселятся в Демутовом трактире.

Дорого бы дал, чтобы знать, вспоминал ли он, говорил ли Наталье Николаевне о том, что ротмистр Минский, увезший доверчивую и жаждущую любви Дуняшу, тоже поселился с нею в Демутовом трактире. И не из благородной ли тени друга Вакха и Венеры, ротмистра Лунина, сотканы немногие черты ротмистра Минского?

Сам Пушкин не приписывал совпадения одной случайности. Совпадения – это как бы двойные ступеньки, позволяющие приподняться и заглянуть в скрытый от нас смысл.

Венчался Александр Сергеевич в церкви Святого Вознесения, и день рождения пришелся на праздник Вознесения Господня. Хорошо!

### Приближение с закрытыми глазами

«Ищите нас мыслями в Петербурге не в Захарьевской улице, а на Фонтанке...»

*Н. Карамзин – П. Вяземскому. 11.09.1818*

В Питере сотня, а может быть, и не одна, адресов, хранящих тень Пушкина.

Сами улицы, набережные, площади, острова, загородные дороги, исхоженные им и изъезженные, быть может, тоже хранят о нем память.

Существует мнение, дескать, «созерцание старого дома возвращает нам мир, который этот дом видел молодым».

Весь вопрос, как созерцать, каким зрением.

Что скажет нам созерцание трехэтажного дома в Соляном переулке близ Фонтанки, встроенного в плотный ряд других домов?

Разве что светлый фасад, выдержанный в гармонической пропорции, скромным своим украшением напомнит благородный лист поздравительного письма. Я так и смотрю на него, как на конверт, пришедший оттуда, из осени 1799 года.



А чтобы заглянуть в этот конверт, надо закрыть глаза, иначе бьющий в глаза и уши сегодняшний день не даст возможности разглядеть в свете масляных фонарей приближающийся скрипучий обоз...

Осенью дни короткие, стало быть, приехали затемно. Ранние сумерки защитили от иронии и насмешек малоторжественный въезд видавшего виды рыдвана в сопровождении обоза с дворней и челядью. Разномастные тощие лошадки, скрипучие облезлые повозки, многолюдная нетрезвого вида прислуга и полусонные кучера – все это двигалось, стучало, скрипело, переключалось и медленно перетекало с набережной Фонтанки на Пантелеймоновскую и сразу за церковью на углу круто сворачивало налево в тихий Соляной переулок.

На улицах в ту пору в темное время народу болтаться не полагалось. Так что, кроме нас с вами, будет не так уж много свидетелей прибытия обоза, несущего на себе следы пути несомненно долгого.

Дом на полуподвалах, с лавками по обеим сторонам прямоугольной прорези подворотни. Туда, в темноту двора, втягиваются лошади, повозки. Крики, распоряжения, бесконечные «чаво?» и «куды» плохо видящих и еще хуже понимающих друг друга приезжих и хозяев двора. Суматоха разгрузки утомленной дорогой и спешащей к ночлегу и в тепло семьи и прислуги.

И вот самое главное.

Из барского рыдвана, замершего у парадного входа сбоку от подворотни, с надлежащей осторожностью вынули, передали в надежные руки (пока-то выберется кормилица, придерживая длинные юбки и сбившиеся шали) куколь, где в обрамлении приличествующих обитателю куколя воланчиков мелькнет миниатюра пушкинского лица...

Привезли из Михайловского и увезут в Михайловское через тридцать семь лет, и тоже лежа, с закрытыми глазами, с головой на подушке, в обрамлении подобающих обстоятельству воланчиков.

А пока – внесен, переодет, умыт, накормлен и видит свой первый в жизни петербургский сон самый важный, самый дорогой, самый интересный, самый значительный житель этого года...

Свечи, фонари, свет в окнах, все постепенно гаснет, стихает, оставив уже неразличимые следы набега утренним заботам распорядительного дворника...

Наступила пушкинская эпоха!

...Первые месяцы жизни, а за плечами уже полторы тысячи верст, от Москвы до Михайловского, из Михайловского в Санкт-Петербург.

«Долго ль мне гулять на свете то в коляске, то верхом?..»

А всю жизнь, Александр Сергеевич, всю жизнь...

И в последний ваш дом в этом городе, как и в первый, внесут вас вот так же, на руках...

«Грустно тебе нести меня, Никита?..»

Вы – поэт, и в уважение к вашему гению кто-то будет рифмовать вашу жизнь.

Кто?

А кого вы спрашивали «долго ль мне гулять на свете...», вот этот ваш собеседник и зарифмует.

А завтра вы проследуете в Летний сад, пользуясь редкой для этого скверного города тихой и ясной осенней погодой. Осень – это ваша пора!

По дороге батюшка с матушкой заглянут к Пантелеймону, в островерхую церковь, поставят свечки за благополучное завершение путешествия.

На руках няньки вы проплывете мимо дома Оливье, где, придет время, ваша блистательная жена снимет квартиру, пока вы будете колесить по Оренбургским степям. Вам случится прибить дворника в этом доме, запершего ворота до вашего возвращения, о чем вы оставите дорогое для нас свидетельство. Вот и Летний сад, не скрывающий сегодня своей редкой уже листвою высокое холодное небо, вы будете звать «моим огородом» и выходить сюда, к удивлению публики, по-домашнему, в халате и шлепанцах...

Здесь, на зыбкой питерской земле, вы будете учиться ходить и с первых же шагов будете замечены ревнителем порядка, злосчастным монархом, для которого торопливо возводится дворец, окруженный рвами и каналами, дворец, больше похожий на неприступную крепость, где государь будет в собственной спальне забит именитыми заговорщиками насмерть, а для верности еще и придушен офицерским шарфом.

Но прежде чем это случится, надзирающий за строительством замка монарх узрит картуз на вашей, Александр Сергеевич, по молодости дней еще неподсудной голове. Монарх всемиростивейше заметит вашей няньке, положив своим замечанием начало множеству монарших попреков

и выговоров, которые продолжают его славные сыновья, государи императоры Александр Павлович и Николай Павлович.

Где же произошла историческая встреча?

Надо крепко зажмуриться, чтобы не видеть Пантелеймоновского моста, поскольку здесь еще и Цепного не было, его построят, пока вы будете в ссылке. Едва ли государь соблаговолил сделать няньке выговор в тесном переулке, идущем от Соляного к Фонтанке, урок должен быть показательным и публичным. В Летний сад вас водили по набережной Фонтанки к Прачешному мосту, направо будет дом Баташова, где вы с Натальей Николаевной проживете почти три года, а налево, как раз вдоль фельтеновой решетки, вас ведут к главному входу у самой Невы.

Ничто не помешает вообразить нам памятник на месте исторической встречи: на одной стороне дороги император, жестом вразумляющий, а лицом являющий укоризну, а по другую сторону, на тротуаре, нянька, с трепетом вззирающая на монарха и приподнимающая над головой недоумевающего мальчика картуз...

Знали бы Их императорское величество, что в голове, предьявленной к его обозрению, родятся чудные слова: «Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!»

И что замечательно, стихи эти будут написаны совсем неподалеку от места вашей встречи, в пяти минутах ходьбы, как раз напраот замка, выкрашенного в цвета запекшейся крови...

Тесно истории на невских берегах!

Вот и для сочинения возмутительных стихов не нашлось во всем столичном городе иного дома, кроме дома, где в бельэтаже обитал сам обер-прокурор Святейшего Синода, искоренитель «вольнодумства, безбожия и своеволия революционной необузданности», министр народного просвещения князь Голицын, Александр Николаевич, принимавший у Пушкина выпускные экзамены в Лицее.

Так уж судьбе было угодно, чтобы на верхнем этаже этого же дома, в казенной квартире у братьев Тургеневых, Александра Ивановича и Николая Ивановича, собиралась жизнерадостная компания, обозначившая свою удаленность от столицы, а стало быть и от строгой власти, вывеской «Арзамас».

Что за воздух был в этом «городке», если там равно хорошо дышалось и Блудову Дмитрию Николаевичу, и Муравьеву Никите Михайловичу? Придет час, и Дмитрий Николаевич, делопроизводитель Верховной следственной комиссии по делу декабристов, недрогнувшей рукой впишет двадцать лет каторги Никите Михайловичу, гвардии капитану Генерального штаба и члену Северного общества.

Такой уж это был веселый клуб, «Арзамас», налагавший на своих членов лишь обязательства остроумия и непринужденной игры. Ни от кого не таясь, вольнодумные «арзамасцы» насмешничали над всем и вся, в том числе и над акафистами, доносившимися снизу, из домового церкви обер-прокурора. А ведь в особую молельню, устроенную в двух совершенно темных комнатках, освещенных кровавым светом лампы, выполненной из красного стекла в форме человеческого сердца, часто приезжал то ли молиться, то ли замаливать грех соучастия в отцеубийстве сам государь Александр Первый.

А наверху не знающие за собой греха «арзамасцы» упиваются вольнодумством при распахнутых окнах и свете белых ночей.

Здесь же резвый, вертлявый, похожий на избалованного ребенка, всеми любимый, талант несомненный и многообещающий, только что выпущенный из Лицея и зачисленный в Коллегию иностранных дел вместе с А. С. Грибоедовым и своими однокашниками по Лицею Кюхельбекером, Ломоносовым и Горчаковым, коллежский секретарь Александр Пушкин.

Он шаловлив, необуздан, неистощим на выдумку, всех задевает, чувствует себя все время на сцене, словно нарочно все делает для того, чтобы и строгий вкус, и не юношеская наблюдательность, ум и талант были предьявлены только в мелкой монете... Все кругом знают, как должен себя держать и вести недюжинного ума, большого таланта человек, много обещающий в будущем. Все знают, не знает один он. Зато он знает и умеет то, что не дано другим.

За окном на другом берегу Фонтанки в дымке белой ночи призрачный, отягощенный заклятьем дворец...

«А ну, Сверчок, полно шалить, займись делом, опиши дворец, тот, что за окном...»

И в ту же минуту он ищет глазами удобного для работы места, поскольку уже привык писать стихи лежа...

«Вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать».

Неужели такое пишется со смехом?

...Глядит задумчивый певец  
На грозно спящий среди тумана  
Пустынный памятник тирана,  
Забвенью брошенный дворец .

...Он видит живо пред очами,  
Он видит – в лентах и звездах  
Вином и Злобой упоенны  
Идут убийцы потаенны,  
На лицах дерзость, в сердце страх.

...О стыд! о ужас наших дней!  
Как звери вторглись янычары!..  
Падут бесславные удары –  
Погиб увенчанный злодей.

Было время, всемогущий император преподавал урок вежливости и почитания пушкинской няньке, пришла пора другого урока: «И днесь учитесь, о цари...»

Склонитесь первые главой  
Под сень надежную закона,  
И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

Урок и нам, вовлеченным в поиски правых и виноватых: презрение убийцам и никакого сочувствия жертве. Злодеи разных мастей сводили свои счета, и с нас достанет, если осознаем стыд, почувствуем ужас...

Тесно истории на этих берегах.

Именно в замке государя, видевшего под каждой круглой шляпой смутьяна и бунтаря, станет заседать «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», организация самодеятельная, никому не подчиненная. Пушкин летом 1818-20 будет принят действительным членом и дважды посетит заседания, проходившие в замке.

Вода в Фонтанке движется почти незримо. Так же проходит время.

На месте лодочной переправы поднялся Цепной мост.

Обветшал.

На его месте поднялся Пантелеймоновский, каменный.

На месте деревянного циркового манежа воздвигнут первый каменный цирк.

Уносит речка в своих водах в небытие отражение исчезнувших лаковых мастерских, спичечных и столярных дворов, отделявших нарышкинский дворец, тоже исчезнувший, от дома Екатерины Федоровны Муравьевой, урожденной баронессы Колокольцевой, жены куратора Московского университета. Ее дом дал приют и стал местом собраний тех, чьи имена составят гордость России: Карамзин, Лунин, братья Муравьевы-Апостолы, Пестель, Тургенев Николай Иванович, Вяземский, Жуковский, Гнедич, Пушкин Александр Сергеевич...

Здесь Никита Михайлович Муравьев как раз и составлял программный документ Северного общества, поименованный «Конституцией».

Здесь собирались члены Тайного общества...

Тень этого дома сохранилась в уцелевшей строфе десятой главы «Онегина»: «Витийством резким знамениты, собирались члены сей семьи у беспокойного Никиты...»

Достанет ли нашего воображения представить себе этот дом в былом его облики?.. Собрание за окнами третьего, последнего в ту пору этажа... Резкое витийство людей, помышляющих не о своем прибытке и успехе, а озабоченных судьбой Отечества и жаждущих блага неведомым им людям, Отечество населяющим.

...В какую даль унесли воды Фонтанки отражение особняка графа Разумовского, ведь здесь, в жилище министра народного просвещения, и принимали экзамены у поступавших в опекаемый графом Лицей.

Сегодня на этом месте широкая и пустынная Бородинская улица, проложенная от Фонтанки в сторону Загородного проспекта к столетию Отечественной войны.

Зато и по сей день почти в неизменном виде глядят на Фонтанку окна дома директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина, прославившегося приятностью европейской жизни и простотой русской старины. Здесь девятнадцатилетняя жена старого генерала поразит воображение двадцатилетнего поэта. В эту первую встречу Анна Керн Александр Пушкин покажется несколько докучливым и неостроумным. А последняя встреча случится в Москве. Уже в преклонных годах Анна Петровна увидит за окном, как везут постамент под бронзовое изваяние ее друга, что будет установлен на Тверском бульваре... Предание сохранит нам ее вздох: «Давно пора...»

Но раз уж мы оказались в доме Оленина, вернемся сюда, в эту семью вместе с Пушкиным, наконец-то возвращенным из ссылки. Теперь за окнами в квартире Олениных другая река, Нева, с видом на крепость.

Пушкин будет изумлен преображением дочери гостеприимного Оленина, крошечной Аннет, в юную фрейлину, сочетавшую прежнюю грацию ребенка с пронизательностью искусственной светской дамы.

Пушкин будет искать руки пленительной красавицы, однако Алексей Николаевич, принимавший участие в смягчении судьбы юного поэта, нынче поставил и свою подпись под решением Государственного совета об учреждении над неугомонным сочинителем секретного надзора. А поднадзорные женихи, как известно, в столицах не в чести.

И только окрыленные музыкой слова звучат незатухающим эхом былого чувства: «...я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Другим окажется побочный сын новороссийского губернатора Ланжерона, офицер лейб-гвардии гусарского полка... Куда Пушкину до гусара! Судя по оставленным Аннет Олениной запискам, поэт не был героем ее романа: «Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который был виден в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его...» О злобе судить не станем, но насмешливости и в вас, Анна Алексеевна, больше, чем хотелось бы.

Расчетливая трезвость пронизательной фрейлины, памятной нам, главным образом, по стихам, посвященным ей поэтом, отрезвляет и нас, заставляет очнуться и прервать путешествие с закрытыми глазами.

Да и где его конец?

Сразу острее чувствуется и ветер нынешних времен, холодных и расчетливых.

Эгоизм и неограниченное самолюбие возведены в достоинство.

Жажда путешествий подальше от дома стала данью моде и заменяет чтение.

Улицы, набережные и проспекты, обезображенные пошлой и циничной рекламой, сулят покупные радости...

Город пышный, город бедный,  
Дух неволи, строгий вид,  
Свод небес зелено-бледный,  
Скука, холод и гранит –  
Все же мне вас жаль немножко...

### В последнем приближении

С какой стороны к нему ни подойдешь, он увлечет тебя в такую даль, сведет с такими людьми, вознесет, рассмежит, огорошит, заставит оглянуться и на себя и окрест, и снова и снова будет заражать и дразнить мыслью, словом, поступком...

Так и будет до самой нашей последней встречи на высоком холме в Святогорском монастыре, в тени Успенского собора.

Когда я ехал первый раз в Пушкинские Горы, а дело было в годы молодые, но не юные, понятное дело, я знал, что еду туда, где жил, а ныне покоится в соответствии с собственным завещанием Александр Сергеевич Пушкин.

Но и здесь ждала неожиданность, да еще какая...

Пушкин – в могиле!

Лишь оказавшись наедине с его надгробием, лишь прочитав надпись под гротом с урной внутри, до моего сознания дошло – он мертв, его нет.

Он там, в земле, под этим нелепым надгробием, напоминающим русскую печку с невысокой сужающейся трубой.

А какое должно быть лепым?..

Оказывается, ты уже привык всю жизнь ощущать его рядом, слышать, знать, удивляться, досадовать, злиться, восхищаться...

Он был жив в каждой своей строке, в письме, в стихе, в строчке прозы, в щадящих прочерках и многоточиях в скобках, в анекдоте, сплетне, и только сейчас, когда он вот здесь, совсем рядом, он тих, нем и неподвижен.

Только сейчас и здесь ты понял... нет, понять это невозможно, ощутил всем своим существом, до холода в сердце, как ощущают весть о гибели родного человека, страшную новость – его нет.

Всегда его имя, само слово – Пушкин – предваряло общение, движение и новость, и только здесь оно – неподвижность и молчание, объявление о смерти. Такое чувство, будто здесь и сейчас его отняли у тебя, и отняли навсегда...

Впрочем, это сейчас я перебираю в памяти все случившееся, пытаюсь что-то назвать и объяснить, тогда все произошло мгновенно: увидел могилу, прочитал имя, и слезы хлынули из глаз, как из опрокинутого блюда...

Извержение слез на вытоптанных туристских маршрутах не предусмотрено, пришлось бежать от могилы, расплывшейся в глазах, к церковной стене, задирать голову вверх, изображая повышенный интерес к куполам, барабанам и законам...

Слезы теперь текли из уголков глаз к ушам.

Я увидел себя со стороны. Герой анекдота. Турист прибыл в Пушгоры. Здесь впервые узнал, что Пушкин умер, и расплакался. Слезы слезами, но я уже смеялся... «...ему и больно и смешно...»

Как же это ему удалось так поймать меня и зарифмовать через двадцать-то лет?

Кто-то рифмовал его жизнь.

Он – нашу.

Поэт.

Творец...

## Письмо первое. ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО

**Жизнь можно либо перетерпеть, либо скоротать**

Жизнь, прямо скажем, предприятие не из лёгких. Не каждому по плечу. Даже самый звонкий, самый соприродный наш классик (к тому же и нобелевский лауреат!), непрерывно кающийся с самой искренней слезой, как ему стыдно быть столь нестерпимо счастливым, когда вокруг столько народу страдает, вдруг да и признался. Причем в стихах. Правда, не своими словами, а словами русской всесокрушительной, как водится, поговорки: жизнь, мол, прожить – не поле перейти. Эва! Буквально челюсти сводит от такого признания. Уж ежели безоблачному гению от этой жизни не по себе, что ж нам-то, смертным, делать?

Но – вернёмся к предмету разговора. По-настоящему – без дураков – имеют отношение к жизни всего-навсего два глагола: перетерпеть и скоротать. Вот по их принятию или, напротив, отторжению, как на инь и янь, и распадается всё человечество, являя два типа личности: одни жизнь терпят, другие коротают. И третьего здесь не дано.

Из человеческого терпения родилось много чего. Во-первых, вера. С верой терпеть веселее, потому как всегда в коллективе. Даже ежели один, как перст, в пустыне – всё равно не один, а с Богом. Да и смысл появляется: не зря, мол, терпим. Испытание. Земной путь. В общем, что бы ни делал и как бы себя при этом ни вёл, всё при деле. Во-вторых, любовь к поискам истины – это когда смысл не даётся сразу в виде откровения из горящего куста, а ищется собственным интеллектуальным усилием. Но терпеливо. Последовательльно. С трудами классиков в руках. Путём настойчивого вгрызания и постоянного размышления. Тоже неплохо. И вполне утешительно.

Правда, есть одна закавыка. Из собственного жизненного опыта даже распоследний олигофрен знает, что гладко и без досадных срывов ничего у нас на земле не происходит. И в этом насущном вопросе тоже: среди мужественных добровольцев, по собственной воле претерпевающих жизнь, есть, конечно, и те, кого втянули в этот процесс без какого-либо спроса. Они-то, увы, и составляют основную массу. Им, бедолагам, просто деваться некуда. И хотели бы по-другому, а не выходит. Остаётся только терпеть. Порой без веры, чаще без поисков истины, может, даже и на помойке. А чего? Господь терпел и нам велел. На помойке – не на кресте. И притом – всюду жизнь.

Общество потребления претерпевающих жизнь называет по-разному тех, кто и на этой трудной стезе достиг пика популярности (типа Иисус Христос – суперзвезда), – святыми, пророками; тех, кто пробавляется премиями и грантами, – учеными, ботаниками; – ну а тех, кто терпит не по своей воле, ясное дело, неудачниками, лузерами. И это самое обидное и нестерпимое. У неудачников, если они не согласны с таким сторонним позиционированием, два выхода: или выбиваться в те, кто жизнь коротает, или изображать из себя принципиально претерпевающих. Оба пути трудны и чреватые. Но другого на этом свете, опять же, – не дано.

Теперь о тех, кто жизнь коротает. У которых ресурсов куры не клюют. Которым всё известно, которые всё перепробовали, которым всё обрыдло и которым скучно. Вот для них, бедненьких, и создано общество потребления с его индустрией развлечений, где тебе предложат всё, что захочешь, и на любой вкус. И смысл, мол, в том, чтобы заработать как можно больше, а дальше коротать на всю катушку. А иначе что? Одни с клубом «Челси» коротают, а другие в подворотне с рваным презервативом в кармане –

так, что ли? Нет, так не пойдёт. И не для того демократия придумана. А придумана она для того, чтобы число коротающих подавляюще превышало число претерпевающих. Коротать надо качественно, это ещё римские патриции знали, а круглосуточный беспорядочный секс – это для плебса.

Тех, кто жизнь коротает, уважительно называют успешными людьми. Это за ними гонятся папарацци, это их истории вдумчивыми взвешенными голосами пересказывают уважаемые пожилые телеведущие, это для них созданы глянцевого журнала, показы высокой моды и актуальный дизайн, это для них гранят бриллианты и недавно пел Лучано Паваротти, это для них занавешены окна в казино и крутится изумительной точности юная плоть вокруг стриптизной палки. Это им завидуют честолюбивые массы менеджеров младшего и среднего звена, которые страстно жаждут стать великими коротателями жизни, и даже потихоньку уже сами коротают, но не так качественно, как им хотелось бы...

И вряд ли кто из современных коротателей оставил бы это занятие, как в своё время оставил его Гаутама Сиддхарта. Чтобы дальше не только перетерпеть жизнь, но и освободиться от её пут. Дураков нынче нет. Вот так повернулось время. К комфорту передом, к поискам истины задом. А чего её искать-то? От неё ведь одна депрессия и никакого покупательского спроса.

*Елена Елагина, Санкт-Петербург*

## Ответ первый. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ

Вот так еще можно разделить людей по отношению к жизни. На тех, кто решил её, жизнь, перетерпеть, и тех, кто нацелился её скоротать. Вот такое деление. Ничем не хуже любого другого. При этом предупреждение – третьего не дано.

Соблазн разделить людей на две части (равные или не равные – не так уж важно) всегда очень велик. И мы делим: на своих и чужих, на худых и толстых, на мужчин и женщин, на гетеро- и гомо-, на актеров и зрителей, на профессоров и студентов, на автомобилистов и пешеходов, на интеллигенцию и народ... Делим быстро, произвольно, почти бессознательно, отбрасывая плоскую мысль, что производим сильное упрощение, что «жизнь сложнее схемы» (хотя и схемы бывают – ой-йо-ёй). Ну а что делать. Без схем невозможен любезный нам анализ, а без него не справиться с клубящимся вокруг хаосом. Нас не смущает, что ежесекундно мы сами переходим из одного отделения в другое, из одного класса в другой. Иногда добровольно. А чаще – кто-то берёт за руку и переводит, нас не спросив. Все ведь только и занимаются этим делением. Вот едет автобус из пригородной клиники, везёт к электричке уставших врачей и мрачных пациентов. На выходе врачиха в дублёнке нетерпеливо толкает в спину замешкавшегося дяденьку: «Больной, вы выходите, или что?» – «Сама ты больная», – огрызается дядька вполне добродушно. Сейчас они сядут в электричку и станут пассажирами, а по вагонам пойдут контролёры. Так что без этих перетекающих друг в друга схем нам не прожить, поскольку они есть инструмент познания. Да, иногда инструмент, а порой и результат (всё страшно двоится в этом мире – то частица становится волной, то волна прикидывается частицей), смотря по тому, в каком месте остановиться. И не говорите мне, что бомж в вязаной шапочке с надписью «Вперёд, Россия» такими глупостями не занимается. Прекрасно он занимается и распределяет публику по удобным ячейкам, иначе зачем он интересуется так настойчиво вашим к нему уважением. Ему важно знать, куда вас отнести – к нормальным пацанам или к надутым козлам из мерса, обдавшего его давеча грязью.

Итак, терпеть или коротать? Третьего-то не дано. Деление без остатка. «Позвольте-позвольте, – кричит некто несогласный (ему лишь бы что-нибудь поперёк сказать), – о чём вы говорите? Как это так – не дано? Вот я вам приведу пример, который не укладыва-

ется...» И приводит примеры. Но с этими примерами дело обстоит как с толкованиями сновидений у доктора З. Ф.: «Итак, вам снилась тёмная прихожая, и в ней огромное старинное зеркало. Так? Зеркало большое, вытянуто в длину. Я вас правильно понял? Вот видите, с вами всё ясно, милая девушка, ваши подавленные желания предстают как на ладони...» То есть всё замечательно укладывается. На то она и схема. Здесь обрежем, там растянем. Прокруст улыбается снисходительно.

Так что соглашайтесь добровольно быть отнесёнными к классу терпеливцев, смиренно переносящих эту тяжкую болезнь (не нами замечено, чем она обычно заканчивается). Появится шанс попасть в пророки, учёные, музыканты, поэты, писатели (один из них даже заметил: когда пишешь – не так страшно). Одним словом, в личности творческие, которые, как это ни странно, ну... не то что бы уважаются качественными коротателями жизни (о них далее), но все-таки коротатели на них посматривают, посматривают, иногда даже почитывают, – правда, быстро отбрасывают. Что касается неудачников и лузеров, попавших в отделение терпящих по принудительному распределению, то чувство собственной маргинальности – состояние внутреннее («это как посмотреть», – резонно заметил бомж с надписью на шапочке) и зависит от количества эндорфинов в крови. Кажется, уже приготовлены инъекции (не то, что вы думаете, никакого привыкания, минздрав проводит испытания) с этими спасительными веществами. Ну, это – для очень тяжелых случаев самопознания.

И всё-таки терпеть, терпеть... и общаться только с терпящими наше общее бедствие, уныло и терпеливо, сжав зубы, искать вместе с ними дурацкую истину? Ну, как-то не очень...А ну как терпение лопнет. Ведь как только скажут: «терпение», так тут же этот глагол и выскакивает. Бабушка, помнится, так и говорила: «С тобой всякое терпение лопнет».

Ну хорошо, а заглянем в другой класс. Как там эти потребители гламура? Заходим, как будто свои. Видим: сидят избранники демократии в крутом шоколаде, коротают нашу единственную (хотя – чего её коротать? – она и так короткая). Причём коротают «качественно». У них там цитры, звуки чудных песен, цветные струи шампанских фонтанов, на гладкой волне качаются яхты, над головой небеса неаполитанской синевы, под рукой юная плоть и столы с яствами. Круглые сутки. Из года в год. И вдруг один вскакивает и вскрикивает: «Уйдите все, заткнитесь, уберите от меня эту мерзкую плоть, меня от вас тошнит». И, вытянув руки, бежит прочь и рыдает. Безумец, конечно, но его действительно тошнит. Душераздирающее зрелище. Все в недоумении. Мы тихонечко выскальзываем из класса.

Неужели нет выхода? А что, если как-то проскочить между шампанских струй и выскочить на свободу? Может быть, все-таки деление было с остатком. Ну пусть – с небольшим. Нам много не надо. Уйдём туда, мой друг, в этот остаток. Служенье Муз чего-то там не терпит. Сядем на берегу. Откроем бутылку вина. Разрежем яблоко. Волны будут набегать по две. Как всегда.

*Людмила Агеева, Мюнхен*



## **ИНЫЕ ЖАНРЫ...**

*Вадим БОМАС*

### **ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ**

\* \* \*

Глухой порой антропогена  
Мерцали луны навесу,  
И первые аборигены,  
Как звери, прятались в лесу.

Догалилеевское солнце  
Вращалось вокруг Земли,  
И звезд бесчисленные сонмы  
Еще созвездий не сплели.

Земля в грядущее дерзала,  
Не постигая наперед,  
Что гнет погибших динозавров –  
Еще не самый худший гнет.

\* \* \*

Когда б в тот день младая Ева  
Была не слишком голодна,  
С неприкасаемого древа  
Не съела б яблоко она.

И мы бы райскими садами  
Доныне пользовались всласть,  
И власть, которая над нами,  
Была бы божеская власть.

Ни перестроек, ни застоев,  
Ни прозябания в беде...  
Ах, Ева-Ева, сколько стоит  
Нам невоздержанность в еде!

#### **Как только спал девятый вал**

Как только спал девятый вал,  
Как только спал  
Девятый вал,  
Едва войны не стало,

Я сразу меч перековал  
На мирное орало.  
Поторопился сгоряча –  
В России плохо без меча.

\* \* \*

Испытанный способ самовыраженья –  
Использовать матерные выраженья.  
И это не грубость, не хамство, а это  
Явление русского менталитета.  
Вы только представьте, как наша страна  
Единой колонною движется на...  
С дельцами, творцами, вождями, блядьми  
И с братьями в мате, простыми людьми.  
И это движенье не только привычно,  
Но философично и патриотично.  
Оно отражает свою природой  
Единство и силу родного народа.

\* \* \*

Я что-то часто сомневаюсь.  
Во всем. Ну прям-таки во всем.  
Меня нашел в капусте аист  
И сдал по описи в роддом.

Там ожидала полученья  
Моя грядущая родня,  
И им в порядке поступленья  
В конверте выдали меня.

Научный факт. Прими на веру.  
Так нет, сомнение берёт:  
Каким же всё-таки манером  
Я угодил на огород?

\* \* \*

Когда я прихожу к врачу,  
То я, естественно, хочу  
Болезни исцеления,  
Но, к сожалению, у врача  
Иная точка зрения.  
Он ставит в очередь меня,  
И там я провожу полдня  
До умоисступления.  
А после, возвратясь домой,  
Ругаюсь с тещей и женой  
И крою медицину.  
А утром вновь иду к врачу,  
Поскольку выяснить хочу  
Нервозности причину.

### **Какой тяжелый гололед**

Какой тяжелый гололед.  
Едва-едва прибавишь газу,  
Слегка притормозишь, и сразу  
Машину в сторону ведет.

Раскатанная, как каток,  
Куда лежит моя дорога?  
Не угадать. В России много  
Непредсказуемых дорог.

И так, увы, не первый год,  
И не однажды и не дважды.  
Неясен путь российских граждан.  
А тут еще и гололед!

### **Сокрыта истина в вине**

«Сокрыта истина в вине».  
И убедительно, и кратко.  
Она покоится на дне  
И укрывается в осадке.

И значит та, что всем нужна,  
Кого упорно ищут люди,  
Почти сполна погребена  
В пустой невымытой посуде.

### **По законам непонятности**

По законам непонятности  
Все идет наоборот.  
У науки неприятности –  
Налицо переворот.

Но российские ученые  
Не пускаются в борьбу,  
Выражаются по-черному  
И стучат себя по лбу.

Потому, что вновь на Родине,  
Из-за маленьких зарплат,  
По частям кому-то продали  
Самый нужный аппарат.

### **Колдун**

Что было чудом, то не чудо.  
Через леса, через моря

Колдун, паршивая паскуда,  
Опять несет богатыря.

Ему что рано, что не рано,  
Оттащит – и летит назад.  
Он что, их продает в охрану?!  
Затеял бизнес, подлый гад?!

Ведь, если нынешние власти  
Не остановят колдуна,  
Он нам всю армию на части  
Растащит. Ну а вдруг война?!

\* \* \*

У нас в отечестве немало  
Руководящих должностей,  
И потому у нас навалом  
Вождей всех рангов и мастей.

И чтобы скопом их прославить,  
Кончины каждого не ждя,  
Должны мы памятник поставить  
В честь Неизвестного Вождя.

## Коротко об авторах

**Людмила Агеева** Прозаик. Родилась в Ленинграде. По образованию физик, закончила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет работала в Государственном оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию. Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Лауреат международного конкурса 1992 года на лучший женский рассказ. Живёт в Мюнхене.

**Алексей Алёхин** Поэт, прозаик, эссеист, критик. Родился в 1949 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ (1982). Широко печатается в ведущих российских и зарубежных периодических изданиях, автор нескольких книг стихов и прозы. В 1993 г. основал первый в России «толстый» поэтический журнал «Арион», который возглавляет и сейчас. Секретарь Союза писателей Москвы. Стихи и эссе переведены на английский, немецкий и итальянский языки. Живёт в Москве.

**Олег Блажко** Поэт, художник. Родился в 1966 году в городе Искитим Новосибирской области. Специализация как художника – декоративно-прикладное искусство. Стихи публиковались в периодике США, России, Украины. Консультант раздела поэзии литературного журнала «Терра Нова» (Сан-Франциско). Живёт в Киеве.

**Вадим Бомас** Поэт. Родился в 1923 г. в Москве. Окончил Московский авиационный институт. В настоящее время профессор кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Член Союза писателей Москвы. В литературной периодике публикуется с 1960 г. Автор двух поэтических сборников. Живёт в Москве.

**Борис Вайнблат** Прозаик. Родился в 1938 году в Житомире, на Украине. С 1944-го года до отъезда в Германию в 1995-м году жил в Харькове. По образованию инженер, закончил Горный институт, работал в области автоматизированных систем управления. Писать рассказы начал в 2000-м году. С 1997-го года – заместитель главного редактора журнала «Партнёр». Живёт в Дортмунде.

**Елена Елагина** Поэт, литературный и арт-критик. Родилась в Ленинграде. Закончила Ленинградский институт точной механики и оптики. Работала программистом, референтом в Союзе писателей, последние 13 лет – теле- и радиожурналист. Автор четырех стихотворных книг и множества публикаций. Лауреат нескольких литературных премий. Стихи переведены на несколько европейских языков. Живёт в Санкт-Петербурге.

**Михаил Кураев** Прозаик, литературовед, публицист, кинодраматург. Родился в 1939 г. в Ленинграде. В 1961 году окончил театроведческий факультет Ленинградского ин-та театра, музыки и кинематографии. В 1961-88 гг. работал редактором на киностудии «Ленфильм». Автор множества книг и журнальных публикаций. Книги переведены на множество иностранных языков и изданы во многих странах. Лауреат нескольких престижных премий, в том числе премии правительства Санкт-Петербурга (1993), РФ им. Довлатова (1995), премии журнала «Новый мир» (1996), Государственной премии России (1998). С 1995 г. сопредседатель СРП. Живёт в Санкт-Петербурге.

**Леонид Левинзон** Прозаик. Родился в 1958 году на Украине. По образованию врач. Публиковался в журнале “22” и в “Иерусалимском журнале”, автор книги “Ленинград-Иерусалим” (1997). Живёт в Иерусалиме.

**Георгий Нипан** Прозаик. Родился в Риге в 1955 г., в 1977 г. окончил химфак МГУ. Доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии РАН, автор или соавтор 170 опубликованных научных работ. Как прозаик печатался в журнале «Знамя». Живёт в Москве

**Марина Палей** Прозаик, поэт, переводчик, сценарист. Родилась в Ленинграде, закончила медицинский институт, работала врачом. В 1991 году с отличием закончила Литературный институт. Печатается с 1987 года. Автор девяти книг. Переведена на двенадцать языков. Финалист премии Букера (2000, роман «Ланч»), И. П. Белкина (2005, повесть «Хутор»), «Большая книга» (2006, роман «Клеменс»). Выступает в жанре one-person-show, соединяя свою лирику, фотографию и дизайн с классической и современной музыкой. С 1995 года живёт в Нидерландах.

**Владимир Порудоминский** Прозаик, литературовед, критик. Родился в 1928 году в Москве. В 1950 году закончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Автор множества книг, главным образом биографических, выходящих в серии «ЖЗЛ», книг для детей и юношества, а также целого ряда историко-литературных и литературно-критических статей. В 1994 году переехал в Германию. Живёт в Кёльне.

**Александр Радашкевич** Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге, детство провёл в Уфе. В 1978 г. эмигрировал, жил сначала в США, где работал в библиотеке Йельского университета, затем перебрался во Францию, работал в редакции журнала «Русская мысль», в 1991-97 гг. был личным секретарём великого князя Владимира Кирилловича, затем его семьи. С конца 70-х широко печатался в эмигрантской периодике, с конца 80-х – в русской. Автор нескольких поэтических книг. Живёт во Франции и в Чехии.

**Борис Хазанов** Родился в 1928 г. в Ленинграде. Прозаик, эссеист, переводчик. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ  
Журнал русской литературы  
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag

Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд

Художник: Р. Дубинский

Компьютерная верстка: В. Аввакумов

Корректор: Р. Вайнблат

Подписано к печати 15.08.2008

Адрес: Partner MedienHaus GmbH & Co. KG

Märkische Str. 115

44141 Dortmund, Germany

Тел.: +49 231 950 94 10 (общий)

+49 231 952 973 16 (подписка)

E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:

Konto 123 10 75

BLZ 440 700 24

Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)

<http://www.zapiski.de>

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются*

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (Partner MedienHaus GmbH & Co. KG, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 231 952 973 16

## АНОНС

**Читайте в шестнадцатом номере «Зарубежных записок»**

### **Прозу**

Анотолия Курчаткина (Москва),  
Арсения Березина (Санкт-Петербург),  
Людмилы Коль (Хельсинки),  
Михаила Гиголашвили (Саарбрюкен),  
Павла Лукаша (Бат-Ям, Израиль),  
Александра Медведева (Москва),  
Георгия Нипана (Москва)

### **Стихи**

Феликса Чечика (Натания, Израиль),  
Нины Савушкиной (Санкт-Петербург),  
Алексея Машевского (Санкт-Петербург)

### **Публицистику и эссеистику**

Ирины Роднянской (Москва),  
Игоря Сухих (Санкт-Петербург),  
Людмилы Агеевой (Мюнхен)

